

Макс Хоркхаймер
Теодор В. Адорно

ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Философские фрагменты

**Max Horkheimer
Theodor W.Adorno**

Dialektik der Aufklärung

Philosophische Fragmente

**S.Fisher Verlag GmbH
Frankfurt am Main 1969**

**МАКС ХОРКХАЙМЕР
ТЕОДОР В.АДОРНО**

ДИАЛЕКТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Философские фрагменты

Перевод с немецкого М.Кузнецова

“Медиум”

“Ювента”

Москва - Санкт-Петербург 1997

Издание осуществлено при финансовой поддержке
“Интер Национес” (Бонн) и
Немецкого культурного центра имени Гёте (Москва)

Редактор Ю.Здоровов
Художник Л. Аниканова



Данное издание выпущено в рамках программы
Центрально-Европейского Университета
“Translation Project” при поддержке Регионального
издательского центра Института “Открытое общество”
(OSI - Budapest) и Института “Открытое общество.
Фонд Содействия” (OSIAF - Moscow).

ISBN 5-85691-051-6

ISBN 5-87399-043-3

© S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 1969

© Перевод на русский язык издательство “Медиум”, 1997

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ

“Диалектика Просвещения” вышла в свет у Керидо в Амстердаме в 1947 году. Книга, поначалу расходившаяся с трудом, теперь давным-давно распродана. Если спустя более чем двадцать лет мы ныне вновь издаем эту работу, то идем на это, не только уступая многочисленным просьбам, но и будучи убеждены в том, что многие из содержащихся в ней идей и сегодня отвечают духу времени и в значительной мере стали определяющими для наших последующих теоретических усилий. Постороннему взгляду вряд ли удастся легко представить себе, до какой степени являемся мы оба ответственными за каждую ее фразу. Обширные разделы диктовались нами совместно; напряжение между двумя интеллектуальными темпераментами, соединившимися в “Диалектике”, стало элементом ее жизни.

Не на всем, о чем говорится в этой книге, продолжаем мы упорно настаивать. Это было бы несовместимо с теорией, считающей истину в самой ее сердцевине сопричастной времени, а не противопоставляющей ее в качестве чего-то неизменного историческому движению. Книга создавалась в момент, когда конец национал-социалистического террора уже можно было предвидеть. Тем не менее во многих местах ее формулировки более не соответствуют реальности сегодняшнего дня. И все же уже тогда наша оценка перехода к административно управляемому миру была далеко не благодушной.

В период политического раскола на гигантские блоки, которые объективно подталкиваются к тому, чтобы прийти в столкновение друг с другом, кошмар продолжается. Конфликты в третьем мире, новый рост тоталитаризма столь же мало являются лишь историческими эпизодами, сколь, согласно “Диалектике”, являлся таковым тогдашний фа-

шизм. Критическое мышление, не останавливающееся даже перед критикой прогресса, обязано сегодня встать на сторону остатков свободы, тенденций движения к реальной гуманности, даже если на фоне величественного хода истории они и выглядят беспомощными.

Осознанное в книге развитие в направлении тотальной интеграции прервано, но не прекращено; угроза его осуществления, путем диктатур и войн, остается актуальной. Прогноз связанного с этим превращения Просвещения в позитивизм, в миф того, что имеет место быть, в конечном счете - идентификации интеллекта со всем тем, что враждебно духу, самым убедительным образом подтвердился. Наша концепция истории не мнит себя избежавшей такой идентификации, но ей чужда позитивистская погоня за информацией. В качестве критики философии она не желает поступиться самой философией.

Из Америки, где была написана эта книга, мы вернулись обратно в Германию с убеждением в том, что как в теоретическом, так и в практическом отношении сможем здесь сделать больше, чем где бы то ни было еще. Совместно с Фридрихом Поллоком, которому, как в свое время ко дню его пятидесятилетия была посвящена, так и сегодня ко дню его пятидесятилетия посвящается эта книга, вновь создали мы Институт Социальных Исследований с намерением продолжить разработку сформулированной в "Диалектике" концепции. В деле дальнейшего развития нашей теории и прилагающегося к ней опыта совместной работы, как уже и в случае первой редакции, неоценимая помощь была оказана нам Гретель Адорно.

В изменениях мы были еще более умеренны, чем это обычно принято в случае новых изданий вышедших десятилетия назад книг. Мы не стремились подретушировать то, что было нами написано, даже явно неадекватные места; попытка привести текст в полное соответствие с современным положением вещей вылилась бы не во что иное, как в написание новой книги. То, что сегодня речь еще в большей степени идет о том, чтобы оберегать свободу, позволять ей распространяться и развиваться вместо того, чтобы, пусть даже косвенно, ускорять продвижение к административно управляемому миру, подчеркивали мы и в наших более поздних сочинениях. В основном мы ограничились ис-

правлением опечаток и тому подобного. Благодаря такой сдержанности книга становится документальным свидетельством; мы надеемся, что она одновременно окажется и чем-то большим.

Франкфурт на Майне, апрель 1969 г.

МАКС ХОРКХАЙМЕР
ТЕОДОР В.АДОРНО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда была начата эта работа, первые пробы которой мы посвящаем Фридриху Поллоку, мы надеялись, что сумеем представить ее ко дню его пятидесятилетия в законченном виде. Однако чем более вникали мы в суть стоящей перед нами задачи, тем отчетливее обнаруживалась диспропорция между ее масштабами и нашими силами. Мы, по сути дела, замахнулись ни больше ни меньше как на то, чтобы дать ответ на вопрос, почему человечество, вместо того чтобы прийти к истинно человеческому состоянию, погружается в пучину нового типа варварства. Мы недооценили трудностей исполнения, потому что все еще слишком доверяли современному сознанию. Несмотря на то, что уже много лет тому назад нами было замечено, что в современном процессе производства науки великие изобретения оплачиваются ценой все возрастающего распада теоретических образований, мы все же полагали, что можем придерживаться этого процесса в той мере, в какой наша работа ограничивалась бы преимущественно критикой или дальнейшей разработкой специальных теорий. По крайней мере тематически ей надлежало бы тогда ориентироваться на такие традиционные дисциплины, как социология, психология и теория познания.

Фрагменты, которые мы тут объединили, свидетельствуют однако о том, что мы были вынуждены отказаться от подобного рода доверительного отношения. Если заботливое попечение о научной традиции, в особенности там, где в качестве бесполезного балласта она предается забвению позитивистскими ревнителями чистоты, образует собой момент познания, то в условиях современного краха буржуазной цивилизации уже не только процесс производства, но и сам смысл науки становится проблематичным. То, что лицемерно прославляется отъявленными фашистами, а приспособленцами из числа экспертов по части

гуманности в простоте душевной осуществляется на практике - безудержное саморазрушение Просвещения - вынуждает мышление избавить себя даже от последних остатков простодушной доверчивости по отношению к обычаям и тенденциям эпохи и ее духа. Когда общественность дошла до такого состояния, при котором мысль неизбежно становится товаром, а язык - средством его рекламирования, попытка расследования подобного рода упадка нравов обязана отказаться от следования предъявляемым к языку и мысли общепринятым требованиям раньше, чем она будет полностью сорвана их всемирно-историческими последствиями.

Если бы при этом речь шла только о препятствиях, порождаемых самозабвенной инструментализацией науки, в области социальных проблем мышление могло бы, по крайней мере, примкнуть к тем течениям и направлениям, которые находятся в отношении явной оппозиции к официальной науке. Но даже и они оказались охваченными совокупным производственным процессом. Они изменились ничуть не в меньшей степени, чем та идеология, с которой они имели дело. С ними происходит то же самое, что давным-давно случилось с торжествующей мыслью. Когда она намеренно покидает свою родную критическую стихию, становясь просто средством на службе некоего существующего порядка, против ее воли принуждается она к тому, чтобы превращать то позитивное, что она избрала для себя, в нечто негативное и разрушительное. В восемнадцатом столетии философия, несмотря на сожжение на кострах книг и людей, внушавшая смертельный страх подлости, при Бонапарте перешла на ее сторону. В конечном итоге наследие непримиримых энциклопедистов было узурпировано апологетической школой Конта, протянувшей руку всем тем, кому они некогда противостояли. Метаморфозы критики в апологетику не обошли стороной и теоретическое содержание, истина которого улетучивается. В настоящее время, правда, моторизованная история уже обгоняет подобного рода духовное развитие, а официальные ораторы, у которых полно других забот, успевают ликвидировать теорию, позволившую им занять место под солнцем, еще прежде, чем удастся ей по-настоящему протитуировать себя.

В ходе осознания своей собственной вины мышление обнаруживает себя лишенным возможности воспользоваться не только научным и обыденным, но в такой же мере и упомянутым оппозиционным понятийным языком. На ум более не приходит ни одного выражения, которое не стремилось бы соответствовать господствующим в мышлении тенденциям, и то, чего не удастся самочинно сделать затаканному языку, точно уж наверстает социальная машинерия. Цензорам, которых добровольно содержат из опасения еще больших издержек на киностудиях, соответствуют аналогичные инстанции во всех областях. Процесс обработки, которому подвергает литературный текст если не сам его создатель в автоматической прозорливости своей, то уж во всяком случае целый штаб редакторов, издателей, переработчиков, ghost writers внутри и вне стен издательских офисов, по своей основательности превосходит уже всякую цензуру. Сделать отправление ею своих функций уже окончательно излишним, судя по всему, является, несмотря на все благодетельные реформы, тщеславной амбицией воспитательной системы. Распространением мнения, что без строгого ограничения сферы своей деятельности лишь констатацией фактов и расчетом вероятностей познающий дух оказался бы слишком восприимчивым ко всякого рода шарлатанству и суеверию, приуготовляет она бесплодную почву для падкости на всякого рода шарлатанство и суеверие. Подобно тому, как сухой закон с самых давних пор открывал доступ к более ядовитому продукту, блокирование способности к теоретическому воображению мостило путь политическому безумию. Даже тогда, когда люди еще не полностью охвачены им, благодаря цензурным механизмам, насаждаемым как снаружи так и собственно внутри, они лишаются средств к сопротивлению.

Апория, с которой мы столкнулись в ходе нашей работы, оказалась таким образом тем первым предметом, который надлежало нам исследовать, - это саморазрушение Просвещения. Мы нисколько не сомневаемся в том - и в этом состоит наш *petitio principii* - что свобода в обществе неотделима от просвещающего мышления. И тем не менее мы полагаем, что нам удалось столь же отчетливо осознать, что понятие именно этого мышления, ничуть не в меньшей степени чем конк-

ретные исторические формы, институты общества, с которыми оно неразрывно сплетено, уже содержит в себе зародыш того регресса, который сегодня наблюдается повсюду. Если Просвещение не вбирает рефлексию этого возвратного момента в себя, оно выносит самому себе приговор. В силу того, что осознание деструктивности прогресса остается уделом его противников, слепо прагматизированное мышление утрачивает способность к процедуре снятия и, следовательно, связь с истиной. На фоне загадочной готовности технологически воспитанных мисс подпадать под чары всякого рода деспотизма, ее саморазрушительного средства с общенациональной паранойей, на фоне всего этого непостижимого абсурда становится очевидной слабость современного понимания ситуации на теоретическом уровне.

Мы полагаем, что этими фрагментами вносим свой вклад в дело такого понимания в той мере, в какой показываем, что причину регресса Просвещения в мифологию следует искать не столько в специально придуманных с целью регресса националистических, языческих и прочих современных мифологиях, сколько в самом парализованном страхе перед истиной Просвещения. Оба понятия при этом следует рассматривать не только в качестве относящихся к сфере истории духа, но и в качестве реалий. Подобно тому, как Просвещение выражает действительное движение буржуазного общества в целом с точки зрения олицетворяемой личностями и институтами его идеи, истина является не просто разумным состоянием сознания, но в такой же мере и той формой, которую оно принимает в действительности. Страх настоящих сыновей современной цивилизации отклониться от тех фактов, которые даже в момент их восприятия оказываются уже клишеобразно препарированными господствующими в науке, бизнесе и политике практиками, непосредственно является тем же самым, что и страх перед социальным отступничеством. Этими же практиками формулируется и то требование ясности в языке и мышлении, которому обязаны сегодня удовлетворять искусство, литература и философия. Табуируя негативно относящееся к фактам и господствующим мыслительным формам мышление в качестве невразумительного педантства, желательнее всего чужестранного происхождения, оно обрекает дух на все более и бо-

лее углубляющуюся слепоту. Так уж положено в этом безнадежном состоянии, что даже самый честный реформатор, предлагающий нововведение в условиях избитого и затасканного языка, усваивая отшлифованный категориальный аппарат и стоящую за ним дурную философию, лишь упрочивает власть того существующего порядка, который он намеревался сокрушить. Ложная ясность есть лишь иное проявление мифа. Он всегда был темным и ясным в одно и то же время. С самых давних пор удостоверяющими его признаками являлись фамильярная близость и полная отрешенность от работы понятия.

Человеческая обреченность природе сегодня неотделима от социального прогресса. Рост экономической продуктивности, с одной стороны, создает условия для более справедливого мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат и те социальные группы, которые им распоряжаются, безмерным превосходством над остальной частью населения. Единичный человек перед лицом экономических сил полностью аннулируется. При этом насилие общества над природой доводится ими до неслыханного уровня. В то время, как единичный человек исчезает на фоне того аппарата, который он обслуживает, последний обеспечивает его лучше, чем когда бы то ни было. При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает пропорционально количеству предоставляемых им благ. Материально осязаемое и социально жалкое повышение жизненного уровня низших классов находит свое отражение в притворном распространении духовности. Подлинной задачей духа является негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрируется там, где затвердевает в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. Поток точной информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглушает людей.

Дело вовсе не в культуре как ценности, как то полагают критики цивилизации - Хаксли, Ясперс, Ортега-и-Гассет и другие, - но в том, что Просвещению надлежит осознать самое себя, чтобы человек не оказался окончательно преданным. Не о консервации прошлого, но об исполнении былых надежд должна идти речь. Но сегодня прошлое продолжается в виде разрушения прошлого. Если вплоть до девятнадцатого столетия респектабельное образование было привилегией, оплачи-

ваемой усиливающимся страданием необразованных, то в двадцатом за гигиеничное фабричное помещение пришлось заплатить расплавлением всего к культуре относящегося в одном гигантском тигле. Возможно, это и не было бы настолько уж высокой ценой, насколько считают защитники культуры, если бы распродажа культуры не способствовала превращению достижений экономики в их полную противоположность.

В данных условиях земные блага сами становятся элементами несчастья. Если в предшествующий период, ввиду отсутствия социального субъекта, их огромное количество сказывалось в виде так называемого перепроизводства при внутриэкономических кризисах, то сегодня, вследствие восшествия на престол в качестве такового социального субъекта определенных властных групп, ими порождается угроза фашизма в международном масштабе: прогресс оборачивается регрессом. К тому, что гигиеничным фабричным помещением и всем к нему непосредственно относящимся, фольксвагенами и дворцами спорта, тупоумно ликвидируется метафизика, можно было бы еще остаться равнодушным, но нельзя быть безучастным к тому, что в общественном целом все это само становится метафизикой, идеологической завесой, из-за которой надвигается реальное бедствие. Из этого и исходят наши фрагменты.

Первая статья, теоретическая основа последующих, стремится дать как можно более детальное понимание сплетения рациональности с социальной действительностью, равно как и неразрывно связанного с таким переплетением природы с господством над ней. Проводимая при этом критика Просвещения служит подготовке позитивного понятия последнего, освобождающего его от обслуживания отношений слепого господства.

Грубо говоря, первая статья в ее критической части может быть сведена к двум тезисам: уже миф есть Просвещение, и: Просвещение превращается, обратным ходом, в мифологию. Эти тезисы развиваются в обоих экскурсах на специфических предметах. Первый прослеживает диалектику мифа и Просвещения на примере "Одиссеи", этого наиболее раннего репрезентативного свидетельства западноевропейской бур-

жуазной цивилизации. В центре внимания тут находятся понятия жертвы и отречения, в которых равным образом удостоверяют себя как различие, так и единство мифической природы и просвещенного господства над природой. Второй экскурс имеет дело с Кантом, Садом и Ницше, безжалостными завершителями Просвещения. Он показывает, как порабощение всего природного самовластным субъектом, в конце концов достигает своего апогея именно в господстве слепо объективного, природного. Эта тенденция уравнивает между собой все оппозиции, присущие буржуазному мышлению, в особенности - оппозицию морального ригоризма и абсолютной аморальности.

Раздел "Культуриндустрия" демонстрирует регрессию Просвещения к идеологии, которая находит свое образцовое воплощение в кино и радио. Просвещение состоит при этом прежде всего в калькулировании воздействия, техники изготовления и распространения; по своему собственному содержанию идеология исчерпывается идолатризацией существующего и той власти, которой контролируется данная техника. При разборе этого противоречия мы относимся к культуриндустрии более серьезно, чем этого желала бы она сама. Но так как ее ссылка на свой собственный коммерческий характер, открытое признание себя сторонницей смягченной истины уже давно стали той отговоркой, при помощи которой она уклоняется от ответственности за ложь, то наш анализ ориентируется на объективно присущее ее продуктам притязание - быть эстетическими творениями и, тем самым, формой истины. Он выявляет общественное бесчинство, в аннулирую это притязание. Раздел о культуриндустрии фрагментарен более других разделов.

Тезисные размышления "Элементы антисемитизма" касаются возврата просвещенной цивилизации к варварству в современной действительности. Не просто идеальная, но и практическая тенденция к самоуничтожению присуща рациональности с самого начала, отнюдь не только той фазе, в которой она выступает в обнаженном виде. Именно под этим углом зрения представлен тут эскиз философской протоистории антисемитизма. Его "иррационализм" выводится из сущности как самого господствующего разума, так и соответствующего ему образа мира. "Элементы" самым непосредственным образом связаны с эмпи-

рическими исследованиями Института Социальных Исследований, основанного и поддерживаемого в жизнеспособном состоянии Феликсом Вайлем - фонда, без которого не только наши изыскания, но и добрая часть вопреки Гитлеру продолжающейся теоретической работы немецких эмигрантов были бы невозможны. Первые три тезиса написаны нами совместно с Лео Левенталем, с которым, начиная с первых франкфуртских лет, мы сообща работали над многими научными проблемами.

В последней части публикуются зарисовки и наброски, частично относящиеся к кругу идей предшествующих разделов, но не нашедшие там своего места, частично предварительно очерчивающие тематику будущей работы. В большинстве своем они касаются проблем диалектической антропологии.

Лос-Анджелес, Калифорния, май 1944 г.

Публикуемая книга не содержит никаких существенных изменений текста, завершеного еще во время войны. Единственным дополнением является последний тезис "Элементов антисемитизма".

Июнь 1947 г.

**МАКС ХОРКХАЙМЕР
ТЕОДОР В. АДОРНО**

ПОНЯТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

С давних пор просвещение в самом широком смысле прогрессивного мышления преследовало цель избавить людей от страха и сделать их господами. Но наконец-то просвещенная планета воссияла под знаком триумфирующего зла. Программой Просвещения было расколдование мира. Оно стремилось разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания. Уже Бэконом, этим “отцом экспериментальной философии”¹, были подобраны соответствующие мотивировки. С презрением относится он к адептам традиции, которые “сначала полагают, что другим известно то, чего не знают они; а впоследствии - что им самим известно то, чего они не знают. Легковерие, отвращение, питаемое к сомнению, опрометчивость в ответах, хвастовство образованием, боязнь противоречия, корыстность, небрежность в собственном исследовании, словесный фетишизм, удовлетворенность лишь частичным знанием: все это и тому подобное воспрепятствовало счастливому бракосочетанию человеческого рассудка с природой вещей, взамен сосватав его с тщеславными понятиями и беспорядочными экспериментами: плоды и потомство столь достохвального соития легко можно себе представить. Печатный пресс, грубое изобретение; пушка, изобретение которое уже напрашивалось само собой; компас, до известной степени известный уже ранее: какие только изменения не повлекли за собой эти три изобретения - одно в хозяйственной сфере, другое в сфере военной, третье в области финансов, торговли и мореходства! И на них, говорю я, наткнулись только совершенно случайно.

¹ Voltaire. *Lettres philosophiques* XII. *Oeuvres complètes*. Ed. Gamier, Paris, 1879, Band XXII, S.118.

Итак преимущество человека состоит в знании, в этом не может быть никакого сомнения. Оно таит в себе многие вещи, которые со всеми их богатствами не купить королям, на которые не распространяется их власть, о которых не приносят никаких известий их шпионы и доносчики, к странам из которых они родом не могут отплыть их мореплаватели и первооткрыватели. Сегодня мы господствуем над природой в одном только нашем мнении, будучи в действительности поработаны ею; однако если бы мы позволили ей руководить нами в наших изобретениях, на практике мы стали бы повелевать ею.”²

Несмотря на свое незнание математики, Бэкону удалось точно схватить общий настрой науки, воспоследовавшей за ним. Счастливое бракосочетание человеческого рассудка с природой, имевшееся им в виду, патриархально: рассудку, побеждающему суеверия, надлежит повелевать расколдованной природой. Знание, являющееся силой, не знает никаких преград, ни в поработании творения, ни в услужливости по отношению к хозяевам мира. Равно как и любым целям буржуазного хозяйничанья на фабрике или на поле битвы, готово оно услужить предприимчивому невзирая на его происхождение. Короли не распоряжаются техникой более непосредственно, чем то делают лавочники: техника так же демократична, как и та хозяйственная система, вместе с которой она развивается. Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал. Те многие вещи, которые оно, согласно Бэкону, все еще таит в себе, сами по себе опять же являются всего лишь инструментами: радио как сублимированный печатный станок, пикирующий бомбардировщик как более эффективная артиллерия, дистанционное управление как более надежный компас. Единственно чему хотят научиться люди у природы, так это тому, как ее использовать для того, чтобы полностью поработить и ее, и человека. Ничто иное не имеет значения. Беспощадно уже и по отношению к самому себе Просвещение выжигает даже последние остатки чувства

² Bacon. In Praise of Knowledge. Miscellaneous Tracts Upon Human Philosophy. The Works of Francis Bacon. Ed. Basil Montagu, London, 1825, Band I, S.254 f.18

собственного достоинства. Только такое мышление достаточно твердо, чтобы разрушать мифы, которые учиняет насилие над самим собой. Перед лицом триумфирующего сегодня чувства реальности даже и бэконовское номиналистическое кредо стало бы подозрительным и подпало бы под тот вердикт о ничтожности, который он вынес схоластике. Власть и познание - синонимы.³ Бесплодное счастье познания для Бэкона так же непристойно, как и для Лютера. Не об удовлетворении, которое доставляет человеку истина, идет тут речь, но об "operation", об эффективном методе; не в "убедительных, приятных, достойных уважения или эффектных речах, или же в каких-либо очевидных аргументах, но в деятельности и в трудах и в открывании доселе неизвестных деталей для лучшего оснащения и помощи в жизни "состоит" подлинная цель и призвание науки".⁴ Не должно быть никаких тайн, но также и желания их открыть.

Расколдовывание мира есть искоренение анимизма. Ксенофан высмеивает многобожие, потому что его боги во всем случайном и дурном схожи с людьми, их порождающими, а новейшая логика дискредитирует общеупотребительные слова естественного языка как фальшивые монеты, которые лучше было бы заменить игральными фишками. Мир становится хаосом, а синтез - спасением. Недопустимо никакое различие между тотемным животным, грезами духовидца и абсолютной идеей. Путь человека к науке Нового времени пролегает через отречение от смысла. Понятие заменяется тут формулой, причина - правилом и вероятностью. Понятие причины было последним философским понятием, с которым соизмеряла себя научная критика, будто бы потому, что из всех старых идей ей встретилось лишь только оно одно, эта наиболее поздняя версия секуляризации порождающего принципа. Давать современную дефиницию субстанции и качеств, деятельности и страдания, бытия и существования - это со времен Бэкона было делом философии, наука же обходилась уже без подобного рода категорий. В

³ Cp. Bacon. *Novum Organum*. Ibid., Band XIV, S.31.

⁴ Bacon. *Valerius Terminus, of the Interpretation of Nature*. *Miscellaneous Tracts*. Ibid., Band I, S.281.

качестве *Idola Theatri* они были оставлены прежней метафизике и уже к тому времени превратились в памятники сущностям и силам давно прошедших времен. По ним истолковывали себя в мифах и жизнь и смерть, с ними же и сплетаясь. Категории, в которых западноевропейской философией определялся представлявшийся ей вечным порядок природы, маркируют собой места, которые некогда занимали Окнос и Персефона, Ариадна и Нереиды. Космологии досократиков держатся момента перехода. Влага, нераздельное, воздух, огонь, рассматриваемые ими в качестве праматерии, как раз и являются прежде всего рационализированными фиксациями мифологического мирозерцания. Подобно тому, как пришедшие к грекам с Нила образы зачатия от соития воды и земли превращаются тут в гилозоистические принципы, интеллектуализируется и буйно разросшееся многообразие мифических демонов в целом до чистой формы онтологических сущностей. Наконец благодаря платоновским идеям даже патриархальные боги Олимпа охватываются философским логосом. Просвещение, однако, распознало в платоновской и аристотелевской части метафизического наследия древние силы и начало преследовать притязание универсалий на истинность как суеверие. В авторитете всеобщих понятий им все еще усматривался прежний страх перед теми демонами, посредством изображений которых люди пытались в ходе магического ритуала влиять на природу. Отныне материя должна была быть поработаемая, наконец, без иллюзий относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным. Сумей оно однажды развернуться без помех со стороны внешнего принуждения, ему не было бы удержу. С его собственными идеями о правах человека дело обстоит ничуть не иначе, чем с прежними универсалиями. Любой духовный отпор, встречаемый им, лишь умножает его мощь.⁵ Это происходит от того, что Просвещение вновь все еще распознает себя самое даже в мифах. К каким бы мифам ни апеллировало оказываемое ему сопротивление, уже в силу того, что

⁵ Ср. Hegel. *Phaenomenologie des Geistes*. Werke, Band II, S.410 f.

в подобном противостоянии они становятся аргументами, теми, кто оказывает сопротивление, признается принцип разлагающей рациональности, который они ставят в упрек Просвещению. Просвещение - тоталитарно.

Основой мифа Просвещением с давних пор считался антропоморфизм, проекция субъективного на природу.⁶ Все сверхъестественное, духи и демоны, стало тут зеркальным отображением человека, испытывавшего ужас перед силами природы. Согласно Просвещению, все множество мифологических фигур может быть сведено к одному и тому же знаменателю, все они редуцируются к субъекту. Ответ Эдипа на загадку сфинкса: "Это человек" - повторяется Просвещением в качестве выдаваемой им стереотипной справки во всех без исключения случаях, безотносительно к тому, что имеется им в виду: фрагмент объективного смысла, контуры некоего порядка, страх перед силами зла или надежда на спасение. В качестве бытия и события Просвещением заранее признается только то, что удастся постигнуть через единство; его идеалом является система, из которой вытекает все и вся. Не в этом отличаются друг от друга его рационалистическая и эмпиристская версии. Сколь бы различно ни интерпретировались отдельными школами исходные аксиомы, структура единой науки всегда оставалась той же самой. При всем плюрализме областей исследования бэконовский постулат *Una scientia universalis*⁷ столь же враждебен необязательности, как и лейбницеvский *Mathesis universalis* - скачку. Множественность форм сводится к их местоположению и распорядку, история - к факту, вещи - к материи. Согласно Бэкону, должны также существовать и однозначные логические связи, посредством степеней всеобщности, между высшим принципами и данными наблюдения. Им взлелеивается, издевается (де Местр, "идол лестницы")⁸, формальная логика была ве-

⁶ Ксенофан, Монтень, Юм, Фейербах и Саломон Райнах единодушны в этом. Ср. касательно Райнаха: *Orpheus. From the French by F. Simmons. London, 1909, S.6ff.*

⁷ Bacon. *De augmentis scientiarum. Ibid., Band VIII, S.I 52.*

⁸ *Les Soirees de Saint-Petersbourg. Sieme entretien. Oeuvres completes, Lyon, 1891, Band IV, S.256.*

ликой школой унификации. Она предоставила просветителям схему исчислимости мира. Мифологизирующим отождествлением идей с числами в последних сочинениях Платона выражается пафос всякого демифологизирования: число стало каноном Просвещения. Буржуазное правосудие и товарообмен регулируются одними и теми же уравнениями. "Не является ли то правило, что когда складываешь неравное с равным получаешь неравное, аксиомой как справедливости, так и математики?"⁹ Буржуазное общество управляется принципом эквивалентности. Оно делает разноименное сопоставимым тем, что редуцирует его к абстрактным величинам. То, что не поглощается числами, в конечном итоге единицей, становится для Просвещения видимостью, иллюзией; современным позитивизмом оно изгоняется в поэзию. Единство остается главенствующим лозунгом от Парменида до Рассела. Главным остается истребление богов и качеств.

Но мифы, становящиеся жертвой Просвещения, сами являются его же непосредственными продуктами. В научном исчислении события аннулируются тот отчет, который когда-то был дан мыслью о событии в мифах. Миф стремился сообщить, назвать, высказать происхождение: но тем самым изобразить, констатировать, объяснить. В ходе записи и собирания мифов эта тенденция усиливается. С ранних пор мифы превращаются из сообщения в учение. Любой ритуал включает в себя представление о событии как об определенном процессе, на который надлежит влиять магическим образом. Этот теоретический элемент ритуала обособливается в самых ранних эпохах народов. Мифы в том виде, в каком их застают трагики, уже стоят под знаком той дисциплины и власти, которые прославляются Бэконом в качестве цели. Место локальных духов и демонов занимают небеса и их иерархия, место заклинаний, практикуемых магом и племенем - четко субординированное жертвоприношение и выполняемый в приказном порядке труд невольников. Божества Олимпа уже более не идентифицируются непосредственно со стихиями, они их обозначают. У Гомера Зевс начальствует над дневными небесами, Аполлон управляет Солнцем, Гелиос и Эос пере-

⁹ Bacon. Advancement of Learning. Ibid., Band II, S.126.

ходят уже в область аллегорического. Бытие отныне распадается и превращается в логос, стягивающийся, с прогрессом философии, в монаду, во всего только точку отсчета, и в массу всех вещей и создании ввне. Одним единственным различием между собственным существованием и реальностью поглощаются все иные. Безотносительно к каким бы то ни было различиям мир становится подвластным человеку. В этом единодушны иудейская история творения и религия Олимпа, "...и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле"¹⁰. "О Зевс, отец мой! Ты на небесах царишь, / Свидетель ты всех дел людских, / И злых и правых. Для тебя не все равно, / По правде ль зверь живет иль нет."¹¹ "Господин же, поставивший раба между собою и ею, встречается, таким образом, только с зависимой стороною вещи и пользуется ею целиком; самостоятельную же ее сторону он предоставляет рабу, который ее и обрабатывает."¹² Перед этими богами устоять способен только тот, кто покоряется без остатка. Пробуждение субъекта куплено ценой признания власти в качестве принципа всех отношений. По сравнению с единством подобного рода разума различие между богом и человеком низводится до степени той иррелевантности, которая уверенно констатировалась разумом уже прямо-таки со времен самой древней гомеровской критики. В качестве повелителя природы бог-творец и дух-строитель тождественны друг другу. Богоподобие человека состоит в суверенитете над существованием, в его взгляде повелителя, в командовании.

Миф превращается в Просвещение, а природа - во всего лишь объективность. Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение отно-

¹⁰ Книга Бытия, 1,26

¹¹ Archilochos. Fr.87. Цит. по: Deussen. Allgemeine Geschichte der Philosophie. Band II, Erste Abteilung. Leipzig, 1911, S.I 8. ("Эллинские поэты в переводах В.В.Вересаева". ГИХЛ, М., 1963, с.220).

¹² Solon. Fr. 13,25, след. Ibid., S.20. (Аристотель. "Афинская политая", Соцгиз, М.-Л., 1936, Приложения, с. 134).

сится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими. Человеку науки вещи известны в той степени, в какой он способен их производить. Тем самым их в-себе становится их для-него. В этом превращении сущность вещей всегда раскрывается как та же самая в каждом случае, как субстрат властвования. Этой идентичностью конституируется единство природы. Столь же мало, как и единство субъекта, являлось оно предпосылкой практики магического заклинания. Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам или экземплярам. Не один единственный и идентичный самому себе дух был тем духом, которым приводилась в действие магия; он менялся подобно тем культовым маскам, которым надлежало быть подобными множественным духам. Магия является кровавым заблуждением, но в ней господство еще не отрицается благодаря тому, что она, будучи трансформированной в абсолютную истину, кладется в основу поработаемого ею мира. Маг уподобляет себя демонам; чтобы запугать их или умиловать, он принимает вид устрашающий или смиренный. И хотя его должность требует повторения одного и того же, он еще не объявляет себя, как это делает цивилизованный человек, для которого в таком случае его скромные охотничьи угоды съезживаются до размеров унифицированного космоса, совокупности возможностей добычи, подобием незримых сил. Лишь в качестве такого подобия достигает человек идентичности той самости, которая не может быть утрачена при идентификации себя с другими, но которая овладевает собой в качестве непроницаемой маски раз и навсегда. Именно идентичность духа и ее коррелят, единство природы, есть то, жертвой чего становится полнота качеств. Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации, а всемогущая самость - всего лишь обладанием, абстрактной идентичностью. Магии присуще специфическое заместительство. То, что происходит с копьем врага, его волосом, его именем, причиняется одновременно и самому человеку, вместо бога умерщвляется жертвенное животное. Субституция при жертвоприношении знаменует собой шаг в направлении дискурсивной логики. Даже если самка оленя, приносит

мая в жертву взамен дочери, либо ягненок. жертвуемый взамен первенца, несомненно обладали в придачу еще и собственными качествами, они все же являлись уже представителями вида. Они несли в себе случайность экземпляра. Но святостью *hic et nunc*, исключительностью избранника, осеняющей заместителя, последний радикально выделяется, делается незаменимым при обмене. Этому кладет конец наука. В ней не существует никакого специфического заместительства: если уж жертвенные животные, то уж никакого бога. Заместительство оборачивается универсальной взаимозаменяемостью. Атом расщепляется не как заместитель, но как образчик материи, и кролик не заместительство, а профессиональным рвением лаборатории третируется всего лишь как экземпляр. В силу того, что в функциональной науке различия становятся текучими до такой степени, что все тонет в одной-единственной материи, предмет науки окаменевают и закоснелый ритуал былых времен начинает казаться изменчивым, поскольку им Единому приписывалось еще и Иное. Мир магии все еще содержит различия, сами следы которых исчезли в форме языка.¹³ Самые разнообразные сходства между сущим вытесняются одним-единственным отношением между задающим смысл субъектом и смысла не имеющим предметом, между рациональным значением и случайным носителем значения. На магической ступени сон и образ считались не всего только знаками вещи, но связанными с последней посредством подобия или имени. Связь тут является связью не интенции, но родства. Так же, как и наука, колдовство преследует свои цели, но оно достигает их посредством мимезиса, а не в ходе прогрессирующего дистанцирования от объекта. Оно никоим образом не основано на “всесилии мысли”, которое, подобно невротике, мог бы приписать себе примитивный человек; “переоценки психических процессов в противовес реальности”¹⁴ не может быть там, где мысль и реальность еще радикально не разъединены. “Непоколебимая уверенность в возможности овладении миром”¹⁵, которую Фрейд

¹³ Ср., напр., Robert H. Lowie. *An Introduction to Cultural Anthropology*. New York, 1940, S. 344 f.

¹⁴ Ср. Freud. *Totem und Tabu. Gesammelte Werke*. Band IX, S. 106 ff.

¹⁵ *Ibid.*, s. 110.

анахронично приписывает колдовству, соответствует лишь удовлетворяющей принципу реальности стадии овладения миром посредством более искусной науки. Для смены привязанных к определенному месту практик знахаря всеохватывающей индустриальной техникой потребовалось обособление мысли по отношению к объекту, как оно было осуществлено в удовлетворяющем принципе реальности Я.

В качестве языковым образом развернутой тотальности, притязанием которой на истину подавляются более древние мифические верования народных религий, солярный, патриархальный миф сам является просвещением, с которым Просвещение философское может теперь померяться силами как с равным. И ему воздается сторицей. Мифология сама развязала процесс бесконечного просвещения, в ходе которого любое определенное теоретическое воззрение с неизбежной необходимостью вновь и вновь подвергается уничтожительной критике, выставляющей его в виде всего лишь некоего верования, вплоть до того, что понятия духа, истины и даже просвещения сами становятся относящимися к сфере анимистического колдовства. Принцип роковой необходимости, губящий героев мифа и развертывающийся в качестве логического следствия прорицания оракула, не просто господствует, будучи облагороженным до убедительности формальной логики, в любой рационалистической системе западноевропейской философии, но управляет даже самой последовательностью систем, которая начинается с иерархии божеств и которой, в условиях перманентных сумерек кумиров, направляется гнев в отношении недостающей порядочности как идентичного содержания. Подобно тому, как мифами уже осуществляется просвещение. Просвещение с каждым своим шагом втягивается все глубже и глубже в мифологию. Оно перенимает весь материал мифов для того, чтобы их разрушить, и как их судия подпадает под чары мифов. Оно стремится избежать суда роковой неизбежности и соответствующего возмездия тем, что учиняет акт возмездия над ним самим. В мифах все случившееся должно быть покаянием за то, что оно случилось. От этого в Просвещении остается только то, что факт становится ничтожным, едва случившись. Учением о равенстве действия и противодействия власть повторения над существованием ут-

вердидась много позже того, как люди отказались от той иллюзии, что благодаря повторению они способны идентифицировать себя с повторяющимся существующим и, тем самым, избежать его власти. Но чем более рассеивается эта иллюзия магии, тем неумолимее вовлекается человек повторением в сани закономерности в тот кругооборот, посредством опредмечивания которого в закон природы он мнит себя удостоверенным в качестве свободного субъекта. Принцип имманентности - объяснение каждого события как повторяющегося - который отстаивается Просвещением в противовес мифологической продуктивной силе воображения, есть принцип самого мифа. Сухой мудростью, не допускающей ничего нового в подлунном мире, потому что кости бессмысленной игры брошены, великие мысли все уже помыслены, возможные открытия заранее конструированы, а люди нацелены на самосохранение посредством приспособления - этой сухой мудростью репродуцируется именно то чисто фантастическое, что отвергается ею: санкция рока, которой, посредством возмездия, неустанно воссоздается вновь то, что уже некогда было. Таков вердикт, критически воздвигающий границы возможного опыта. Идентичность оплачивается в первую очередь всем тем, что не способно в одно и то же время быть идентичным самому себе. Просвещение ликвидирует беззаконие прежнего неравенства, непосредственное барство, но в то же время и увековечивает его в универсальном опосредовании, в соотносительности всякого сущего с любым иным. Им исполняется то, что восхваляется Киркегором в его протестантской этике и что уже наличествует в эпическом цикле о Геракле в качестве одного из прообразов мифологического могущества: им отсекается несоизмеримое. Здесь не только разлагаются мыслью качества, но и принуждаются к реальной конформности люди. То благо, что рынок не задает вопросов о происхождении, оплачено торгующим тем, что те возможности производства товаров, продающихся на рынке, которыми наделен он от рождения, он позволяет моделировать другим. Самость людям даруется в каждом случае как их собственная, ото всех других отличная для того, чтобы тем вернее была она той же самой. Но так как ей никогда не удавалось полностью ликвидироваться, на протяжении всего либералистского периода Просвещение по-

стоянно симпатизировало социальному насилию. Единство манипулируемого коллектива состоит в негации каждого единичного его члена, что очень далеко от того способа, каким общество сумело сделать его одним-единственным. Орда, наименование, вне сомнения, применимое к организации "Гитлерюгенд", никоим образом не является рецидивом варварства, но - триумфом репрессивной эгалитарности, развитием равенства прав в бесправии равенства. Фашистская имитация мифа разоблачает себя в качестве подлинно первобытного мифа, ибо мифу подлинному было присуще прозрение возмездия, тогда как мифом фальшивым оно слепо учиняется над его жертвами. Любая попытка порвать узы природного принуждения, в результате чего сломленной оказывается сама природа, лишь прочнее затягивает эти узы. Таков путь, проложенный европейской цивилизацией. Абстракция, инструмент Просвещения, относится к своим объектам подобно року, понятие которого ею искореняется: способом ликвидации. В условиях нивелирующего господства абстрактного, делающего все в природе повторяющимся, и индустрии, для которой оно его обрабатывает, сами освобожденные в конце концов становятся той "толпой", которую Гегель¹⁶ охарактеризовал как результат Просвещения.

Дистанцированность субъекта от объекта, предпосылка абстракции, имеет своим основанием ту дистанцию к вещи, которая приобретает господином посредством подданного. Песни Гомера и гимны Ригvedы принадлежат эпохе землевладения и закрепленных площадей, когда воинственная народность, властвующая над массой побежденных ею автохтонов, становится оседлой.¹⁷ Верховный бог среди божеств возникает с этим буржуазным миром, в котором царем как предводителем военной аристократии подданные удерживаются на земле, в то время как врачами, прорицателями, ремесленниками, торговцами осуществляется обращение. С концом номадизма социальный строй учреждается на базе прочно закрепленной собственности. Такой собственник,

¹⁶ *Phaenomenologie des Geistes*. Ibid., S.424.

¹⁷ Cp. W.Kirfel. *Geschichte Indiens*. In: *Propylaeenweltgeschichte*. Band III, S.261 ff.; и G.Glotz. *Histoire Grecque*. Band I. In: *Histoire Ancienne*. Paris, 1938, S.137 ff.

как Одиссей, “издали управляет многочисленным, педантично подразделенным персоналом, состоящим из волопасов, чабанов, свинопасов и слуг. Вечером, наблюдая из своего замка, как земля озаряется тысячей огней, он может позволить себе со спокойной душой отойти ко сну: он знает, что его славные слуги бодрствуют, готовы уберечь от диких зверей и охранить от воров его владения, для защиты которых они и существуют.”¹⁸ Всеобщность мысли, как ее развивает дискурсивная логика, господство в сфере понятия выстраивается на фундаменте господства в действительности. В смене магического наследия, древних диффузных представлений находит свое выражение понятийным единством структурируемая приказным порядком, устанавливаемая свободными людьми конституция жизни. Самость, обучившаяся порядку и субординации на порабощении мира, скоро вообще начинает отождествлять истину с мышлением-распорядителем, без вводимых которым четких различий она и не способна существовать. Вместе с миметическим колдовством ею табуируется и то знание, которым в самом деле затрагивается предмет. Ее ненависть распространяется одновременно и на образ поверженного первобытного мира? и на свое собственное воображаемое счастье. Хтонические божества коренного населения изгоняются в ад, в который превращается Земля под властью солнечно-световой религии Индры и Зевса.

Но небеса и ад неразрывно связаны друг с другом. Подобно тому, как имя Зевса в тех культах, которые не исключали друг друга, равным образом принадлежало и подземному божеству? и богу света ¹⁹, подобно тому, как олимпийские боги имели обыкновение поддерживать контакты всякого рода с богами хтоническими, не были однозначно отделены друг от друга добрые и злые силы, благо и зло. Они были сцеплены между собой как возникновение и уничтожение, как жизнь и смерть, как лето и зима. В солнечно-ясном мире греческой религии продолжа-

¹⁸ G.Glotz. Ibid., S. 140.

¹⁹ Ср. Kurt Eckermann. Jahrbuch der Religionsgeschichte und Mythologie. Halle, 1845, Band 1, S.241; и O.Kern. Die Religion der Griechen. Berlin, 1926, Band 1, S.181 f.

ла жить смутная нерасчлененность того религиозного принципа, который на самой ранней из известных стадий развития человека почитался в качестве мана. Первоначально, будучи еще не дифференцированной, была она всем неведомым, чуждым; тем, что оказывалось трансцендентным кругу опыта, тем, что в вещах было больше их наперед уже известного существования. То, что примитивом в этом случае распознается в качестве сверхъестественного, никоим образом не является духовной субстанцией как противоположностью материального, но - взаимосвязностью естественного в противовес отдельному его звену. Вопль ужаса, который вырывается при встрече с непривычным, становится его именем. Им фиксируется трансцендентность неведомого по отношению к известному и тем самым - святость ужаса. Раздвоение природы на видимость и сущность, на воздействие и силу, лишь благодаря которым становятся возможными как миф, так и наука, порождено страхом человека, сам способ выражения которого становится объяснением. Не душа переносится на природу, как то заставляет думать психологизм; мана, движущий дух, никоим образом не является проекцией, но эхом реального всемогущества природы в слабых душах дикарей. Разделение на одушевленное и неодушевленное, заселение определенных мест демонами и божествами берет свое начало в этом преанимизме. Само разделение субъекта и объекта уже заложено в нем. Когда с деревом обращаются не просто как с деревом, а как со свидетельством чего-то иного, как с местопребыванием мана, язык обретает способность выразить то противоречие, что нечто является им самим и в то же время чем-то иным, нежели оно само, идентичным и неидентичным.²⁰ Благодаря божествам язык из тавтологии становится языком. Понятие, которое расхожей дефиницией определяется в качестве единства признаков под него подводимого, напротив, с самого начала было продуктом диалектического мышления, для которого что-либо есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно становится тем, чем оно не

²⁰ Юбер и Мосс следующим образом описывают содержание представления о "симпатии", мимезисе: "L'un est le tout, tout est dans l'un, la nature triomphe de la nature." - H. Hubert et M. Mauss. *Theorie generale de la Magie*. In: *L'Annee Sociologique*. 1902-3, S. 100.

является. Таковой была первоначальная форма объективирующего определения, в которой разошлись взрыз понятие и вещь, та самая, которой были достигнуты большие успехи уже в гомеровском эпосе и которая оттуда переключалась в современную позитивную науку. Но эта диалектика остается бессильной постольку, поскольку развивает себя из того вопля ужаса, который сам есть лишь удвоение, тавтология ужаса. Боги не могут взять на себя страх человека, окаменевшие звуки которого они носят в качестве своих имен. От страха, мнится ему, будет он избавлен только тогда, когда более уже не будет существовать ничего неведомого. Этим определяется путь демифологизации. Просвещения, отождествляющего одушевленное с неодушевленным точно так же, как мифом отождествлялось неодушевленное с одушевленным. Просвещение есть ставший радикальным мифологический страх. Чистая имманентность позитивизма, его последний продукт, есть не что иное, как его, если можно так выразиться, универсальное табу. Недопустимо, чтобы вообще что-либо еще существовало вовне, ибо одно только представление о "вовне" как таковом является подлинным источником страха. Когда месть примитива за убийство, жертвой которого становился кто-либо из его близких, временами удовлетворялась принятием убийцы в свою семью²¹, этим обозначался процесс впитывания чужой крови в собственную, процесс восстановления имманентности. Мифологический дуализм не выводит за пределы привычного круга существования. Пронизанный властью мана мир, и даже еще индийский и греческий миф безысходно и бесконечно однородны. Любое рождение оплачено смертью, всякое счастье - несчастьем. И сколь бы ни пытались люди и боги переиначить свою участь в соответствии с мерилami иными, чем те, которые используются слепой поступью судьбы, в конечном итоге существование всегда одерживает над ними верх. Даже сама справедливость, отвоеванная ими у рока, все еще продолжает нести на себе его черты; она соответствует тому взору, который люди, будь то примитивы или греки и варвары, устремляют из общества подавления и нужды на окружающий их мир. Поэтому-то и мифологи-

²¹ Cp. Westermarck. Ursprung der Moralbegriffe. Leipzig, 1913, Band I, S.402.

ческой, и просвещенческой справедливостью вина и наказание, счастье и несчастье считаются сторонами одного и того же уравнения. Справедливость угасает в праве. Шаман заклинает опасность, используя ее образ. Равенство является его средством. Им регулируются процедуры наказания и поощрения в цивилизации. Сведению к природным соотношениям поддаются прямо-таки все без остатка представления мифов. Подобно тому, как созвездие Близнецов наряду со всеми прочими символами двойственности указывает на неминуемый кругооборот природы, подобно тому, как последний сам в символе яйца, их порождающего, обретает свой древнейший знак, весы в руке Зевса, символизирующие справедливость патриархального мира в целом, отсылают к природе и только к ней одной. Шаг от хаоса к цивилизации, в которой природными зависимостями власть утверждается уже более не непосредственно, но через сознание людей, ничего не меняет в принципе равенства. Как раз этот шаг люди даже были вынуждены искупить ценной обоготворения того, чему они, подобно всем прочим тварным существам, прежде были покорны. Некогда фетиши подчинялись закону равенства. Теперь равенство само становится фетишем. Повязка на глазах Юстиции означает не только то, что в правосудии ничему не дозволено вмешиваться, но также и то, что оно ведет свое происхождение не от свободы.

Учение жрецов было символическим в том смысле, что в нем совпадали знак и образ. Как свидетельствуют иероглифы, первоначально слово выполняло также функцию образа. Позднее она была возложена на мифы. Мифы, как и магические ритуалы, предполагают себя самое повторяющую природу. Она является ядром символического: бытием или процессом, представляемым в качестве извечного потому, что в ходе пресуществления символа он всегда вновь способен стать событием. Неисчерпаемость, бесконечное обновление, непрерывность обозначаемого суть не только атрибуты всех и всяческих символов, но - их подлинное содержание. Те изображения акта творения, в которых мир порождается праматерью, коровой или яйцом, в противоположность иудейскому Генезису символичны. Насмешка древних над слишком че-

ловеческими божествами не затрагивала тут существа дела. Индивидуальностью не исчерпывалась сущность этих божеств. Они все еще хранят нечто от мана в себе; они олицетворяют собой природу как всеобщую власть. Своими преанимистическими чертами они возвышаются над Просвещением. Под стыдливой оболочкой олимпийской скандальной хроники уже складывалось учение о смешении, взаимовлиянии и столкновении элементов, вскоре учредившее себя в качестве науки и превратившее мифы в плод человеческой фантазии. С аккуратным отделением друг от друга науки и поэзии вызванное ими к жизни разделение труда распространяется и на язык. В качестве знака в науку приходит слово; в качестве звука, образа, в качестве собственно слова распределяется оно среди различных искусств, не поддаваясь в каждом отдельном случае восстановлению посредством их суммирования, посредством синестезии или некоего целостного искусства. В качестве знаковой системы языку надлежит смиренно превратиться в исчисление, чтобы познавать природу, следует оставить претензию быть ей подобным. В качестве образа надлежит ему смиренно превратиться в отображение, чтобы быть всей природой - отказаться от претензии ее познать. В условиях прогрессирующего развития Просвещения лишь аутентичным произведениям искусства удавалось избегать неприкрытой имитации того, что и без того уже есть. Расхожая антитеза искусства и науки, отрывающая их друг от друга в качестве сфер культуры для того, чтобы сделать их, в качестве таковых, коллективно управляемыми, в конечном итоге предоставляет им, как полным противоположностям, возможность в силу их собственных тенденций переходить друг в друга. Наука, в ее неопозитивистской интерпретации, становится эстетизмом системой сменных знаков, свободных от какой бы то ни было интенции, системе трансцендентной: игрой, каковой математики уже с очень давних пор гордо провозгласили свое дело. Но искусство интегральной отображаемости оказывается тут предписанным вплоть до техник, используемых позитивистской наукой. Оно и в самом деле еще раз становится миром, идеологическим удвоением, покладистой репродуцируемостью. Разъединение знака и образа было неотвратимым. Но если оно в пароксизме самодовольства безоглядно гипостазировалось

вновь, каждый из обоих изолированных принципов толкает лишь к разрушению истины.

Бездну, которая разверзлась при этом разъединении, философия видит в соотношении созерцания и понятия и неустанно, но тщетно пытается сызнова и сызнова сомкнуть: посредством этой попытки она даже получает свою дефиницию. Правда, чаще всего вставала она на сторону того, от чего заимствует она имя свое. Платон изгоняет поэзию тем же жестом, что и позитивизм - учением об идеях. Своим многими столь превозносимым искусством Гомер, по Платону, не осуществил никаких реформ ни в общественной, ни в частной жизни, не выиграл ни одной войны, не сделал ни одного открытия. Нам ничего неизвестно о тех многочисленных приверженцах, которыми он бы почитался или был любим. Искусство еще должно доказать свою полезность.²² Подражательство им, как и иудеями, объявляется вне закона. Разумом и религией принцип волшебства подвергается опале. Уже в виде отступнического дистанцирования от привычного существования, в качестве искусства, он третируется как нечто постыдное; практикующие его становятся бродячим людом, претерпевающими невзгоды номадами, не имеющими родины среди оседлых. На природу более не следует влиять посредством уподобления, ее следует подчинять себе посредством труда. У произведения искусства с колдовством то общее, что самим собой учреждает оно замкнутую сферу, исключенную из контекста профанного бытия. В ней властвуют особые законы. Подобно тому, как в ходе церемониала колдун первым делом отграничивает от всего окружающего мира то место, в котором надлежит разыгратья действию священных сил, во всяком произведении искусства его абрис изолирует себя от действительности. И именно тем отказом от воздействия, который отличает искусство от магической симпатии, устанавливается более глубокая преемственность по отношению к наследию магии. Им выдвигается чистый образ в противовес телесной экзистенции, элементы которой этот образ снимает в себе. Сам смысл произведения искусства, эстетической видимости, состоит в том, чтобы быть

²² Ср. Платон. Десятая книга "Государства".

тем, чем в любом колдовстве примитива становилось новое, ужасавшее его событие: явленностью целого в частном. В произведении искусства всегда, вновь и вновь осуществляется то удвоение, посредством которого вещь являла себя в качестве чего-то духовного, становилась проявлением мана. Так образуется его аура. Будучи выразителем тотальности, искусство претендует на сан абсолюта. Потому-то и склоняется философия время от времени к тому, чтобы признать за ним приоритет над понятийным познанием. Согласно Шеллингу, искусство начинается там, где отказывает человеку его знание. Он считал его "образом науки, и туда, где уже находится искусство, науке предстоит еще дойти".²³ Разрыв между знаком и образом вполне в духе его учения "полностью снимается любым отдельно взятым изобразительным актом искусства".²⁴ Подобного рода доверие к искусству буржуазный мир испытывал чрезвычайно редко. В тех случаях, когда им ограничивалось знание, это, как правило, происходило для того, чтобы уступить место вере, а не искусству. С ее помощью воинствующая религиозность последующих поколений, Торквемада, Лютер, Магомет, намеревалась добиться примирения духа и бытия. Но вера есть понятие привативное: как вера она уничтожается, как только перестает непрерывно выставлять напоказ свою противоположность знанию или же свою гармонию с ним. Будучи ориентированной на ограничение знания, она сама оказывается ограниченной. Предпринятая протестантизмом попытка создания такого вероисповедания, в котором трансцендентный принцип истины, без которого оно не могло бы существовать, обретался бы, как и в глубокой древности, непосредственно в слове и которым тем самым последнему возвращалась бы его символическая власть, была оплачена? ценой послушания слову, и притом не только сакральному. В силу того, что вера неизбежно продолжает оставаться скованной со знанием, будь то в качестве его друга или врага, она увековечивает раскол между ними самой той борьбой, которую ведет она за его преодо-

²³ Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Fuenfter Hauptabschnitt. Werke. Erste Abteilung, Band II, S.623.

²⁴ Ibid., S.626.

ление: ее фанатизм является признаком ее неистинности, объективным признанием того, что тот, кто всего лишь верует, тем самым как раз уже более и не верует. Нечистая совесть - ее вторая природа. В необходимо присущем ей тайном сознании собственной неполноценности, имманентной ей противоречивости в деле превращения умиротворения в свою специальность следует искать причину того, что добросовестность верующих уже с давних пор была раздражающей и опасной. Не в качестве неких сумасбродств, а в качестве пресуществления самого принципа веры практиковались в свое время мерзости огня и меча. Контрреформации и Реформации. Вера постоянно выставляет себя явлением того же пошиба, что и всемирная история, которой она хотела бы управлять, в Новое время она даже становится излюбленным средством последней, ее специфической хитростью. Безудержным тут становится не только Просвещение девятнадцатого столетия, как то констатировалось уже Гегелем, но, и никто другой не был осведомлен об это лучше, чем он, движение самой мысли. Как в самых низменных, так и в самых высочайших прозрениях уже содержалась их дистанцированность от истины, превращающая ее апологетов в лжецов. Парадоксия веры вырождается, в конечном итоге, в мошенничество, в миф двадцатого столетия, а ее иррациональность - в рациональный инструмент в руках тех беззаветных просветителей, которые ведут общество к варварству.

Как только в историю привходит язык, его мэтры становятся жрецами и кудесниками. Оскорбляющий символы именем властей небесных передается в руки властей земных, быть полномочными представителями которых призваны соответствующие органы общества. То, что этому предшествовало, сокрыто во мраке. Судороги ужаса, в которых рождается мана, по меньшей мере везде, где находит это этнология, бывают санкционированы старейшинами племен. Неидентичная, растекающаяся мана насильственно материализуется человеком и делается консистентной. Волхвы проворно заселяют любое из мест ее эманациями и подчиняют многообразию сакральных ритуалов многообразию сакральных областей. Развивая мир духовный и его свойства, они развивают свое профессиональное знание и свою власть. Самое

существо сакрального переносится на волхва, с ним дело имеющего. На первоначальной номадической стадии члены племени еще принимают самостоятельное участие в акте воздействия на ход природы. Дичь выслеживается мужчинами, женщины заняты работой, не требующей строгого надзора. Сколь велико было предшествующее тому насильственное приучение к столь простому порядку, определить невозможно. Им мир уже поделен на сферу действия власти и на профанное. Им ход природы уже возведен, в качестве истечения мана, в норму, требующую безоговорочной покорности. Но в то время как дикарь-кочевник при всей своей покорности еще принимал также и непосредственное участие, сам переодеваясь в дичь с тем, чтобы иметь возможность незаметно подкрасться к ней, в колдовских ритуалах, таковую покорность ограничивавших, в более поздние периоды общение с духами и покорность были распределены между различными классами рода человеческого: власть - одним, послушание - другим. Повторяющиеся, вечно одинаковые естественные процессы вдалбливались в головы поработанных, как из чужих племен, так и из собственных клик, в качестве ритма труда тактом, задаваемым ударами дубин и розог, отзвук которых внятно различим в бое каждого варварского барабана, в монотонности всякого ритуала. Символы приобретают выразительность фетиша. Повторяемость природы, ими обозначаемая, в ходе дальнейшего развития неизменно обнаруживает себя в качестве репрезентируемой ими перманентности социального принуждения. Определенный до состояния устойчивого образа ужас становится знаком упрочившегося господства привилегированных. Но таковыми оказываются и общие понятия, даже в том случае, если все образное от них уже отчуждено. Дедуктивной формой науки все еще отображается иерархия и принуждение. Подобно тому, как первыми категориями репрезентировался организованный род и его власть над отдельными его представителями, логический порядок в целом, правила взаимозависимости, сцепления, объем и смычка понятий основываются на соответствующих отношениях социальной действительности, на разделении труда.²⁵ Прав-

²⁵ Ср. E. Durkheim. De quelques formes primitives de classification. L'Année Sociologique. Band IV, 1903, S. 66ff.

да, этот социальный характер форм мышления является, как тому учит Дюркгейм, не проявлением общественной солидарности, а свидетельством нерасторжимого единства общества и господства. Господство наделяет общественное целое, в котором оно столь прочно обосновывается, повышенной консистентностью и мощью. Разделение труда, в которое социально развивается господство, служит самосохранению порабощенного целого. Но тем самым с необходимостью целое как целое, деятельность имманентного ему разума, становится исполнителем воли партикулярного. Господство противостоит единичному в качестве всеобщего, как воплощенный в действительности разум. Мощь всех членов общества, у которых как таковых нет иного выхода, опять и опять суммируется, в силу навязываемого им разделения труда, в реализацию как раз того целого, чья рациональность тем самым, в свою очередь, умножается. То, что происходит со всеми благодаря немногим, неизменно осуществляется в виде торжества многих над единичным: гнет общества всегда несет на себе одновременно и черты гнета коллектива. Именно это единство коллективности и господства, а не непосредственная социальная всеобщность, солидарность, находит свое выражение в формах мышления. Философскими понятиями, при помощи которых изображался мир Платоном и Аристотелем, благодаря выдвигаемой ими претензии на всеобщую значимость обосновываемые ими властные отношения были возведены в ранг истинной действительности. Они ведут свое происхождение, как это утверждает у Вико,²⁶ от рыночной площади Афин; с равной чистотой отражают они и законы физики, и равенство свободнорожденных граждан, и неполноценность женщин, детей, рабов. Сам язык наделяет тут высказываемое, отношения господства, той всеобщностью, которую он присваивает себе в качестве средства общения в гражданском обществе. Метафизический нажим, применение санкций посредством идей и норм, был не чем иным, как гипостазированием тех жесткости и отстраненности, которые надлежало обретать понятиям повсеместно там, где сообще-

²⁶ G. Vico. Die Neue Wissenschaft ueber die gemeinschaftliche Natur der Voelker. Uebers. von Auerbach. Muenchen, 1924, S.397.

ство властителей смыкалось языком воедино для выполнения своей командной функции. В качестве подобного рода удостоверения общественной власти языка, по мере того, как эта власть усиливается - идеи становятся все менее и менее необходимыми, а языком науки им и вовсе приутоапливается конец. Не к оправданию сознанием апеллирует та суггестия, которая все еще хранит в себе нечто от ужаса перед фетишем. Единство коллективности и господства, напротив, проявляется в той всеобщности, которой дурное содержание с неизбежностью навязывается языку, будь то языку метафизическому или научному. Метафизическая апология разоблачает несправедливость существующего, по меньшей мере, неконгруэнтностью понятия и действительности. В беспристрастности языка науки бессильное окончательно утрачивает способность самовыражения и лишь просто существующее находит свой нейтральный знак. Такая нейтральность метафизична более, чем сама метафизика. Просвещением, в конце концов, изничтожаются не только символы, но и их преемники, всеобщие понятия, в результате чего от метафизики не остается ничего, кроме абстрактного страха перед коллективом, из которого она возникла. Просвещение является для понятий тем же, чем индустриальный трест является для рантье: никому не дано чувствовать себя в безопасности. Даже если позитивизмом логическим вероятности и был предоставлен шанс, этнологическим позитивизмом она была отождествлена с сущностью. "Наши расплывчатые представления о шансе и квинтэссенции являются бледными пережитками этого гораздо более богатого понятия"²⁷, а именно - понятия магической субстанции.

Будучи номиналистическим. Просвещение останавливается перед именем, перед не имеющим объема точечным понятием, именем собственным. Действительно ли, как это утверждалось некоторыми²⁸, имена собственные первоначально являлись одновременно и родовыми именами, с достаточной достоверностью уже не удастся установить, оче-

²⁷ Hubert et Mauss. Ibid., S.118.

²⁸ Cp. Toennies. Philosophische Terminologie. In: Psychologisch-Soziologische Ansicht. Leipzig, 1908, S.31.

видно лишь, что первые пока еще не разделили участь последних. Отрицаемая Юмом и Махом субстанция Я не является той же самой, что и субстанция имени. А в иудейской религии, в которой идея патриархата усиливается вплоть до изничтожения мифа, благодаря запрету на произнесение имени Бога все еще признается связь между именем и бытием. Расколдованный мир иудаизма примиряется с магией путем негации ее в идее Бога. Иудейская религия нетерпима к слову, способному даровать утешение отчаянию всего смертного. Надежда связывается ею исключительно лишь с запретом взывать к идолу как к богу, к конечному как к бесконечному, ко лжи как к истине. Ручательством спасения становится отречение ото всех верований, ее подменяющих, познанием - доносительство на ослепление. Правда, отрицание тут не является абстрактным. Не признающее никаких исключений опровержение всего позитивного, стереотипная формула аннулирования, применяемая буддизмом, ставит себя выше запрета называть абсолют по имени, как и его противоположность, пантеизм, или его карикатура - буржуазный скепсис. Провозглашение мира ничем или всем есть мифология и гарантированный путь к спасению сублимированных магических практик. Самодовольство обо всем заранее осведомленного всезнайства и преобразование негации в путь к спасению являются ложными формами сопротивления обману. Правота образа оказывается спасенной в ходе неукоснительного соблюдения запрета на него. Подобного рода строгое соблюдение запрета, "определяющая негация"²⁹, никоим образом не является, в силу суверенности абстрактного понятия, невосприимчивым к соблазнам восприятия, как это имеет место в случае скепсиса, для которого как ложное, так и истинное равным образом ничтожны. Определяющей негацией несовершенные представления об абсолютном, кумиры, отвергаются не так, как это делается ригоризмом, т.е. не путем сопоставления их с идеями, соответствовать которым они не в состоянии. Дialeктикой, напротив, всякий образ выявляется в качестве письма. Она учит вычитывать в его чертах признание в собственной ложности, лишшающее его власти и присваивающее ее только истине. Тем самым язык становится чем-то большим, чем просто

²⁹ Hegel. Ibid.,

знаковой системой. При помощи понятия определяющей негации Гегелю удалось выделить некий элемент, отличающий Просвещение от того позитивистского распада, к которому он его причисляет. Правда, благодаря тому, что им осознанный результат процесса негации в целом - тотальность в системе и истории - в конце концов все же превращается в абсолютизм, он преступает запрет и сам впадает в мифологию.

То же самое происходит не только с его философией, этим апофеозом прогрессивно развивающегося мышления, но и с самим Просвещением, с той его трезвостью, которой, по его мнению, отличается оно и от Гегеля, и от метафизики вообще. Ибо Просвещение тоталитарно как ни одна из систем. Неистина его коренится не в том, в чем издавна упрекали его романтически настроенные противники, не в аналитическом методе, не в редукции к элементам, не в разрушении посредством рефлексии, но в том, что для него всякий процесс является с самого начала уже предрешенным. Когда некой математической процедурой неизвестное превращается в неизвестное того или иного уравнения, на нем тем самым ставится клеймо давно и хорошо известного, еще до того, как устанавливается какое бы то ни было его значение. Природа, как до, так и после квантовой теории, является тем, чему надлежит быть постигнутым математическим образом; что тому противится, все неразложимое и иррациональное подвергается травле со стороны математических теорем. Путем предупреждающей идентификации до конца промысленного математизированного мира с истиной Просвещение надеется обезопасить себя от рецидива мифа. Им учреждается единство мышления и математики. Тем самым последняя, так сказать, спускается с цепи, превращается в абсолютную инстанцию. "Здесь бесконечный мир составлен из мира идеальных объектов как таковых, а не из обособленных, несовершенных и случайно данных нашему познанию, любой объект постигается в его бытии самом по себе рациональным, системным, единым методом в бесконечном процессе познания. ... У Галилея математизация природы идеализирует ее саму с помощью математики нового времени, а говоря языком современной математики, природа становится математическим многообразием."³⁰ Мышление

³⁰ Edmund Husserl. "Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die

опредмечивается в самодеятельно протекающий, автоматический процесс, подражающий машине, им самим порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге смогла его заменить. Просвещением³¹ классическое требование мыслить само мышление - получившее радикальное развитие в философии Фихте - было отброшено прочь потому, что оно пренебрегло заповедью следовать велениям практики, соблюдать которую со своей стороны столь стремился Фихте. Математический метод становится как бы ритуалом мысли. Несмотря на свою аксиоматическую самоограниченность, он учреждает себя в качестве необходимого и объективного: им мышление превращается в вещь, инструмент, по его же собственной терминологии. Но благодаря такого рода мимезису, в ходе которого мышление приравнивается к миру, фактическое до такой степени становится в своем роде единственным, что даже отречение от бога подпадает под вердикт, выносимый по поводу метафизики как таковой. Позитивизмом, выступающим в роли судебной инстанции просвещенческого разума, на всякого рода распутничанье в интеллигибельных мирах теперь не просто налагается запрет, оно расценивается уже в качестве бессмысленной болтовни. Ему не нужно - к его счастью - быть эстетическим, потому что овеществленное мышление не способно даже на постановку вопроса. Официальному культу, как не имеющей познавательной функции особой сфере общественной деятельности, позитивистская цензура попустительствует столь же охотно, как и искусству; отречению, самому выступающему с претензией на то, чтобы быть познанием - никогда. Уклонение мышления от своего дела, отделки фактически уже наличного, выход за пределы круга привычного существования, сциентистским образом мыслей считается безумием и самоуничтожением точно так же, как примитивным кол-

transzendente Phänomenologie". In: *Philosophia*. Belgrad, 1936, S.95 ff. (Э.Г.усерль. "Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию (главы из книги)". Исправленный (июнь 1997) перевод А.П.Огурцова. - "Вопросы философии", 1992, №7, с. 147-148.

³¹ Ср. Schopenhauer. *Parerga und Paralipomena*. Band II, # 356. *Werke*. Ed. Deussen, Band V, S.671.

дуном - выход за пределы магического круга, очерченного им для сотворения заклинаний, и в обоих случаях нарушение табу должно действительно оборачиваться несчастьем для злоумышленника. Поработанием природы очерчивается тот круг, в котором замыкается мышление критикой чистого разума. Кант соединил учение о неустанно тяжком, в бесконечность устремленном прогрессе с настойчивым утверждением его недостаточности и извечной ограниченности. Указание, данное им, стало изречением оракула. Нет такого бытия в мире, которое было бы непроницаемым для науки, но то, что является проницаемым для науки, не есть бытие. Согласно Канту, философское суждение всегда нацелено на нечто новое, и тем не менее, оно не познает ничего нового, ибо всего лишь неизменно повторяет то, что уже было заложено разумом в предмет. Но этому надежно укrywшемуся в разделах науки от грез духовидца мышлению предьявляется счет: мировое господство над природой оборачивается против самого мыслящего субъекта, от него не остается ничего, кроме как раз того вечно одного и того же "Я мыслю", которому надлежит сопровождать все мои представления. И субъект, и объект становятся ничтожными. Абстрактной самости, правооснованию всякого протоколирования и систематизирования, не противостоит ничего, кроме абстрактного материала, не имеющего никаких иных свойств, кроме свойства быть субстратом подобного рода обладания. Уравнение духа и мира в конце концов оказывается делимым без остатка, но только таким образом, что обе его стороны взаимно сокращают друг друга. Редукция мышления к математическому аппарату включает в себя применение принудительных санкций по отношению к миру в качестве его собственного мерила. То, что кажется триумфом субъективной рациональности, подчинение всего сущего логическому формализму, покупается ценой покорного подчинения разума непосредственно данному. Стремление постичь существующее как таковое, маркировать в данностях опыта не просто их абстрактные пространственно-временные соотношения, при помощи которых их затем можно было бы надежно упаковать, но мыслить их как нечто поверхностное, как подлежащие опосредованию моменты понятия, своего наполнения достигающие лишь в ходе развития их общественного,

исторического, человеческого смысла - все, на что притязает познание, отбрасывается прочь. Последнее притязает не на то, чтобы быть всего лишь восприятием, классифицированием и исчислением, но на то, чтобы быть именно определяющей негацией в каждом отдельном случае непосредственно данного. Но математическим формализмом, чьим медиумом является число, самый абстрактный образ непосредственно данного, мысль вместо того прочно удерживается в границах чистой непосредственности. Фактическое доказывает свою правоту, познание ограничивается неизменным повторением себя же самого, мысль превращается в чистую тавтологию. Чем в большей степени подчиняет себе машинерия мышления сущее, тем большей становится ее слепота при его воспроизведении. Тем самым Просвещение отбрасывается вспять, в мифологию, от которой ему так никогда и не удалось ускользнуть. Ибо мифология в своих фигурах отображает эссенциальность — как истину и отказывает в надежде. Выразительностью мифологического образа, равно как и ясностью научной формулы удостоверяется извечность фактически наличного, а просто существующее выражается в качестве смысла, блокируемого им. Мир как гигантское аналитическое суждение, единственное, что еще остается ото всех грез науки, есть явление того же пошиба, что и космический миф, связывавший смену весны и осени с похищением Персефоны. Неповторимость мифологического события, долженствующая легитимировать фактически происходящие события, иллюзорна. Первоначально похищение богини было непосредственно одним с умиранием природы. Оно повторялось с каждой осенью, и само повторение было не последовательностью расставания, но всякий раз тем же самым. С кристаллизацией сознания времени это событие оказалось фиксированным в качестве неповторимого в прошлом и ужас перед смертью в каждом новом годовом цикле пытались ритуально умерить путем рекурсии к давно минувшему. Но это расставание бессильно. В силу полагания данного события как безвозвратно прошедшего цикл приобретает характер неотвратимого, и ужас давно прошедших времен изливается на событийность в целом в качестве его простого повторения. Процедура подведе-

ния фактического под общее, будь то под былинную праисторию, будь то под математический формализм, символическое соотнесение события современности с событием мифическим, в ритуале, или с абстрактной категорией, в науке, являет новое в качестве уже predeterminedного, таким образом на самом деле оказывающегося хорошо известным старым. Без надежды остается не бытие, но знание, в образном или математическом символе завладевающее бытием как схемой и увековечивающее сие.

В мире просвещенном мифология вступает в сферу профанного. Основательно очищенное от демонов и их понятийных отпрысков наличное бытие приобретает характер ниспосланного свыше, миром первобытным приписывавшийся силам демоническим. Титулованная в качестве неумолимого факта социальная несправедливость, от которой ведут свое происхождение последние, сегодня оказывается столь же надежно канонизированной, как нечто вечно выскальзывающее из захвата, сколь неприкосновенен был шаман под защитой своих богов. Господство оплачивается не просто отчуждением человека от порабощаемых им объектов: с овеществлением духа заколдованными становятся отношения самих людей, и даже отношение единичного к себе самому. Последний сморщивается до размеров узлового пункта конвенциональных реакций и способов функционирования, объективно от него ожидаемых. Анимизм одушевил вещь, индустриализм овеществляет души. Экономическим аппаратом уже автоматически, еще до тотального планирования, товары наделяются ценностями, распоряжающимися поведением людей. С тех пор как с концом свободного обмена товары утрачивают все свои экономические качества за исключением их фетишистского характера, последний, подобно артриту, все более и более распространяется на все аспекты жизни общества. Бессчетными агентурными сетями массового производства и его культуры нормированные способы поведения единичного отчеканиваются в качестве единственно естественных, пристойных, разумных. Последним он сам определяется всего только как вещь, как статистический элемент, как success or failure. Масштабом для него является самосохранение, удавшееся или неудавшееся уподобление объективности его функции и тем образцам,

которые задаются ею. Все иное, идея и криминальность, на собственном опыте узнает силу коллектива, осуществляющего надзор начиная со школьной семьи и кончая профессиональным союзом. И тем не менее сам грозный коллектив представляет собой всего-навсего обманчивую поверхность, под которой таятся силы, манипулирующие им как инстанцией насилия. Его брутальностью, удерживающей в узде единичного, столь же мало репрезентируются истинные свойства человека, сколь стоимостью – истинные свойства предметов потребления. Демонически искаженный облик, который вещи и люди обретают в свете свободного от предрассудков знания, отсылает к господству, к тому принципу, который некогда уже способствовал спецификации мана на духи и божества и завораживал взор в наваждении, насылаемом шаманами и колдунами. Фатальность, посредством которой в глубокой древности санкционировалась непостижимая смерть, переносится на постижимое без пробелов наличное бытие. Полуденный панический ужас, с которым природа была внезапно осознана людьми как всеединство, находит свое соответствие в той панике, которая сегодня готова разразиться в любой момент: люди ожидают, что мир, из которого нет выхода, будет взорван тем всеединством, которое суть они же сами и перед лицом которого они бессильны.

Испытываемый Просвещением мифический ужас относится к мифу. Им он усматривается не просто в непроясненных словах и понятиях, как то мнит семантическая критика языка, но во всяком человеческом проявлении, не занимающем никакого места в служебном контексте пресловутого самосохранения. Тезис Спинозы “*Conatus sese conservandi primum et inicum virtutis est fundamentum*”³² содержит в себе воистину максимум всей западной цивилизации, в которой приходят в состояние покоя религиозные и философские различия, присущие буржуазии. Самость, которая после методического искоренения всех следов естественности в качестве мифологических не смеет более быть ни телом, ни кровью, ни душой, ни даже природным Я, образует собой, будучи

³² *Ethica. Pars IV, Propos XXII, Coroll.*

сублимированной в трансцендентальный или логический субъект, средоточие разума, законодательную инстанцию действия. Тот, кто непосредственно, без рационального соотнесения с задачей самосохранения, предается жизни, отбрасывается, согласно вердикту как Просвещения, так и протестантизма, вспять, в доисторическое. Влечение как таковое, утверждают они, столь же мифологично, сколь и суеверие; служить богу, не постулирующему самости, такое же безумие, как и пьянство. Обоим прогресс приурочивает одинаковую участь: обоготворения и погруженности в непосредственно природное бытие; самозабвение мысли, равно как и самозабвение похоти предается им проклятью. Опосредованным принципом самости является общественный труд любого единичного в буржуазном обществе; одним за него воздается увеличением капитала, другим - приростом сил для прибавочного труда. Но чем далее развивается процесс самосохранения благодаря буржуазному разделению труда, тем в большей степени форсируется им самоотчуждение индивидов, вынужденных и телесно и духовно формировать себя в соответствии с мерками технической аппаратуры. Это обстоятельство в свою очередь учитывается просвещенным мышлением: в конечном итоге, по всей видимости, трансцендентальный субъект познания как последнее напоминание о субъективности еще и сам упраздняется и заменяется несравненно более бесперебойной работой функционирующих автоматически системных механизмов. Субъективность улетучивается в логику будто бы произвольных правил игры, чтобы тем беспрепятственнее повелевать. Позитивизмом, уже, наконец, не останавливающимся перед этой в буквальном смысле слова химерой, самим мышлением, устраняется даже последняя инстанция разрыва между индивидуальным действием и социальной нормой. Технический процесс, в который опредмечивает себя субъект после искоренения себя из сознания, свободен от многозначности мифологического мышления, равно как и ото всякого смысла вообще, ибо разум сам становится тут всего только подсобным средством всеобъемлющего экономического аппарата. Он используется как всеобщий инструмент, пригодный для изготовления всех иных инструментов, жестко целенаправленный, столь же роковой, сколь и педантично расчетливая работа в материальном про-

изводстве, чьи последствия для человека не поддаются никакому расчету. Его давнишняя честолюбивая мечта быть чистым органом целей наконец-то сбылась. Исключительность логических законов порождается именно этой однозначностью функции, в конечном счете - принудительным характером самосохранения. Последнее опять и опять превращается в выбор между выживанием и гибелью, отсвет которого все еще виден в принципе, гласящем, что из двух противоречащих друг другу положений только одно может быть истинным и только одно - сложным. Формализм этого принципа и всей логики, в качестве каковой он себя учреждает, порождается непрозрачностью и запутанностью интересов в том обществе, в котором сохранение форм и сохранение единичного лишь случайным образом совпадают друг с другом. Изгнанием мышления из логики во всеуслышанье ратифицируется овеществление человека на фабрике и в бюро. Так распространяется табу на табуирующую власть. Просвещение - на дух, им же самим являющийся. Но тем самым природа, в качестве истинного самосохранения, спускается с цепи как раз тем процессом, которым было обещано ее окончательно изгнать - и в индивидууме ничуть не менее, чем в коллективной части кризиса или войны. Если теория в качестве единственной нормы остается идеалом частной науки, практика должна стать жертвой безудержного хода мировой истории. Наконец-то постигнутая цивилизацией самость разрешается в стихию той бесчеловечности, избежать которой цивилизация стремилась с самого своего начала. Сбывается самый древний страх, страх утраты собственного имени. Чисто природное существование, анималистское и вегетативное, представляет для цивилизации абсолютную угрозу. Миметический, мифологический, метафизический способы поведения считаются ею поочередно преодоленными эпохами, карой за возврат к которым является ужас перед тем, что самость вновь будет превращена в ту чистую природу, отчуждение от которой было достигнуто ею ценой неслыханных усилий и которая поэтому внушает ей неслыханное отвращение. Живое воспоминание о старине, о номадических, и в тем большей степени о собственно препатриархальных стадиях, во все времена выжигалось из сознания людей самыми ужасающими наказаниями. Просвещенный дух заменил

пытку огнем и колесование стигматами, которыми он клеймит всякую иррациональность, ибо она ведет к гибели. Гедонизму была свойственна умеренность, крайности были ему не менее ненавистны, чем Аристотелю. Буржуазным идеалом естественности имеется в виду не аморфная природа, но добродетель середины. Промискуитет и аскеза, излишества и голод вопреки их противоположности друг другу являются непосредственно идентичными как силы распада. Посредством подчинения всей жизни требованиям ее сохранения повелевающее меньшинство гарантирует, наряду с собственной безопасностью, также и дальнейшее существование целого. Властвующий дух, начиная с Гомера и кончая модерном, стремится проложить свой путь между Сциллой регрессии к простому воспроизводству и Харибдой необузданной исполненности всего и вся; он с давних пор привык относиться с подозрением ко всякой иной путеводной звезде, кроме звезды меньшего зла. Немецкие неоязычники и адвокаты войны снова хотят выпустить на свободу желание. Но так как под стрессом труда в течение тысячелетий оно научилось себя ненавидеть, в условиях тоталитарной эмансипации оно остается вульгарным и изуродованным презрением к самому себе. Целиком и полностью оно остается во власти самосохранения, в духе которого оно было ранее того воспитано получившим тем временем отставку разумом. В поворотных пунктах западной цивилизации, начиная с перехода к религии Олимпа и кончая Ренессансом, Реформацией и буржуазным атеизмом, когда все новыми и новыми народами и слоями миф решительно вытеснялся, страх перед непостижимой, грозной природой, последствие ее же собственного овеществления и опредмечивания, низводился до анимистического суеверия, а порабощение природы внутренней и внешней превращалось в абсолютную цель жизни. И коль скоро процесс самосохранения, в конечном итоге, становится автоматическим, разум увольняется в отставку теми, кто в качестве кормчих производства, некогда вступив в права владения его наследием, теперь страшатся его в облике сих прав наследования лишенных. Сущностью Просвещения является альтернатива, неизбежность которой совпадает с неизбежностью господства. Люди всегда вынуждены были выбирать между подчинением природе или подчине-

нием природы самости. С развитием городского товарного хозяйства сумрачный горизонт мифа озаряется солнцем калькулирующего разума, под чьими леденящими лучами взрываются всходы нового варварства. Под давлением господства человеческий труд с незапамятных времен уводил прочь от мифа, в зоне влияния которого он неизменно вновь и вновь оказывается в условиях господства.

В гомеровском повествовании сохранено переплетение мифа, господства и труда. Двенадцатая песнь “Одиссеи” рассказывает о проплывании мимо сирен. Их соблазн - это соблазн потерять себя, забыться в прошлом. Но герой, которому он адресован, стал зрелым в невзгодах. В многообразии смертельных опасностей, которые ему удалось преодолеть, прошло закалку единство его собственной жизни, идентичность его личности. Точно так же, как вода, земля и воздух, различны для него регионы времени. Для него волны того, что было, отступают от скалы современности, а будущее туманом маячит на горизонте. То, что Одиссеей оставляет позади себя, вступает в мир теней: самость еще столь близка архаическому мифу, из чьего лона она вырвала себя, что для нее ее собственное, пережитое прошлое становится мифической архаикой. Жестко упорядочивая время, она пытается противостоять мифу. Трехчастная схема должна освободить мгновение настоящего от власти прошлого тем, что изгоняет последнее за абсолютную границу безвозвратности и предоставляет его, в качестве практично используемого знания, в распоряжение “теперь”. Потребность спасти прошедшее в качестве живого вместо того, чтобы использовать его в качестве материала прогресса, удовлетворяется исключительно лишь в искусстве, которому принадлежит сама история в качестве изображения минувшей жизни. Пока искусство отказывается считаться познанием и, тем самым, подобно похоти, отгораживает себя от практики, оно будет терпимо общественной практикой. Но песнь сирен еще не лишена, как искусство, своей силы и могущества. Им ведомо “все, что на лоне земли многодарной творится”³³, тем более то, что претерпел сам Одиссей, “что случилось в троянской земле и какая / Участь по

³³ Одиссея. Пер. В. Жуковского. XII, 191.

воле бессмертных постигла троян и ахейцев”³⁴. Непосредственно заклиная только что прошедшее, они ставят под угрозу, обещая неотразимое сладострастие, с которым будет услышана их песнь, тот патриархальный порядок, который возвращает жизнь каждому только в обмен на его полную меру во времени. Тот, кто поддается на их обман, гибнет там, где добивается существования у природы единственно лишь неустанное присутствие духа. Если сиренам ведомо все, что было, то цена, которую они требуют за это - будущее, и обещание счастливого возвращения - всего лишь обман, которым прошлое ловит поддавшихся страсти. Одиссей предупрежден Кирке, божеством обратного превращения в животное, которой он сумел противостоять и которая за это делает его способным сопротивляться и иным силам распада. Но чары сирен могущественнее и превосходят его силы. Никому из услышавших их песнь не удастся устоять. Что-либо ужасающее человечество было вынуждено учинять над самим собой до тех пор, пока не была создана самость, идентичный, целенаправленный, мужской характер человека, и нечто от этого все еще повторяется детством каждого. Усилие удерживать прочную спаянность Я присуще Я на всех этапах, и соблазн его потерять всегда сочетался со слепой решимостью к его сохранению. Наркотическое упоение, которое заставляет расплачиваться за эйфорию суспендирования самости смерти подобным сном, является одним из древнейших общественных мероприятий, посредничающих между самосохранением и самоуничтожением, попыткой самости пережить самое себя. Страх утратить самость и вместе с самостью упразднить границу между собой и иной жизнью, боязнь смерти и разрушения соединены братскими узами с тем обещанием счастья, под угрозой которого цивилизация находилась всегда. Ее путь был путем послушания и труд, над которым исполненность беспрестанно сияла как всего лишь видимость, иллюзия, как бессильная красота. Мысли Одиссея, одинаково чуждой и собственной смерти и собственному счастью, ведомо это. Он знает только две возможности избежать опасности. Одну он предписывает своим спутникам. Он затыкает им уши воском, и они

³⁴ Там же, XII, 189-90

должны грести изо всех сил. Кто хочет выстоять, не смеет внимать соблазну безвозвратно минувшего, а на это он способен только тогда, когда он не способен его слышать. Об этом общество заботилось всегда. Бодро и собранно надлежит трудящимся смотреть вперед и забыть обо всем постороннем. Любое побуждение, заставляющее их отвлечься, им надлежит ожесточенно сублимировать в дополнительное усилие. Так они станут практичными. Иную возможность избирает для самого себя Одиссей, повелитель, заставляющий трудиться на себя других. Он слушает и слышит, но бессильно привязанный к мачте, и чем большим становится соблазн, тем прочнее заставляет он приковывать себя - так впоследствии бюргеры тем упорнее даже самим себе отказывали в счастье, чем ближе оно к ним придвигалось с ростом их собственной власти и могущества. Услышанное им остается для чего без последствий, он в состоянии всего лишь только кивать головой, требуя, чтобы его отвязали, но слишком поздно, его спутники, которые сами не слышат, знают только об опасности пения и ничего - о его красоте, и оставляют его привязанным к мачте, чтобы спасти и его и себя. Они воспроизводят жизнь угнетателя заодно со своей собственной, и последний уже более не в состоянии отречься от своей социальной роли. Узы, которыми он необратимо прикован к практике, устраняют в то же время из практики сирен: их чары нейтрализуются, превращаясь в предмет созерцания, в искусство. Прикованный присутствует на концерте, он так же неподвижен, вслушиваясь в исполняемое, как позднее - публика во время концерта, и его вдохновенный призыв к освобождению уже стихает подобно аплодисментам. Так расходятся врозь, в ходе расставания с архаической древностью, наслаждение искусством и физический труд. Эпос уже содержит настоящую теорию. Ценности культуры состоят в отношении строгого соответствия с командно управляемым трудом, и совместно с последним имеют своим основанием принудительную неизбежность общественного господства над природой.

Меры, принятые на корабле Одиссея при виде сирен, являют собой пророческую аллегорию диалектики Просвещения. В той же степени, в какой заместительство является мерилом господства и того предельного могущества, которое позволяет замещать себя при отправлении

большинства функций, заместительство представляет собою двигатель и прогресса и регресса одновременно. При данных общественных отношениях быть исключенным из процесса труда – не только для безработных, но даже и на противоположном социальном полюсе – означает подвергнуться увечью. Верхи постигают наличное бытие, с которым им более не требуется иметь дело, всего только как субстрат и полностью заостеневают в командную самость. Прimitивом природная вещь постигалась всего только как неуловимый предмет вождления, “но господин, который поставил между вещью и собой раба, встречается благодаря этому только с несамостоятельностью вещи и потребляет ее полностью; сторону же самостоятельности (вещи) он предоставляет рабу, который ее обрабатывает.”³⁵ Одиссея замещают в труде. Подобно тому, как он не способен поддаться соблазну поступиться собой, своей самостью, для него как собственника под конец излишним становится также и участие в труде, в конце концов даже и в руководстве им, в то время как его спутники при всей их близости к вещам не в состоянии насладиться плодами труда своего, потому что он выполняется ими в принудительном порядке, на грани отчаяния, с насильственно заткнутыми органами чувств. Раб остается порабощенным и душой и телом, господин регрессирует. Еще никакому господству не удавалось снизить цену этой расплаты, и кругоподобие истории в ее прогрессивном развитии во многом объясняется такого рода слабостью, эквивалентом силы. Человечество, чье мастерство и эрудиция все более и более дифференцируются с развитием разделения труда, одновременно оттесняется на антропологически более примитивную ступень, ибо продолжительностью господства обуславливается, при техническом облегчении существования фиксация инстинктов посредством усиленного их подавления. Фантазия чахнет. Беда не в том, что индивиды оказываются не в состоянии соответствовать уровню развития общества или его материального производства и становятся его аутсайдерами. Там, где развитие машины уже обернулось развитием машинерии господства,

³⁵ Hegel. *Phaenomenologie des Geistes*. Ibid., S. 146. (Гегель. “Феноменология духа”. Перевод Г.Шпета. Сочинения, т. IV, Соцэгиз, М., 1959, с. 103.)

так что и техническая и социальная тенденции, с давних пор переплетавшиеся друг с другом, теперь окончательно конвергируют в тотальном охвате человека, аутсайдеры не просто репрезентуют неистину. Напротив того, приспособление к власти прогресса уже влечет за собой прогресс власти, всякий раз заново порождая те инволюционные процессы, которыми в обратном уличается не состоявшийся, но как раз состоявшийся прогресс. Проклятием безудержного прогресса является безудержная регрессия.

Последняя не ограничивается опытом чувственно воспринимаемого мира, связанным с телесной близостью, но поражает равным образом и самовластный интеллект, который отделяется от чувственного опыта, чтобы поработить последний. Унификация интеллектуальных функций, в силу которой осуществляется господство над чувствами, резиньяция мышления к установлению согласия означает обеднение мышления, равно как и опыта; разделение обеих сфер наносит ущерб обеим. В ограничивании мышления организацией и администрированием, в котором упражняются начальники, начиная с хитроумного Одиссея и кончая наивным генеральным директором, соположена та ущербность, которой бываю поражены великие, как только речь уже не идет о манипулировании малыми мира сего. Дух действительно становится аппаратом господства и самообуздания, в чем ему с самых давних пор отказывала буржуазная философия. Глухие уши, унаследованные покладистыми пролетариями со времен мифа, не имеют никакого преимущества перед неподвижностью повелителя. Незрелостью тех, кем правят, живет перзрелость общества. Чем сложнее и изощреннее социальная, экономическая и хозяйственная аппаратура, на чье обслуживание системой производства уже с давних пор настраивается человеческое тело, тем беднее переживания, к которым способно последнее. Элиминирование качеств, перерасчет их в функции привносится из науки, посредством рационализированных форм труда, в мир опыта народов и вновь уподобливает последний, в тенденции, миру опыта земноводных. Сегодня регрессия масс - это неспособность собственными ушами слышать неслышимое, собственными руками дотрагиваться до неосязаемого, это - новый вид ослепления, который приходит на

смену любой из побежденных форм мифического ослепления. При посредстве тотального, объемлющего все без исключения отношения и побуждения общества, люди опять превращаются именно в то, против чего был направлен закон развития общества, принцип самости: во всего лишь видовые существа, друг другу тождественные благодаря изолированию в принудительно управляемой коллективности. Гребцы, лишенные возможности говорить друг с другом, все до единого подчинены одному и тому же ритму - подобно современным рабочим на фабрике, в кино и в коллективе. К конформизму вынуждают конкретные условия труда в обществе, а не сознательные воздействия, способные лишь добавочно оглуплять угнетенных и отвращать их от истины. Бессилие трудящихся является не уловкой власть имущих, а логическим следствием того индустриального общества, в которое, в конце концов, в ходе усилий избавиться от его владычества, превратился античный фатум.

Но эта логическая необходимость не является окончательной. Она остается связанной с господством в качестве его отражения и инструмента одновременно. Оттого-то и является ее истинность ничуть не менее сомнительной, чем ее очевидность - неотвратимой. Конечно, конкретно обозначенных сомнений у мышления всегда было предостаточно. Но как раз раб является тем, чему не может по своему произволу положить конец господин. В силу того, что господство, с тех пор как люди стали оседлыми и затем в условиях товарного хозяйства, овеществляет себя в виде закона и организации, оно вынуждено себя ограничивать. Инструмент обретает самостоятельность: опосредствующей инстанцией духа независимо от воли правителей смягчается непосредственность экономической несправедливости. Инструменты господства, которым надлежит овладеть всеми без исключения, язык, оружие, наконец машины, в свою очередь должны позволить всем без исключения овладеть собой. Так в условиях господства пролагает себе путь момент рациональности, от него в то же время отличный. Предметностью средства, делающей его универсально доступным, его "объективностью" для всех без исключения уже имплицитно критикуется господства, в качестве средства которого взращивалось мышление. На пути

от мифологии к логистике мышлением был утрачен элемент рефлексии над самим собой, и- сегодня машинерия изуевичивает людей, даже когда вскармливает их. Но в облике машины отчужденное радио движется к такому обществу, которое способно примирить мышление в его окостенелой форме в качестве равным образом как материальной, так и интеллектуальной аппаратуры с освобожденной живой мыслью и соотнести его с самим обществом как с его реальным субъектом. С самых давних пор партикулярное происхождение мышления и его универсальная перспектива были неотделимы друг от друга. Сегодня, с превращением мира в индустрию, перспектива всеобщности, становления мышления действительностью общества является до такой степени широко открытой, что из-за нее власть имущие как от всего только лишь идеологии отрекаются уже и от самого мышления. Предательским проявлением нечистой совести тех клик, которые, в конечном итоге, оказываются воплощением экономической необходимости, является то обстоятельство, что в подобного рода откровениях, начиная с интуиции фюрера и кончая динамическим мировоззрением, решительно в противовес всей прежней буржуазной апологетике собственные чудовищные злодеяния более не признаются необходимыми следствиями контекстов законности. Мифологические враки о миссии и судьбе, используемые ими при этом, не являются всецело ложью: уже более не объективные законы рынка являются тем, чем руководствуются в своих действиях предприниматели и что подталкивает к катастрофе. Скорее напротив, сознательными решениями генеральных директоров в качестве той равнодействующей, которая по принудительности ни в чем не уступает самым слепым механизмам ценообразования, выносятся окончательный приговор прежнему закону стоимости и тем самым - участи капитализма. Сами господствующие не верят ни в какую объективную необходимость, даже если ими время от времени так именуется то, что ими измышляется. Они разыгрывают из себя инженеров всемирной истории. Только поработенными то развитие, которое с каждым декретированным повышением жизненного уровня делает их на одну ступень бессильнее, воспринимается в качестве неприкосновенно необходимого. После того как жизненный достаток тех, кто вообще еще

может быть использован для обслуживания машин, обеспечивается минимальной частью рабочего времени, находящегося в распоряжении хозяев общества, наступает черед муштры избыточного остатка, чудовищной массы населения как дополнительной гвардии системы, предназначенной служить материалом для великих планов последней и сегодня и завтра. Их подкармливают как армию безработных. Низведение их до степени всего только объектов администрирования, которым заранее формируется любой из подразделов современной жизни вплоть до языка и восприятия, морочит им голову той объективной необходимостью, против которой, верится им, они ничего не могут поделать. Нищета как противоположность силы и бессилия в неизмеримой степени возрастает совместно с ростом мощностей, позволяющих надолго, если не навсегда избавиться ото всякой нищеты. Непроницаем для всякого единичного дремучий лес клик и институций, которыми, начиная с верховных командных высот экономики и кончая последним профессиональным рэкетом, обеспечивается безграничная поддержка существующего положения вещей. Для профсоюзного бонзы, не говоря уже о менеджере, пролетарий, доведись ему попасться им на глаза, представляет собой не более чем сверхкомплектный экземпляр, в то время как при мысли о возможности ликвидации собственного поста бонзу охватывает дрожь.

Абсурдность состояния, при котором насилие системы над людьми возрастает с каждым шагом, освобождающим их от природного насилия, разоблачает атрофию разума разумного общества. Его необходимость является видимостью не меньшей, чем свобода предпринимателя, свою принудительную природу обнаруживающая в неизбежных для нее столкновениях и соглашениях. Подобного рода видимость, в которую, как в забытье, погружается целиком и полностью просвещенное человечество, не в состоянии ликвидировать то мышление, которое, будучи органом господства, вынуждено делать выбор между приказанием и послушанием. Не в состоянии выпутаться из тех противоречий, в ловушке которых оно оказалось в праисторические времена, это мышление является все же достаточным для того, чтобы признать логику или-или, консеквентности и антиномии, при помощи которой ему уда-

лось радикально эмансипировать себя от природы, в качестве самой этой природы, непримиренной и от самой себя отчужденной. Мышлением, в принудительном механизме которого рефлегируется и находит свое продолжение природа, именно в силу своей неудержимой последовательности рефлегируется также и само в качестве собственной, преданной забвению природы, в качестве механизма принуждения. Правда, представление является всего лишь инструментом. Мысля, люди дистанцируются от природы лишь для того, чтобы таким образом поставить ее перед собой, выяснить, какой ей надлежит быть. Подобно вещи, материальному инструменту, оказывающемуся тем же самым в различных ситуациях и таким образом отделяющему мир как хаотическое, многостороннее, диспропорциональное от известного, единого, идентичного, понятие является идеальным инструментом, безукоризненно подходящим ко всем случаям, где только оно может быть применено. Ибо мышление становится иллюзорным также и во всех тех случаях, когда стремится отрицать функцию разобщения, дистанцирования и опредмечивания. Всякое мистическое единение остается иллюзией, бессильным внутренним следом революции, от которой отреклись. Но благодаря тому, что Просвещение оказывается право, выступая против всякого гипостазирования утопии, и хладнокровно объявляет господство расколом, отрыв субъекта от объекта, преодолению которого оно препятствует, становится индикатором его собственной неистинности и являемой им истины. Гонения на суеверия, развертывавшиеся вместе с прогрессом господства, всегда означали одновременно и его компрометацию. Просвещение является чем-то большим, чем Просвещением, природой, вынужденной в ее отчуждении. В самопознании духа как в себе самой расколоте природе взывает, как и в доисторические времена, к себе самой природа, но уже более не непосредственно, при помощи мнимых ее имен, ее всеисилие обозначавших, таких как мана, а будучи ослепленной, искаленной. Обреченность природе заключена в порабощении природы, без которого нет духа. Тем отречением, которым дух заявляет о своем господствующем положении и прокладывает себе путь обратно в природу, рассеивается его властная претензия, именно та, которая делает его рабом природы.

Если в своем бегстве от необходимости, в ходе прогресса и развития цивилизации человечество и не смогло удержаться от того, чтобы отказаться от собственно познания, то, по меньшей мере, оно уже более не принимает возводимые против необходимости валы, институты, практики властвования, которые в незапамятные времена были перенесены из области порабощения природы на общество, за гаранты грядущей свободы. Всяким шагом в прогрессе цивилизации одновременно с упрочением господства возрождалась также и перспектива его укрощения. Пока реальная история все еще остается сотканной из реального страдания, никоим образом не умаляемого ростом числа средств его устраняющих, реализация указанной перспективы перепоручается понятию, идее. Ибо оно, будучи наукой, не только дистанцирует человека от природы, но и, будучи самосознанием именно того мышления, которое в форме науки остается в плену слепых тенденций экономики, предоставляет возможность эту дистанцию, увековечивающую бесправие, измерить. Благодаря такого рода памятованию о природе в субъекте, в реализации которого состоит непонятая истина всякой культуры, Просвещение является вообще противостоящим господству и призыв положить конец Просвещению раздавался даже во времена Ванини не столько из-за страха перед точной наукой, сколько из ненависти к дерзости мысли, которая выходит за пределы юрисдикции природы тем, что признает себя ее же природы собственным содроганием перед самой собой, Жрецы всегда мстили за мана просветителю, старавшемуся умилостивить мана тем, что приходил он в ужас от ужаса, этим именем вызываемого, и авгуры Просвещения были едины со жрецами в своем Гюбрис. Будучи буржуазным, Просвещение задолго до Тюрго и Д'Аламбера растворилось в своем позитивистском моменте. Никогда не было оно застраховано от смешения свободы с делом самосохранения. Суспендирование понятия, производившееся во имя прогресса ли или во имя культуры, втайне уже с давних пор составивших заговор против истины, давало простор лжи. И это происходило в мире, верифицирующем одни только протокольные предложения и сохраняющем мысль, низведенную до достижений великих мыслителей, в виде избитых мест с истекшим сроком давности, от которых нейтрализованная до степени

культурного достояния истина становится уже более неотличимой.

Но распознавание господства вплоть до сферы мышления в качестве непримиренной природы могло бы способствовать ослаблению той необходимости, вековечность которой, в качестве уступки реакционному здравому смыслу, была опрометчиво признана даже самим социализмом. Возводя необходимость в базис всякого будущего и пороча дух вполне на идеалистический манер предельно возможным образом, слишком судорожно цепляется он за наследие буржуазной философии. И потому связь необходимости с царством свободы остается тут чисто квантитативной, механической, а природа, полагаемая в качестве совершенно чуждой, становится тоталитарной и поглощает собой свободу, а заодно и социализм. С отречением от мышления, мстящего за себя предвшему его забвению человеку в таких его опредмеченных формах как математика, машина, организация. Просвещение отказало себе в собственном самоосуществлении. Взяв под надзор все единичное, оно предоставило непостигнутому целому свободу наносить, в качестве власти над вещами, ответный удар по бытию и сознанию людей. Но подлинно революционная практика находится в прямой зависимости от неуступчивости теории перед лицом того беспамятства, с каким общество позволяет закоснеть мышлению. Не материальные предпосылки чаемого, т.е. сорвавшаяся с цепи техника как таковая, ставят возможность его осуществления под вопрос. Это утверждают социологи, теперь вновь ищущие противоядие, будь оно даже коллективного сорта, для того, чтобы стать противоядием хозяевами.³⁶ Вина и долг есть не что иное, как контекст введения в заблуждение на социальном уровне. Мифически научное благоговение народов перед данностью, ими самими же беспрерывно создаваемой, в конечном итоге само становится позитивным фактом, тем бастионом, перед лицом которого даже рево-

³⁶ "Самым важным вопросом, перед которым стоит сегодня наше поколение - вопросом, по отношению к которому все прочие проблемы являются просто следствиями - является вопрос о том, может ли быть контролируется технология. ...Никем не может быть предложена несомненная формула достижения этой цели. ...Мы должны прибегнуть ко всем ресурсам, какие только доступны..." (The Rockefeller Foundation. A Review for 1943. New York 1944, S.33 ff.)

люционная фантазия начинает стыдиться самой себя как утопизма и вырождается в послушное доверие к объективным тенденциям истории. В качестве органа такого приспособленчества, в качестве просто конструктора средств Просвещение деструктивно в той мере, в которой обвиняли его в этом его романтические противники. К самому себе оно приходит лишь тогда, когда окончательно отказывается от какого бы то ни было единодушия с последними и отваживается упразднить ложный абсолют, принцип слепого господства. Духом этой неподатливой теории даже дух безжалостного прогресса мог бы быть обращен себе на пользу. Его герольд Бэкон мечтал о многих вещах, "которых не купить королям со всеми их сокровищами, на которые не распространяется их власть, о которых не приносят никаких известий их шпионы и доносчики". Как ему и хотелось, они достались бюргерам, просвещенным наследникам королей. В силу того, что буржуазное общество, умножив насилие посредством рынка, также безмерно приумножило и число находящихся в его распоряжении вещей и сил, для управления им требуются не просто короли и даже уже более не бюргеры: единственно лишь Все. Власть вещей учит их обходиться в конечном итоге вообще без власти. Просвещение завершается и снимает себя тогда, тогда ближайшие практические цели открываются в качестве наконец-то достигнутых самых отдаленных, а те земли, "о которых ни шпионы ни доносчики не приносят никаких известий", а именно презренная господствующей наукой природа, вспоминаются в качестве земель обетованных. Сегодня, когда бэконовская утопия "повелевать природой в практике" осуществилась в теллурическом масштабе, становится очевидной сущность той принудительности, которую он приписывал природе непокоренной. Она была сущностью самого господства. К его упразднению могло бы ныне приступить то знание, в котором без сомнения, по словам Бэкона, состоит "преимущество человека". Но перед лицом такой возможности, служа современности. Просвещение превращается в тотальный обман масс.

ЭККУРС I

Одиссей или миф и просвещение

Подобно тому, как рассказ о сиренах содержит в себе скрещивание мифа и рационального труда, “Одиссея” в целом являет собой свидетельство диалектики просвещения. Эпос показывает, в особенности в своем самом древнейшем слое, связанном с мифом: авантюры ведут свое происхождение от народного предания. Но именно в силу того, что гомеровский дух овладевает мифами, их “организует”, он вступает с ними в противоречие. Привычное отождествление эпоса с мифом, и без того аннулированное новейшей классической филологией, для философской критики оказывается уже совершеннейшим заблуждением. Оба понятия расходятся врозь. Они маркируют собой две фазы того исторического процесса, который как таковой позволяет себя распознать в местах стыков и швов гомеровской редакции. Гомеровская речь творит всеобщность языка, если уже не предполагает таковую; она разлагает иерархический порядок общества экзотерической формой его представления, даже там и именно там, где она его прославляет; со времен гнева Ахилла и скитаний Одиссея пение является ностальгической стилизацией того, что уже более не позволяет себя спеть, а герой авантюры оказывается прообразом как раз того буржуазного индивидуума, понятие которого возникает в ходе унифицированного самоутверждения, праисторический образец которого и являет собой скиталец. В древнем эпосе, этой философско-исторической противоположности романа, в конечном итоге проступают черты подобия роману, а почтенный космос исполненного чувств гомеровского мира обнаруживает себя в качестве деятельности упорядочивающего разума, разру-

шающего миф именно благодаря тому рациональному порядку, в котором он его отражает.

Осознание буржуазно-просветительского элемента у Гомера акцентировалось позднеромантической немецкой интерпретацией античности, следовавшей ранним работам Ницше. Ницше, как немногим со времен Гегеля, удалось постичь диалектику просвещения. Им было сформулировано его двойственное отношение к господству. Следует “вбивать просвещение в народ, чтобы проповедники все становились проповедниками с нечистой совестью, - таким же образом следует поступать и с государством. Сделать для правителей и государственных деятелей весь их образ действий целенаправленной ложью - вот задача просвещения...”¹. С другой стороны, просвещение издавна было средством для “великих искусников в деле правления (Конфуций в Китае, Imperium Romanum, Наполеон, папство в ту эпоху, когда оно было обращено лицом к власти, а не только к миру)... Самообман толпы касательно этого пункта, напр., во всякой демократии, ценен в высочайшей степени: к умалению и управляемости людей стремятся тогда как к “прогрессу!”². В силу того, что такого рода двойственный характер просвещения выступает в качестве исторического лейтмотива, его понятие, равно как и понятие прогрессирующего мышления расширяется вплоть до начала исторического предания. Но в то время как само отношение Ницше к просвещению, и тем самым к Гомеру, оставалось все же двойственным; в то время как он усматривал в просвещении равным образом как универсальное движение суверенного духа, чьим завершителем он себя ощущал, так и враждебную жизни, “нигилистическую” силу, у его профашистских отпрысков сохранился один только второй момент, перверсивно превращенный в идеологию. Последняя становится слепым восхвалением слепой жизни, которой предписывается та же самая практика, какой подавляется все живое. Это находит свое выражение в точке зрения культурфашистов на Гомера. Они чувствуют в гомеровском изображении феодальных отношений нечто демократи-

¹ Nietzsche. Nachlass. Werke. Band XIV. S.206.

² Ibid, Baad XV. S.235.

ческое, клеймят эти сочинения как сочинения мореплавателей и торгашей и отвергают ионийский эпос как чрезмерно рационализированную говорильню и слишком беглую коммуникацию. Злобному взору тех, кто со всей мнимой непосредственностью господства чувствуют себя едиными и объявляют вне закона всякое посредничество, “либерализм” любого оттенка, удалось увидеть нечто верное. Действительно, линии разума, либеральности, буржуазности простираются несравнимо далее, чем то предполагает историческое представление, датирующее понятие бюргера лишь концом средневекового феодализма. В силу того, что неоромантической реакцией бюргер идентифицируется уже и там, где более раннему буржуазному гуманизму грезилась священная заря, долженствующая легитимировать его самого, мировая история и просвещение оказываются одним и тем же. Модная идеология, делающая ликвидацию просвещения своей наисобственной задачей, выказывает ему, против воли, почтение. Еще в самой отдаленной дали вынуждена она признать наличие просвещенного мышления. И как раз самый его древнейший след угрожает нечистой совести сегодняшних архаиков тем, что сызнова будет развязан весь тот процесс, за удушение которого они теперь так взялись, в то же время бессознательно лишь продолжая его.

Однако усмотрение антимифологического, просвещенческого характера гомеровских сочинений, противопоставление их хтонической мифологии, остается неистинным в силу своей ограниченности. Служа репрессивной идеологии, Рудольф Борхардт, к примеру, наиболее значительный и потому самый слабый среди эзотериков немецкой тяжелой индустрии, слишком рано останавливается в своем анализе. Он не замечает того, что превозносимые им силы порождения сами представляют собой уже некую ступень просвещения. В силу того, что он чересчур уж бесцеремонно вещает роман за эпос, от него ускользает то, что на самом деле имеют общего эпос и роман: господство и эксплуатацию. То неблагородное, что осуждается им в эпосе, посредничество и обращение, является всего лишь развитием того сомнительно благородного, что обоготворяется им в мифе, - голого насилия. Мнимой подлинности, архаическому принципу крови и жертвы уже прису-

ще нечто от тех нечистой совести и хитрости господства, которые свойственны национальному обновлению, использующему сегодня первобытную эпоху в качестве рекламы. Самобытный миф уже содержит в себе тот момент лжи, который торжествует в мошенничестве фашизма, и ответственность за который последним взваливается на просвещение. Ницши сочинения, однако, не предоставляют более красноречивого свидетельства сплетенности воедино просвещения и мифа, чем гомеровские, - основные тексты европейской цивилизации. У Гомера эпос и миф, форма и материя не столько просто расходятся врозь, сколько вступают в спор друг с другом. Эстетическим дуализмом удостоверятся тут философско-историческая тенденция. "Аполлинистический Гомер является лишь продолжателем того всеобщего человеческого процесса искусства, которому мы обязаны индивидуацией"³.

В материальных слоях у Гомера сконденсировались мифы; но рассказ о них, то единство, которого ему удалось добиться от разрозненных сказаний, является одновременно и описанием пути бегства субъекта от мифических сил. В более глубинном смысле это относится уже и к "Илиаде". Гневом мифического сына богини, направленным против рационального предводителя рати и организатора, противящейся дисциплине праздностью этого героя, наконец трактовкой гибели победоносно павшего как национально-эллинского, более уже не как племенного бедствия, опосредованной мифической верностью погибшим соратникам - всем этим прочно удерживается переплетение праистории и истории. И тем вернее это относится к "Одиссее", чем ближе она стоит по форме к приключенческому роману. В противостоянии выживающего Я многоликому року находит свое выражение и противостояние просвещения и мифа. Странствия от Трои до Итаки являются путем телесно беспредельно слабой перед лицом природного насилия и только еще формирующей себя в самосознании самости сквозь мифы. Первобытная эпоха оказывается секуляризованной в том пространстве, по которому он странствует, демоны прежних времен населяют отдаленные окраины и острова цивилизованного Средиземноморья, будучи ото-

³ Nietzsche. Ibid., Band IX. S.289.

гнанными обратно в те скалы и пещеры, откуда они были некогда извлечены на свет ужасом, праисторических времен. Но авантюры наделяют каждое из мест своим собственным именем. Благодаря им возникает рациональный обзор пространства. Трясущийся от страха потерпевший кораблекрушение предвосхищает труд компаса. Его бессилие, которое более не оставляет неизвестной ни одну из частей моря, в то же время нацелено на низвержение власти прежних сил. Однако вполне заурядная ложь мифов, то есть то, что на самом-то деле земля и море не населены демонами, волшебная иллюзия и диффузия традиционной народной религии представляется взгляду достигшего совершеннолетия за-“блуждением” по сравнению с однозначной определенностью цели его собственного самосохранения, по сравнению с возвращением на родину и к прочному имущественному состоянию. Все вместе приключения, переживаемые Одиссеем, являются исполненными опасности соблазнами, совращающими самость с пути ее логики. Он предается им все снова и снова, пробуя их подобно ничему не обучающемуся ученику - иногда даже подобно безрассудно любопытствующему - с той же ненасытностью, с какой мимом опробуются его роли. “Но там, где опасность, зреет / спасущее тоже”⁴: знание, в котором заключается его идентичность и которое дает ему возможность выжить, имеет своей субстанцией опыт многообразного, отвлекающего, разлагающего, и владеющим знанием оказывается тот, кто самым отважно-дерзким образом подвергает себя угрозе смерти, благодаря которой он утверждает и упрочивает себя в жизни. Именно это является тайной имеющей место между эпосом и мифом тяжбы: самость не образует собой непреклонной противоположности по отношению к приключению, но в своей непреклонности только формирует себя через это противостояние, будучи всего лишь единством во множественности того, чем это единство отрицается⁵. Одиссеем, как и герои всех собственно романов

⁴ Hoelderlin. *Patmos. Gesamtausgabe des Inselverlags. Text nach Zinkemagel. Leipzig o.J. S.230.*

⁵ Непосредственное свидетельство этой тяжбы дастся началом двадцатой песни. Одиссеем замечает, как ночью служанки тайком прокрадываются к жени-

после него, так сказать швыряется собой для того, чтобы себя обрести; отчуждение от природы, в котором он преуспевает, осуществляется путем отдания себя на произвол природы, с которой он меряется силой в каждом из приключений, и иронически-насмешливо торжествует в конечном итоге неумолимое, которым он повелевает тем, что неумолимым возвращается домой, как наследный судья и отмститель тех могущественных сил, от которых ему удалось ускользнуть. На гомеровской ступени идентичность самости до такой степени является функцией неидентичного, диссоциированных, неартикулированных мифов, что она вынуждена заимствовать себя у последних. Время, эта внутренняя форма организации индивидуальности, является еще до такой степени нестойким, что единство всей авантюры остается совершенно внешним, а ее последовательность - пространственной чередой сценических площадок, мест проживания локальных божеств, к которым прибывает героя штормом. Когда в исторически более поздние времена самость опять и опять испытывала подобного рода упадок сил, или же такого рода слабость предполагалась повествованием в читателе, представленное в нем жизнеописание вновь соскальзывало в череду следующих друг

хам, "Сердце же злилось его; как рычит, оценившись, / Злобная сука, шеняток своих защищая, когда их / Кто незнакомый берет, и за них покусаться готовясь, / Так на бесстыдницу его раздраженное сердце роптало. / В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу: / "Сердце, смирись; ты гнуснейшее вытерпеть силу имело / В логе циклопа, в то время, когда пожирал беспощадно / Спутников он злополучных моих, - и терпенье рассудку / Выход из страшной пещеры для нас, погибавших, открыло". / Так усмирял он себя, обращаясь к милому сердцу. / Милое сердце ему покорилось, и снова терпенье / В грудь пролилось его; но ворочался с боку он на бок"(XX, 13-24). Субъект пока еще не является прочным в самом себе, идентично структурированным. Независимо от него говорят в нем аффекты, эмоции и сердце. "В начале двадцатой песни рычит кгадие или, равным образом, етор (оба слова синонимичны 17.22), а Одиссей ударяет себя в грудь, следовательно в то место, где находится сердце, и обращается к нему. У него сердцебиение, следовательно эта часть тела приходит в возбуждение против его воли. Тут его обращение к сердцу является не просто проформой, как, например, у Еврипида, у которого имеет место обращение к руке или

за другом авантюр. Лишь с большим трудом и ценой отступничества отслаивается в образе путешествия историческое время от пространства, от отступничества не терпящей схемы всякого мифологического времени.

Органом самости, позволяющим ей пускаться в авантюры, швыряться собой для того, чтобы себя сохранить, является хитрость. Мореплаватель Одиссей обманывает божества природы точно так же, как некогда цивилизованный путешественник обманывал дикарей, предлагая им за слоновую кость разноцветные стеклянные бусы. Лишь изредка выступает он в качестве обменивающегося. В таком случае раздаются и принимаются дары. Дар у Гомера занимает промежуточное положение между обменом и жертвой. В качестве жертвоприношения он должен возместить собой пролитую кровь, будь то кровь чужака, будь то кровь захваченного пиратами оседлого жителя, и учредить собой клятвенное отречение от мести. Но вместе с тем в даре заявляет о себе

ноге, побуждающее их прийти в движение, сердце ведет себя здесь совершенно самостоятельно" (Wilamowitz-Moellendorf, *Die Heimkehr des Odysseus*. Berlin 1927. S. 189). Аффект уподобляется тут животному, которое подчиняет себе человек: сравнение с сукой относится к тому же слою опыта, к какому принадлежит и превращение слутников Одиссея в свиней. Субъект, все еще расщепленный и принужденный к насилию над природой как в себе самом, так и вовне себя, "наказывает" свое сердце тем, что вынуждает его смириться, и тем, что отказывает ему, во временной перспективе, в непосредственно настоящем. Бить себя в грудь стало впоследствии жестом триумфа: им победитель выражает то обстоятельство, что его победа всегда оказывается таковой над собственным естеством. Успех здесь становится успехом, достигнутым сохраняющим себя самым разумом, "...первоначально все помыслы говорящего были направлены на неуместным образом бьющееся сердце, превосходящей же последнее была *metis*, являющаяся, таким образом, прямо-таки некой иной внутренней силой: ею был спасен Одиссей. Позднейшие философы противопоставили бы ее в качестве *nus'a* или *logistikon'a* неразумной части души" (Wilamowitz, *Op.cit.* S. 190). Но о "самости" - *autos* - речь заходит лишь в одном месте 24-ой строфы: после того, как успешно состоялось обуздание порыва разумом. Если бы подбору и последовательности слов можно было отвести роль доказательства, идентичное Я у Гомера рассматривалось бы как результат происходящего внутри чело-

и принцип эквивалентности: хозяин получает реальную или символическую компенсацию за свое деяние, гость - провизию на дорогу, должностную дать ему возможность в принципе добраться домой. И даже если хозяин не получает за то непосредственно вознаграждения, он все же может рассчитывать на то, что когда-нибудь он сам или его родственники встретят подобный же прием: в качестве жертвы божеств стихий дар одновременно является и рудиментарной страховкой от них. Распространившееся на огромное пространство и все же чреватое опасностями мореходство раннего эллинизма является тому прагматической предпосылкой. Посейдон, стихийный враг Одиссея, сам мыслит в понятиях эквивалентности, непрерывно сетуя на то, что последний в местах остановок в своих скитаниях получает даров больше, чем составила бы полностью его доля от троянских трофеев, доводись ему, вопреки чинимым Посейдоном препятствиям, переправить ее домой. Но такого рода рационализация может быть прослежена у Гомера вплоть до ситуации самых настоящих жертвоприношений. Пропорциями размеров предназначенного для гекатомб в каждом отдельном случае принимается в расчет степень благожелательности божеств. И если обмен является секуляризацией жертвы, то последняя сама оказывается уже чем-то вроде магической схемы рационального обмена, неким мероприятием человека, имеющим своей целью порабощение богов, которые ниспровергаются именно системой выказываемых им почестей.⁶

века процесса порабощения его естества. Эта новая самость содрогается в себе самой, некая вещь, тело, после того, как сердце было наказано в ней. Во всяком случае до мельчайших подробностей проанализированной Вилламовицем рядоположенностью моментов души, частенько беседующих друг с другом, как будто бы удостоверяется шаткая эфемерность сцепленности воедино того субъекта, чьей субстанцией является единственно лишь унификация этих моментов.

⁶ По сравнению с материалистической интерпретацией ее Ницше связь жертвы с обменом трактуется Клагесом совершенно магическим образом: "Обязанность приносить жертву затрагивает абсолютно каждого, потому что каждый, как мы видели, получает причитающуюся ему долю жизни и всех жизненных благ - *изначальное *sum sui que** - только благодаря тому, что неизменно дает и возвращает. Но при этом речь идет вовсе не об обмене в смысле вульгар-

Момент обмана в жертве является прообразом одиссеевой хитрости, подобно тому, как многочисленные хитрости Одиссея как бы инкрустируют собой приносимую природным божествам жертву⁷. Перехитрить божества природы удастся как герою, так и солярным богам. Олимпийские друзья Одиссея используют отлучку Посейдона к эфиопам, провинциалам, все еще почитающим его и приносящим ему обильные жертвы, для того, чтобы препроводить своего протеже в безопасное место. Обман уже содержится в самой той жертве, которую с удовольствием принимает Посейдон: ограничение аморфного морского божества определенной локальностью, священным регионом, ограничивает в то же время и его власть, и ради насыщения эфиопскими быками он вынужден отказаться от того, чтобы излить свой гнев на Одиссея.

ного обмена благами (который первоначально, разумеется, точно так же освящается идеей жертвы), но об обмене флюидами или эссенциями в ходе самопожертвования собственной души несущим и питающим все и вся жизненным силам мира.”(Ludwig Klages. *Der Geist als Widersacher der Seele*. Leipzig, 1932, Band III, Teil 2, S.1409.) Двойственным характером жертвы, магической самоотдачей единичным себя коллективу - как бы с этим ни обстояло дело - и самосохранением посредством техники или магии, тем не менее имплицитно объективное противоречие, понуждающее к развитию как раз рационального элемента в жертве. Под давлением все еще продолжающих доминировать магических уз рациональность, в качестве способа действий жертвующего, становится хитростью. Клагес, этот рьяный апологет мифа и жертвы, сам столкнулся с этим и чувствует себя вынужденным провести различие между подлинной коммуникацией с природой и ложью еще в идеальном образе пелазгической древности, без того, однако, чтобы ему все-таки удалось исходя из самого мифологического мышления противопоставить видимости магического господства над природой некий противоположный принцип, потому что такого рода видимость составляет как раз сущность мифа. “Это уже более не является только лишь языческим верованием, это уже является также и языческим суеверием, когда, например, при вступлении на трон божественный властитель должен принести клятву в том, что он впредь дозволит солнцу светить, а полям - покрываться плодами.”(Klages. *Op.cit.*, S.1408.)

⁷ Этому соответствует и то, что человеческих жертвоприношений в собственном смысле слова не встречается у Гомера. Цивилизаторная тенденция эпоса дает себя почувствовать уже в подборе сообщаемых происшествий. “За

Все жертвоприношения, планомерно осуществляемые человеком, обманывают того бога, которому они посвящены: они подчиняют его примату человеческих целей и лишают его власти, а совершенный в отношении него обман беспрепятственно превращается в тот, который учиняется над верующей паствой неверующим проповедником. Хитрость зарождается в культе. Одиссей сам функционирует одновременно и в качестве жертвы, и в качестве жреца. Посредством калькуляции своего собственного участия он способствует негации той силы, сторону которой это участие принимает. Так выторговывает он себе свою обреченную гибели жизнь. Но никоим образом обман, хитрость и рациональность не представляют собой простой противоположности архаике жертвы. Благодаря Одиссею момент обмана в жертве, эта самая глубинная, пожалуй, причина лживого характера мифа, всего только возвышается до уровня самосознания. Древнейшим должен быть опыт того, что символическая коммуникация с божеством посредством жертвы не является реальной. Заложенное в жертве замещение, так превозносимое новомодными иррационалистами, неотделимо от обожествления приносимого в жертву, от иллюзии проповеднической рационализации убийства апофеозом избранника. Нечто от подобного рода обмана, которым брэнная личность возвеличивается до носителя божественной субстанции, издавна давало себя знать в том Я, которое самим своим существованием обязано принесению в жертву будущему мгновению настоящего. Его субстанциальность является видимостью в той же степени, что и бессмертие убиенного. Далеко не случайно Одиссей многими почитался в качестве божества.

До тех пор, пока единичный приносится в жертву, до тех пор, пока жертва включает в себя противоположность коллектива и индивидуума, до тех пор обман остается объективно соположенным в жертве. И если верой в замещение посредством жертвы обозначается памятование о том, что есть не изначального, относящегося к истории господ-

одним лишь исключением ... и "Илиада" и "Одиссея" полностью очищены от мерзости человеческого жертвоприношения." (Gilbert Murray. *The Rise of the Greek Epic*. Oxford, 1911, S.150.)

ства в самости, то для сформировавшейся самости она становится одновременно и заблуждением: самостью является как раз тот человек, который считается уже более не обладающим магической силой замещать себя. Конституцией самости перерезается как раз та флуктуирующая связь с природой, на установление которой претендует жертвовање самостью. Всякая жертва есть реставрация, уличаемая исторической реальностью в той лжи, с которой она предпринимается. Но судя по всему, почтенная вера в жертву представляет собой уже ту вдолбленную схему, сообразно которой поработанные повторно сами над собой учиняют несправедливость, которая была над ними уже учинена, для того, чтобы суметь вынести ее. Ею никоим образом не спасается, посредством замещающей отдачи, та непосредственная, всего только лишь прерванная коммуникация, которая приписывается ей сегодняшними мифологами, но сам институт жертвы есть признак исторической катастрофы, который как будучи акт насилия одинаковым образом направлен как против человека, так и против природы. Хитрость есть не что иное, как субъективное развитие такого рода объективной неистинности жертвы, ей на смену приходящее. Вполне возможно, что эта неистинность не всегда была только неистинностью. На одной из стадий⁸ первобытной эпохи жертвы, вероятно, и обладали своего рода кровавой рациональностью, которую, правда, даже тогда вряд ли можно было отличить от жадности привилегий. Господствующая на сегодняшний день теория жертвы связывает ее с представлением о коллективном теле племени, в соответствии с которым пролитая кровь члена племени должна возвратиться вспять в виде силы. Тотемизмом, в свое

⁸ Едва ли на самой древнейшей. "Обычай человеческого жертвоприношения ...является гораздо более распространенным среди варваров и полудицилизованных народов, чем среди настоящих дикарей, а на самых низших ступенях культуры он вообще едва ли известен. Наблюдения показывают, что у многих народов с течением времени он становится все более и более распространенным", на островах Товарищества, в Полинезии, в Индии, у ацтеков. "Что же касается африканцев, утверждает Винвуд Рид, то 'чем могущественнее нация, тем значительнее жертва'." (Eduard Westennarck. Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe. Leipzig, 1913, Band I, S.363.)

время уже бывшим идеологией, все же маркируется некое реальное состояние, в котором господствующий разум испытывал потребность в жертвах. Оно было состоянием архаической нужды, в котором человеческое жертвоприношение вряд ли удастся отличить от каннибализма. Численно возрастающему коллективу время от времени удавалось выжить только благодаря испытываемому от вкушения человеческой плоти наслаждению; вероятно, сладострастие многих этнических или социальных групп было каким-то образом связано с каннибализмом, о чем сегодня свидетельствует уже только испытываемое к вкусу человеческого мяса отвращение. Обычай более поздней эпохи, такие, например, как обычай *veg sagum*, когда во времена голода целое поколение молодых людей определенного года рождения по требованиям обряда понуждалось к эмиграции, достаточно отчетливо сохраняют черты подобного рода варварской и просветленной рациональности. Задолго до возникновения мифологических народных религий она должна была разоблачить себя в качестве иллюзорной: по мере того, как систематическая охота начала поставлять племени животных в количестве достаточном для того, чтобы сделать излишним поедание членов племени, умудренные опытом охотники и звероловы должны были находить все более и более безумными заповеди шаманов, отдающие их на съедение.⁹ Магическая интерпретация жертвы коллективом, полностью отрицающая ее рациональность, является ее рационализацией; но прямолинейная просвещенная гипотеза, согласно которой то, что сегодня является идеологией, некогда могло быть истиной, слишком простодушна¹⁰: новейшие идеологии являются всего лишь репризами древнейших, тем более прибегающими к прежде неизвестным идеологиям,

⁹ У народов-каннибалов, таких, например, как народы Западной Африки, "ни женщинам ни подросткам ...не дозволяется наслаждаться деликатесами." (Westermarck. *Op.cit.*, Leipzig 1909, Band II, S.459.)

¹⁰ Виламовиц "отчетливо противопоставляет" *nus* и *logos* друг другу. (Glaube der Hellenen. Berlin 1931. Band I, S.41 f.) Миф для него является некой "историей, как ее рассказывают самому себе", детской сказкой, вымыслом, или, что исотделимо от этого, недоказуемой высшей истиной, как, например, у Платона. Вполне отдавая себе отчет в иллюзорном характере мифов, Виламовиц в то же

чем явственнее развитием общества уличаются во лжи идеологии до сего времени санкционированные. Иррациональность жертвы, на которую ссылаются столь часто, является не чем иным, как выражением того обстоятельства, что практика жертвоприношения имеет более длительную историю, чем ее сама по себе уже неистинная, то есть партикулярно рациональная необходимость. Именно за этот зазор между рациональностью и иррациональностью жертвы ухватывается хитрость. Всякая демифологизация имеет форму непрерывного убеждения на опыте в тщетности и ненужности жертв.

Если принцип жертвоприношения ради его иррациональности оказывается проходящим, то он одновременно продолжает жить в силу своей рациональности. Последняя изменилась, но не исчезла. Самость противится растворению в слепой природе, о чьих правах все вновь и вновь заявляет жертва. Но при этом она остается обреченной как раз природным связям, живым, стремящимся утвердить себя в противовес живому. Девальвация жертвы рациональностью самосохранения является обменом в той же степени, в какой им всегда была жертва. Твердая в своей идентичности самость, возникающая в ходе преодоления жертвы, вновь является жестоким, неукоснительно соблюдаемым ритуа-

время отождествляет их с поэзией. Другими словами, он отыскивает их лишь в сигнификативном языке, уже вступившем с их интенцией в объективное противоречие, которое он, в качестве поэзии, и пытается примирить: "Миф, прежде всего, есть произносимая речь, к ее содержанию слово никогда не имеет отношения." (Ibid.) Благодаря тому, что им гипостазируется это позднешее понятие мифа, уже имеющее своей предпосылкой разум в качестве эксплицитной его противоположности, ему удается - в ходе неявной полемики с Бахофеном, над которым он издевается как над последней модой, не упоминая, однако, его имени - убедительным образом развести врозь мифологию и религию (Ibid., S.5), в результате чего миф оказывается не более ранней, а более поздней ступенью: "Я предпринимаю попытку проследить процесс возникновения мифа из веры, процессы преобразования и перехода веры в миф." (Ibid., S.1) Закоснелая департаментская спесь специалиста по античной Греции не позволяет ему проникнуть в диалектику мифа, религии и просвещения: "Я не знаю тех языков, из которых позаимствованы такие популярные сегодня словечки, как тотем и табу, мана и орецца, но считаю вполне допустимым придерживаться надежного пути

лом принесения в жертву, которым человек, противопоставляя свое сознание природной связи, торжественно празднует самого себя. И поэтому отчасти верным оказывается известный рассказ из скандинавской мифологии, согласно которому Один повесился на дереве в качестве жертвы самому себе, и тезис Клагеса, гласящий, что всякая жертва есть принесение в жертву Богу Бога, как оно и изображается в монотеистической перелицовке мифа, в христологии.¹¹ С тем только, что тот слой мифологии, в котором самость выступает в качестве жертвы самой себе, выражает собой не столько изначальную концепцию народной религии, сколько, напротив, включение мифа в цивилизацию. В классовой истории враждебность самости жертве всегда включала в себя жертвование самостью, ибо оплачивалось отрицанием природного в человеке ради господства над не являющейся человеком природой и другими людьми. Именно это отрицание, ядро всякой цивилизационной рациональности, является зародышевой клеткой продолжающей бурно разрастаться мифической иррациональности: отрицанием при-

- продолжать оставаться при грехах и о греческом мыслить по-гречески." (Ibid., S.10) Как тогда с таким неожиданным мнением, что "древнейший эллинизм содержал в себе зародыш платоновского божества", должна согласовываться представленная Кирхоффом и перенятая Виламовицем историческая точка зрения, усматривающая в мифических встречах *nostos*'а древнейшее ядро книги об Одиссее, остается невыясненным, подобно тому, как и в случае такого центрального понятия, каким является само понятие мифа, Виламовицу удастся обойтись без достаточной его философской артикуляции. Тем не менее выказанная его сопротивлением иррационализму, до небес превозносящему миф, и его упорством в деле разоблачения иллюзорности мифов величайшая его пронизательность неосгррима. И тем отчетливее позволяет отвращение к примитивному мышлению и доисторическим временам выявиться тому напряжению, которое всегда существовало между обманчивым словом и истиной. То, в чем Виламовиц упрекает позднейшие мифы, произвол вымысла, должен был быть присущ уже древнейшим мифам благодаря *pseudos*'у жертвы. Этот *pseudos* родственен как раз тому платоновскому божеству, время зарождения которого Виламовиц датирует задним числом, эпохой архаического эллинизма.

¹¹ Трактровка христианства как языческой религии жертвоприношения лежит в основе "Спасенного Христа" Вернера Хагеманна (Potsdam 1928).

природного в человеке спутан и делается непроницаемым не один только телос обуздания внешней природы, но и - телос собственной жизни. В тот момент, когда человек в качестве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: социальный прогресс, рост всех материальных и духовных сил, даже само сознание, а возведение на престол средства в качестве цели, принимающее в эпоху позднего капитализма характер откровенного безумия, различимо уже в праистории субъективности. Господство человека над самим собой, учреждающее его самость, виртуально есть во всех случаях уничтожение того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обузданная, подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и предназначены все действия самосохранения - собственно как раз тем, что должно быть сохранено. Противоразумность тоталитарного капитализма, чья техника, призванная удовлетворять потребности, в ее опредмеченном, определяемом отношении господства облик делает невозможным удовлетворение потребностей и понуждает к искоренению человека - эта Противоразумность имела свой прототипический образ в герое, который избегает жертвы тем, что жертвует собой. История цивилизации есть история интроверсии, становления интровертивной жертвы. Другими словами: история самоотречения. Любой отрекающийся отдает больше от своей жизни, чем ему бывает возвращено, больше, чем та жизнь, которую он защищает. Этот процесс разворачивается в контексте ложного общества. В нем каждый является слишком многим и оказывается обманутым. Но такова общественная необходимость, что тот, кто хотел бы уклониться от универсального, неравного и несправедливого обмена, но не отказаться от него, так что доведись ему, сразу ухватил бы себе неурезанное целое, тем самым как раз потерял бы все, даже тот скудный остаток, который гарантируется ему самосохранением. Все требует избыточных жертв: взамен жертвы. Именно таким и является Одиссей - самостью, беспрестанно превосмогающей самое себя¹² и через то упускающей свою жизнь, ею спасаемую и уже только

¹² Как, скажем, тогда, когда он отказывается от того, чтобы тотчас же умер-

лишь припоминаемую как скитания. И тем не менее он в то же время является и жертвой, приносимой ради упразднения жертвоприношения. Его барское самоотречение, будучи борьбой с мифом, замешает собой то общество, которое уже более не нуждается ни в самоотречении, ни в господстве: оно властвует над самой собой не для того, чтобы совершать насилие над собой или другими, но ради примирения.

Трансформация жертвы в субъективность проходит под знаком того лукавства, которое всегда было присуще жертвоприношению. В лживости лукавства заключающийся в жертве обман становится элементом характера, увечьем самого "битого, тертого", на чьей физиономии запечатлены те удары, которые он, самосохраняясь, нанес самому себе. Здесь находит свое выражение связь духа и физической силы. Носитель духа, повелитель, в качестве какового почти всегда представляем хитроумно-лукавый Одиссей, несмотря на все рассказы о его подвигах в каждом из случаев физически слабее тех архаических сил, с которыми он вынужден вести бой не на жизнь, а на смерть. Те случаи, в кото-

твить Полифема (IX, 302); когда он терпеливо сносит жестокое обращение с ним Антиноя, чтобы не выдать себя (XVII, 460 и сл.стр.). Сравни далее эпизод с ветрами (X, 50 и сл.стр.) и пророчество Тиресия в первой пекуиа (XI, 105 и сл.стр.), которым возвращение на родину ставится в зависимость от обуздания собственного сердца. Правда, тут отказ Одиссея пока еще носит характер не дефинитива, но только лишь отсрочки: чаще всего акты мести, в которых он отказывает себе, тем с большим размахом осуществляются им позднее: страдалец терпелив. В его поведении еще до известной степени открыто лежит на поверхности, в качестве естественной цели, то, что позднее в тотальном императивном самоотречении скрывает себя, чтобы тем самым только лишь и обрести неодолимую власть, власть закабаления всего естественного. С переносом его в субъект с эммансипацией от предзаданного мифом содержания, подобного рода закабаление становится "объективным", всшественно независимым от любых частных целей человека, оно становится всеобщим рациональным законом. Уже в терпении Одиссея, что отчетливо демонстрируется тем, что происходит вслед за убийством женихов, месть превращается в юридическую процедуру: окончательная реализация мифического порыва откровенно становится целесообразным инструментом господства. Право является отказывающейся от непосредственного исполнения мстью. В силу того, однако, что подобного рода

рых прославляется голая физическая сила нашего искателя приключений, случаи провоцируемого женихами кулачного боя с Иром и натягивания тетивы лука, являются ситуациями спортивного рода. Самосохранение и телесная мощь расходятся врозь: атлетические способности Одиссея являются способностями джентльмена, который, будучи избавленным от практических забот, может тренировать свое тело по-барски сдержанно. Дистанцированная от насущных потребностей самосохранения сила идет как раз на пользу самосохранению: в ходе *agon'a* со слабосильным, прожорливым, недисциплинированным бродягой или с теми, кто беззаботно предаются праздному безделью. Одиссеей символическим образом учиняет над этими аутсайдерами повторно то, что реально было учинено над ними задолго до того организованным помещичеством, и легитимирует себя в качестве аристократа. Но там, где он встречается с первобытными силами, не одомашненными и не расслабленными, ему приходится труднее. Ни в одном из случаев он не выказывает способность сам вступить в физическую схватку с продолжающими свое экзотическое существование мифическими силами. Он вынужден признать те церемониалы жертвоприношения, с которыми он вновь и вновь встречается, в качестве преданных: нарушить их он не в состоянии. Вместо этого он формально превращает их в условие своего собственного разумного решения. Последнее всегда осуществляется как бы внутри праисторического приговора, лежащего в основе ситуации жертвоприношения. То, что древняя жертва, между тем, сама была иррациональной, представляется уму более слабого как глупость ритуала. Последний остается признанным, его буква пунктуально соблюдается. Но ставший бессмысленным приговор опровергается тем, что его собственный устав то и дело предоставляет возможность избе-

судейская терпеливость формирует себя на чем-то лежащем вне себя самой, на тоске по родине, она приобретает черты чего-то человеческого, почти того, чему можно доверять, что отсылает в каждом отдельном случае за пределы отложенной мести. В развитом буржуазном обществе и то и другое потом кассируется: вместе с мыслью о мести становится табу также и ностальгия, а как раз этим мечь и возводится на престол, опосредованно становясь мечью самости самой себе.

жать его. Не кто иной, как стремящийся к господству над природой дух в состязании с ней всегда добивается отмщения за превосходство природы над ним. Все буржуазное Просвещение едино в требовании трезвости, чувства реальности, правильной оценки соотношения сил. Желание не смеет быть отцом мысли. Но это происходит от того, что всякая власть в классовом обществе связана гложущим сознанием собственного бессилия перед лицом физической природы и ее социальных приемников, многих. Только сознательно управляемое приспособление к природе делает последнюю подвластной тому, кто физически слабее. Рацио, вытесняющее мимезис, является не просто его противоположностью. Оно само есть мимезис: мимезис мертвого. Субъективный дух, ликвидирующий одушевленность природы, овладевает омертвленной природой только тем, что имитирует ее косность и ликвидирует самого себя в качестве анимистичного. Подражание начинает служить господству не позднее того, как человек пред человеком становится антропоморфным. Схемой одиссеяго хитроумия является овладение природой посредством такого рода уподобления. В оценке соотношения сил, которой выживание как бы заранее ставится в зависимость от признания собственного поражения, виртуально - от смерти, уже заложен in пусе принцип буржуазного дезиллюзионизма, внешняя схема овнутренения жертвы, самоотречения. Хитроумный выживает только ценой своих собственных грез, которые он девальвирует тем, что расколдовывает, подобно силам вовне, самого себя. Он никогда не может иметь именно все целиком, он всегда должен уметь ждать, иметь терпение, отказываться, он не смеет отведасть ни лотоса, ни плоти священных быков Гипериона, и когда он ведет свой корабль сквозь теснину вод морских, он должен включать в калькуляцию утрату тех своих спутников, которых срывает с судна Сцилла. Он проскальзывает, лавируя, сквозь, ему удастся выжить, и весь тот почет и слава, которые воздаются ему за то им самим и другими, свидетельствуют лишь о том, что звание героя приобретает исключительно лишь ценой смирения порыва к цельному, всеобщему, безраздельному счастью.

Это формула хитроумия Одиссея - то, что отступник-инструментальный дух, покорно подлаживаясь к природе, воздаст ей тем самым

должное и как раз благодаря этому обманывает ее. Мифические чудовища, в зоне действия власти которых он оказывается, представляют собой во всех случаях как бы окаменелые договора, правовые притязания праисторической эпохи. Так предьявляет себя ко времени развитого патриархата более древняя народная религия в ее распыленных реликтах: под небом Олимпа они превратились в фигуры абстрактной судьбы, чуждой чувственности необходимости. То, что было невозможно, скажем, выбрать иной маршрут, кроме такового между Сциллой и Харибдой, можно было бы истолковать вполне рационалистически, как трансформацию в миф превосходства сил морского течения над старинным кораблем. Но в переложении на предметность мифа природное соотношение силы и бессилия уже принимает характер правового отношения. Сцилла и Харибда имеют право на то, что попадает им в зубы, точно так же, как Кирке имеет право на превращение уязвимого, или Полифем - на тела своих гостей. Каждая из этих мифических фигур обязана вновь и вновь делать то же самое. Суть каждой из них - в повторении: его неудача была бы их концом. Все они несут на себе черты того, что учреждается в мифах наказания, таких, как миф о преисподней, Тантале, Сизифе, Данаидах, приговором богов Олимпа - Все они являются фигурами принуждения: гнусные зверства, которые они совершают, являются тем проклятьем, которое тяготеет над ними. Мифическая неизбежность определяется эквивалентностью между этим проклятьем, чудовищным злодеянием, которым оно искупляется, и прорастающей из последнего виной, долгом, которыми проклятье репродуцируется. Все право в предшествующей истории несет на себе отпечаток этой схемы. В мифе каждый момент цикла возмещает ему предшествующий, тем самым способствуя инсталляции долговой связи в качестве закона. Против этого выступает Одиссей. Самость репрезентирует рациональную всеобщность наперекор неизбежности судьбы. Но так как он обнаруживает всеобщее и неизбежное перекрещивающимися друг с другом, его рациональность с необходимостью приобретает ограничивающую форму, форму исключения. Он должен выскользнуть из окружающих его и угрожающих ему правовых отношений, которые до известной степени предписаны каждой из мифичес-

ких фигур. Он воздаст должное правовым установлениям таким образом, что они теряют над ним власть в силу того, что он делает уступку этой власти. Невозможно слышать сирен и не пасть жертвой их чар: им нельзя противиться. Противление и ослепление суть одно и то же, и тот, кто противится им, тем самым как раз и проигрывает тому мифу, с которым он повстречался. Но хитроумие есть ставшее рациональным противление. Одиссей и не пытается плыть каким-либо иным путем, кроме того, который пролегает мимо острова сирен. Он также не пытается, например, кичась превосходством своего знания, свободно услышать искусительниц, воображая, что его свобода послужила бы ему достаточной защитой. Он ведет себя тише воды, ниже травы, корабль следует своим predetermined, фатальным курсом, и тут им реализуется только то, что сколь бы ни был он сознательно дистанцирован от природы, в качестве слушающего он полностью остается в ее власти. Он соблюдает договор своего послушания и пока еще дрожит у мачты, готовясь низринуться в объятия погубительниц. Но он уже учуял ту лазейку в договоре, сквозь которую он ускользнет от его соблюдения при полном выполнении всех его статей. В праисторическом договоре не предусмотрено, обязан ли проплывающий мимо внимать пению сирен закованным или не закованным. Наложение оков, связывание относится лишь к той стадии, когда пленных уже более не умерщвляют немедленно. Одиссей признает архаическое всевластие пения тем, что, будучи технически просвещенным, заставляет связать себя. Он склоняется перед песнью желания и расстраивает ее так же, как он расстраивает планы смерти. Связанный слушающий стремится к сиренам точно так же, как любой другой. С той лишь разницей, что он принял меры к тому, чтобы в качестве обреченного не быть обреченным им. При всей силе рго желания, отражающей могущество самих полубогинь, он не может устремиться к ним, поскольку гребущие спутники с воском в ушах глухи не только к призыву полубогинь, то также и к отчаянному крику своего повелителя. Сирены получают им причитающееся, но в буржуазной праистории оно уже нейтрализовано в страстное желание того, кто проплывает мимо. Эпос умалчивает о том, что случилось с сиренами после того, как скрылся из виду корабль. Но в трагедии это было

бы их последним часом, подобно тому, как таковым для Сфинкса был тот момент, когда Эдип разгадал его загадку, тем самым выполнив его приказ и его низвергнув. Ибо право мифических фигур, в качестве права более сильных, живо только благодаря невыполнимости его установления. Когда же случается такое, что они удовлетворяются, то с мифом бывает покончено вплоть до самого отдаленного его наследия. Со времени счастливо-несчастливой встречи Одиссея с сиренами все песни больны и вся западноевропейская музыка в целом страдает от той абсурдности пения, которой в то же время любому музыкальному искусству вновь возвращается движущая его сила.

С расторгжением договора посредством неукоснительного следования его букве изменяется историческое местоположение языка: он начинает превращаться в обозначение. Мифический рок, фатум был одним с высказанным словом. Кругу представлений, к которому принадлежат неотвратимо приводимые в исполнение мифическими фигурами правопритязания судьбы, еще неизвестно различие слова и предмета. Слово обладает тут непосредственной властью над вещью, экспрессия и интенция перетекают друг в друга. Хитроумие, однако, заключается в том, что это различие используется. Тогда цепляются за слово для того, чтобы изменить дело. Так возникает сознание интенции: нужда заставляет Одиссея убедиться в наличии тут дуализма тем, что он на опыте узнает, что одно и то же слово способно означать различное. В силу того, что имя *Udeis* может приписать себе как герой, так и никто, первый обретает способность разрушить чары собственного имени. Неизменяемые слова остаются формулами неумолимых законов природы. Уже в магии ее непреклонность должна была давать отпор непреклонности судьбы, которая в то же время и отражалась ею. Здесь была уже заключена противоположность между словом и тем, чему оно себя уподобляло. На гомеровской стадии она становится определяющей. Одиссей открывает в словах то, что в развитом буржуазном обществе называется формализмом слов: их долголетняя услужливость оплачена их дистанцированностью от соответствующего, их наполняющего содержания тем, что дистанцируясь от любого возможного содержания, они относятся точно так же ни к кому, как и к самому Одиссею. Из

формализма мифических имен собственных и законоположений, которые подобно природе стремятся безучастно повелевать человеком и историей, вырастает номинализм, этот прототип буржуазного мышления. Себя самое сохраняющее хитроумие живет этим происходящим между словом и делом процессом. Оба противоречащих друг другу акта Одиссея при встрече с Полифемом, его повиновение имени и его отказ от него, с другой стороны, ведь тождественны друг другу. Он признает себя в качестве себя самого тем, что отрекается от себя в качестве Никто, он спасает свою жизнь тем, что заставляет себя исчезнуть. Такого рода уподобление мертвому посредством языка уже содержит в себе схему современной математики.

Хитрость как средство обмена, где все идет, как надо, где выполняется договор и где, тем не менее, оказывается обманутым партнер, отсылает к тому типу хозяйствования, который появляется если не в мифической древности, то, по меньшей мере, в эпоху ранней античности: к древнейшему "случайному обмену" между замкнутыми натуральными хозяйствами. "Излишки при случае обмениваются, но центром тяжести в обеспечении остается производимое для себя". "Именно образ действий участника случайного обмена напоминает образ действия авантюриста Одиссея. Уже в патетическом образе бродяги феодал оказывается носителем черт восточного купца,¹⁴ возвращающегося с неслыханным богатством домой вследствие того, что ему впервые удастся, вопреки традиции, вырваться за пределы узких рамок натурального хозяйства, "сплавать". Экономически авантюрный характер его предприятий является не чем иным, как иррациональным аспектом его рации по отношению ко все еще преобладающей традиционной форме хозяйства. Эта иррациональность рации нашла свое выражение в хитроумии как в уподоблении буржуазного разума любому неразумию, противостоящему ему в качестве еще более мощной силы. Хитроумный оди-

¹³ Max Weber. Wirtschaftsgeschichte. Muenchen und Leipzig 1924, S.3.

¹⁴ Виктор Берар особенно подчеркивает, правда не без некоторой апокрифической конструкции, семитский элемент в "Одиссее". Ср. плаву "Les Pheniciens et l'Odyssee" в "Resurrection d'Homere". Paris 1930, S.111 ff.

ночка уже является homo oeconomicus, которому однажды уподобятся все разумные существа: поэтому одиссея уже является робинзоной. Оба прототипических потерпевших кораблекрушение превращают свою слабость - слабость индивидуума как такового, отделяющегося от коллективности - в свою социальную силу. Когда оказываются они отданными на произвол морских течений, беспомощно изолированными, самой их изолированностью диктуется им беспощадное следование атомистической выгоде. Они олицетворяют собой принцип капиталистического хозяйствования еще до того, как они начинают использовать наемного рабочего; но то, что из спасенного добра ими привносится в новое предпринимательство, проясняет ту истину, что с давних пор предприниматель вступает в конкуренцию кое с чем большим, чем только с прилежанием рук своих. Их бессилие перед лицом природы функционирует уже в качестве идеологии их социального превосходства. Беззащитность Одиссея перед лицом морского приюта звучит как легитимация обогащения путешественника за счет туземцев. Позднее это было зафиксировано буржуазной экономикой в понятии риска: возможность гибели должна служить моральным оправданием наживы. С точки зрения общества с развитыми меновыми отношениями и его индивидов авантюры Одиссея являются не чем иным, как изображением того многообразия риска, которым пролагается путь к успеху. Одиссей живет в соответствии с тем первопринципом, которым некогда было конституировано буржуазное общество. Можно было сделать выбор - либо обмануть, либо погибнуть. Обман был родимым пятном расио, выдающим его партикулярность. Поэтому в состав универсальной социализации, по проекту кругосветного путешественника Одиссея и соло-фабриканта Робинзона, изначально уже входит абсолютное одиночество, что становится очевидным в конце буржуазной эры. Радикальная социализация означает радикальное отчуждение. Оба они, и Одиссей и Робинзон, имеют дело с тотальностью: первый объезжает, второй созидает ее. Оба осуществляют это только будучи полностью оторванными ото всех других людей. Последние встречаются обоим исключительно лишь в отчужденной форме, как враги или как точки опоры, всегда - как инструменты, вещи.

Однако одна из первых авантюр подлинного Nostos соотносится со временами намного более древними, чем варварский век шутовских проделок демонов и колдовства божеств. Речь идет о рассказе о лотофагах, поедателях лотоса. Тот, кто вкусит от этого блюда, обречен подобно слушающему сирен или тому, к кому прикоснулся жезл Кирке. Но тому, кто стал жертвой этого колдовства, не предуготовано ничто дурное: “и посланным нашим / Зла лотофаги не сделали”.¹⁵ Ему угрожает лишь забвение и паралич воли. Этим проклятием он обрекается не на что иное, как на первобытное состояние без труда и борьбы на “плодородных лугах”¹⁶: “но лишь только / Сладко-медвяного лотоса каждый отведал, мгновенно / Все позабыл и, утратив желанье назад возвратиться, / Вдруг захотел в стороне лотофагов остаться, чтоб вкусный / Лотос собирать, навсегда от своей отказавшись отчизны.”¹⁷ Подобной идиллии, весьма напоминающей счастье наркотиков, при помощи которых при ужесточившихся общественных порядках поработанные слои были принуждены обрести способность переносить непереносимое, не в состоянии предаться самосохраняющийся разум, преследующий свои интересы. На самом деле она является лишь видимостью счастья, тупым растительным существованием, скудным, как существование животных. В лучшем случае это было бы отсутствием сознания несчастья. Но счастье содержит истину в себе. По сути своей оно есть результат. Оно расцветает на упраздненном страдании. Поэтому прав тот страдалец, которому нейдется среди лотофагов. В противоположность им он отстаивает их же собственное дело, осуществление утопии, но посредством исторического труда, в то время как просто пребывание в состоянии блаженства лишает их каких бы то ни было сил. Но в силу того, что Одиссеем осознается эта правота, она неумолимо вступает в отношения несправия. Совершенно непосредственно его деятельность разворачивается как деятельность во имя господства. Это счастье “в дальних пределах мира”¹⁸ столь же мало допустимо для

¹⁵ Одиссея, IX, 91-92.

¹⁶ Там же, XXIII, 311.

¹⁷ Там же, IX, 93-97.

¹⁸ Jacob Burckhardt. Griechische Kulturgeschichte. Stuttgart o.J. Band III, S.95.

самосохраняющегося разума, сколь и более опасное из более поздних фаз. Ленивые разгоняются и отправляются на галеры: “Силой их, плачущих, к нашим судам притащив, повелел я / Крепко их там привязать к корабельным скамьям;”¹⁹ Лотос - восточное кушанье. И по сей день играют его мелко нарезанные ломтики свою роль в китайской и индийской кухне. Вероятно соблазн, приписываемый ему, является не чем иным, как соблазном регрессии на стадию собирательства плодов земли,²⁰ равно как и моря, более древнюю, чем земледелие, скотоводство и даже охота, короче - чем любое производство. Вряд ли является случайностью то, что представление о сказочно-праздной жизни связывается эпопеей с поеданием цветов, даже если это такие цветы, про которые сегодня ничего такого и не скажешь. Поедание цветов, на Ближнем Востоке все еще общепринятое в качестве десерта, европейским детям известное в качестве липучки из розовой воды или засахаренных фиалок, обещает состояние, в котором репродукция жизни независима от сознательного самосохранения, блаженство сытости независимо от полезности планомерного питания. Воспоминание о самом отдаленном и самом древнем счастье, вспыхивающее в обонянии, все еще скрещивается с самой предельной близостью съедания. Оно отсылает вспять, к первобытному состоянию. И неважно, какую полноту мучений люди испытывали пребывая в нем, они не способны мыслить никакое счастье, которое не питалось бы образом этого первобытного состояния: “Далее поплыли мы, сокрушенные сердцем”²¹.

Следующая фигура, которую перехитрил Одиссей - перехитрить и быть тертым, битым - это эквиваленты у Гомера - циклоп Полифем, несет свой единственный, величиной с колесо глаз как отпечаток того

¹⁹ Одиссея. IX. 98-99.

²⁰ В индийской мифологии лотос является божеством земли (Ср. Heinrich Zimmer. *Maja*. Stuttgart und Berlin 1936, S.105 f.) Если тут существует связь с теми мифологическими преданиями, из которых вздымается древний гомеровский *postos*, то тогда и встречу с лотофагами следовало бы квалифицировать в качестве одной из стадий спора с хтоническими силами.

²¹ Одиссея, IX, 105.

же самого доисторического мифа: один единственный глаз напоминает собой нос и рот, он примитивнее, чем симметрия глаз и ушей²², лишь в силу которой, в единстве двух покрывающих друг друга ощущений, вообще имеют место идентификация, глубина, предметность. Но все-таки по сравнению с лотофагами он репрезентирует собой более позднюю, собственно варварскую эпоху, век охотников и пастухов. Варварство для Гомера совпадает с тем, что не практикуется систематическое земледелие и потому еще не достигнута систематическая, распоряжающаяся временем организация труда и общества. Циклопов он называет “не знающими правды”²³, противными закону злодеями, потому что они, и в этом заключено нечто от тайного признания цивилизацией своей вины, “под защитой бессмертных имея / Все, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там / Тучная щедро сама без пахання и сева дает им / Рожь, и пшено, и ячмень, и роскошных кистей винограда / Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплодждает”²⁴. Изобилие не нуждается в законе и цивилизаторный приговор анархии звучит почти как донос на изобилие: “Нет между ними ни сходищ народных, ни общих советов; / В темных пещерах они иль на горных вершинах высоких / Вольно живут; над женой и детьми безотчетно там каждый / Властвует, зная себя одного, о других не заботясь”²⁵. Это - в некотором смысле уже патриархальная родовая община, базирующаяся на угнетении физически более слабых, но еще не организованная в соответствии с критерием постоянной собственности и ее иерархией, и, собственно говоря, именно разобщенностью обитателей пещер мотивируется отсутствие у них объективного закона и, тем самым, гомеровский упрек во взаимном неуважении, в диком состоянии. При этом позднее в одном месте Опровергается прагматическая верность рассказчика его собственному цивилизованному приговору: на ужасный вопль ослеплен-

²² Согласно Виламовицу циклопы являются “настоящими животными”. (Glaube der Hellenen. Band I, S.14)

²³ Одиссея. IX, 106.

²⁴ Там же, 107-111.

²⁵ Там же, 113-115.

ного весь его клан, несмотря на все их неуважение друг к другу, сбегается ему на помощь, и только трюк с именем Одиссея удерживает глупцов от того, чтобы оказать содействие себе подобному.²⁶ Глупость и беззаконие выявляются тут в качестве тождественного определения: когда Гомер называет циклопа “без закона мыслящим чудовищем”,²⁷ то это означает не просто то, что его мышлению чуждо уважение к законам благонравия, но также и то, что само его мышление является беззаконным, несистематичным, рапсодическим постольку, поскольку он оказывается неспособным решить ту простую для буржуазного ума задачу, что его незваные гости могут ускользнуть из пещеры под брюхом овец, а не оседлав их, и не замечает софистической двусмысленности ложного имени Одиссея. Полифем, доверяющий могуществу бессмертных, тем не менее является людоедом, и этому соответствует то, что, несмотря на все его доверие к богам, он отказывает им в почтении: “Видно, что ты издалика иль вовсе безумен, пришелец, — а более поздние времена глупца от чужака отличали уже менее добросовестно и незнание обычая, равно как и всякую неосведомленность непосредственно клеймили в качестве глупости — “Если мог вздумать, что я побоюсь иль уважу бессмертных. / Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевсе, ни в прочих / Ваших блаженных богах; мы породой их всех знаменитей;”²⁸. “Знаменитей!” — иронизирует повествующий Одиссей. В виду же, пожалуй, имелось: древнее; власть соляной системы признается, но примерно таким же образом, каким феодал признает власть бюргерского богатства, в то же время втайне чувствуя себя более благородным и совершенно не осознавая того, что та несправедливость, которая была учинена над ним, одного пошиба с несправедливостью, выразителем интересов которой он является сам. Ближайшее божество, морской бог Посейдон, отец Полифема и враг Одиссея, древнее универсального, дистанцированного божества небес Зевса, и как бы на плечи субъекта перекладывается теперь вековая распря между народ-

²⁶ Ср. там же, 403 и сл. стр.

²⁷ Там же, 428.

²⁸ Там же, 273-276.

ной религией стихий и логоцентричной религией закона. Но живущий без закона Полифем - это не просто злодей, в которого его превращают табу цивилизации, выставляющие его этаким великаном-Голиафом в сказочном мире просвещенного детства. В той убогой области, в которой его самосохранение стало упорядоченным и приобрело характер привычки, он не испытывает недостатка в умиротворении. Когда он подкладывает сосунков своих овец и коз им под вымя, то здесь практическое действие включает в себя и заботу о самих тварях, а знаменитая речь ослепленного, обращенная к барану-вожаку стада, которого он называет своим другом и спрашивает, почему он на этот раз покидает пещеру последним и не опечалило ли его несчастье, постигшее его хозяина, трогает с такой силой, которая вновь достигается лишь в высочайшем месте "Одиссеи", в сцене узнавания вернувшегося домой старой собакой Аргусом - и это даже несмотря на ту отвратительную грубость, которой заканчивается эта речь. Поведение великана еще не объективировалось в характер. На обращенную к нему мольбу Одиссея он отвечает не просто вспышкой дикой ненависти, но всего лишь отказом подчиниться тому закону, которым он еще не вполне охвачен; он не желает пощадить Одиссея и его спутников: "поступлю я, как мне самому то угодно"²⁹, и действительно ли он, как то утверждает повествующий Одиссей, говорит это лукавая, остается открытым вопросом. Хвастливо-восторженно, как и всякий охмелевший, обещает он одарить Одиссея, гостя, подарками³⁰, и лишь то, что Одиссей представляется как Никто, наводит его на злую мысль возместить себе сделанный гостью подарок, съев предводителя последним - вероятно потому, что он назвал себя Никто и в силу этого не считается существующим слабым в остроумии циклопом.³¹ Физическая жестокость этого сверхсилача обусловлена его всякий раз переменчивой доверчивостью. Поэтому выполнение положений мифологического устава всегда становится беспра-

²⁹ Там же, 278.

³⁰ Ср. там же, 355 и сл. стр.

³¹ "Столь частая нелепость этого слабоумного наконец предстает в свете мертворожденного юмора". (Klages. Op. cit. S.1469).

вием по отношению к осужденному, бесправию даже по отношению к законам учреждающему природному насилию. Полифем и все иные чудовища, которых вокруг пальца обводит Одиссей, являются прототипами прогрессирующе глупого черта христианской эпохи вплоть до Шейлока и Мефистофеля. Глупость великана, субстанция его варварской жестокости до тех пор, пока у него все идет хорошо, олицетворяет собой нечто лучшее, лишь только ее ниспровергнет кто-то, должно быть, лучше соображающий. Одиссей втирается в доверие к Полифему и, тем самым, к представляемому им праву на человеческую плоть как добычу в полном соответствии с той схемой хитрости, которой, посредством соблюдения устава, последний в корне подрывается: “Выпей, циклоп, золотого вина, человечьим насытись / Мясом; узнаешь, какой драгоценный напиток на нашем / Был корабле;”³² - рекомендует культуриреггер.

Отождествление рации с его противоположностью, состоянием сознания, в котором еще не выкристаллизовалось никакой идентичности - его репрезентирует остолоп-великан - находит свое завершение, однако, в хитрости с именем. Она является составной частью широко распространенного фольклора. В древнегреческом здесь налицо игра слов; в слове, о котором идет речь, расходятся взрость имя - Одиссей - и интенция - никто. Слуху современного человека слова “Odysseus” и “Udeis” все еще кажутся сходными, и вполне можно себе представить, что в одном из тех диалектов, на которых из поколения в поколение передавалась история возвращения на родную Итаку, имя островного владыки действительно звучало одинаково со словом “никто”. Расчет, что после всего случившегося на вопрос своей родни о виновнике Полифем ответит: “Никто” и, таким образом, поможет сокрытию поступка, а виновнику - избежать преследования, производит впечатление слишком тонкой рационалистической оболочки. На самом же деле тут субъект Одиссей отрывается от собственной идентичности, делающей его субъектом, и сохраняет себе жизнь посредством мимикрии аморфному. Он называет себя Никто потому, что Полифем не является самостью, а

²⁹ Одиссея. IX, 347-349.

смещение имени и вещи лишает обманутого варвара возможности выскользнуть из западни: его зов в качестве призыва к возмездию остается магически связанным с именем того, кому он хочет отомстить, и именно это имя обрекает призыв на бессилие. Ибо вводя в имя интенцию, Одиссей тем самым изымает его из магического круга. Его самоутверждение тут, как и в эпосе в целом, как и во всей цивилизации, является самоотречением. Тем самым самость попадает как раз в тот принудительный круг природных связей, которого, посредством уподобления, она стремится избежать. Тот, кто ради самого себя называет себя никем и манипулирует уподоблением природному состоянию как средством господства над природой, становится жертвой Гюбрис. Хитроумный Одиссей не может поступить иначе: спасаясь бегством, все еще находясь в пределах досягаемости камнемечущих рук великана, он не только издевается над ним, но и открывает ему свое подлинное имя, равно как и свое происхождение, как если бы над ним, каждый раз только что как раз ускользнувшим, архаика все еще имела такую власть, что он, однажды назвавшись Никем, должен был бы бояться вновь стать никем, если только он не восстановит собственную идентичность, произнеся то магическое слово, которое как раз и заменила собой рациональная идентичность. Друзья пытаются удержать его от этой глупости - признаться в своей хитроумии, но им это не удастся, и с большим трудом удастся ему избежать каменных глыб, в то время как произнесение его имени, судя по всему, навлекает на него гнев Посейдона, которого едва ли можно представить себе всеведущим. Хитрость, состоящая в том, что умный надевает на себя личину глупца, оборачивается глупостью, лишь только он срывает с себя эту личину. Такова диалектика словоохотливости. Со времен античности вплоть до фашизма Гомера упрекали в болтовне, в болтливости как его героев, так и самого сказителя. Тем не менее по сравнению со спартанцами как былых времен, так и современности иониец пророчески выказал свое превосходство тем, что изобразил тот рок, который навлекает на хитреца, человека средства его речь. Речь, способная обмануть физическое насилие, не в состоянии сдержать самое себя. Как пародия сопровождает ее поток сознания, само мышление: чья непоколебимая автономия приобретает

элемент шутовства - нечто маниакальное - как только, посредством речи, вступает она в реальность, как если бы мышление и реальность были одного имени, в то время как ведь первое именно благодаря дистанции обладает властью над последней. Но эта дистанция в то же время является и страданием. Поэтому умный - вопреки пословице - всегда обуреваем искушением сказать слишком много. Им объективно руководит страх того, что если только он не будет беспрестанно отстаивать неустойчивое преимущество слова над насилием, последним он может быть вновь лишен этого преимущества. Ибо слову известно, что оно слабее обманутой им природы. Избыточное говорение позволяет высветить насилие и несправедливость в качестве первопринципа и побуждает того, кому следует бояться, именно к испуганным действиям. Мифическая принудительность слова, присущая архаической эпохе, увековечивается тем несчастьем, которое навлекает на самое себя слово просвещенное. Удеис, вынужденный признать себя Одиссеем, уже несет на себе черты того еврея, который даже под страхом смерти все еще кичится своим превосходством, ведущим происхождение от страха перед смертью, и месть человеку средства присуща не только концу буржуазного общества, а уже его началу в качестве той негативной утопии, к которой все вновь и вновь устремляется всякое насилие.

По сравнению с рассказом о бегстве из мифа как спасении от варварства людоеда, волшебная история о Кирке вновь отсылает к собственно магической стадии. Магия дезинтегрирует самость, которая вновь становится ее добычей и тем самым отбрасывается на более древний биологический уровень. Насилие осуществляемого ею распада вновь является насилием забвения. Твердым порядком времени захватывает оно твердую волю субъекта, ориентирующегося на этот порядок. Кирке соблазняет мужчин поддаться инстинкту, и с давних пор звериное обличье соблазненных связывается с этим ее деянием, а сама Кирке становится прототипом гетеры, каковой мотив наилучшим образом выражен, пожалуй, строфами Гермеса, приписывающими ей эротическую инициативу как нечто само собой разумеющееся: "в испуге / Станет на ложе с собою тебя призывать чародейка - / Ты не подумай

отречься от ложа богини”³³. Сигнатурой Кирке является двусмысленность, ибо в своих действиях она по очереди выступает то погубительницей, то спасительницей; двусмысленность задается уже самой ее родословной: она - дочь Гелиоса и внука Океана.³⁴ Нераздельны в ней стихии огня и воды, и именно эта нераздельность, являющаяся противоположностью примата одного определенного природного аспекта - будь то материнского, будь то патриархального, - составляет сущность промискуитета, гетерического, все еще просвечивающего во взгляде девки, этом влажном отблеске созвездий.³⁵ Гетера дарует счастье и разрушает автономию очастливленного, именно в этом ее двусмысленность. Но она не обязательно уничтожает его: ею сохраняется более древняя форма жизни.³⁶ Подобно лотофагам Кирке не причиняет своим гостям ничего смертоносного, и даже те, кто становятся дикими зверьми, миролюбивы: “Около доматолпилися горные львы и лесные / Волки: питьем очарованным их укротила Цирцея. / Вместо того чтоб напасть на пришельцев, они подбежали / К ним миролюбно и, их окруживши, махали хвостами. / Как к своему господину, хвостами махая, собаки / Ластятся - им же всегда он приносит остатки обеда, - / Так остролапые львы и шершавые волки к пришельцам / Ластились.”³⁷ Заколдованные люди ведут себя подобно диким зверям, слушающим игру Орфея. Мифическое колдовство, жертвой которого они стали, возвращает в то же время и свободу подавленной в них природе. То, что отменяется рецидивом их грехопадения в миф, само есть миф. Подавление инстинкта, делающее их самостью и отделяющее их от животного, является интроверсией подавления, осуществляемого безнадежно замкнутым круговоротом природы, на что намекает, согласно более ранней трактовке, само имя Кирке. Зато насильственное волшебство, на-

³³ Там же, X, 296/7.

³⁴ Ср. там же, 138 и сл. стр. Ср. также F.C.Bauer. *Symbolik und Mythologie*. Stuttgart 1824, Band I, S.47.

³⁵ Ср. Baudelaire. *Le vin du solitaire. Les fleurs du mal*.

³⁶ Ср. J.A.K.Thomson. *Studies in the Odyssey*. Oxford 1914, S.153.

³⁷ *Одиссея*, X, 212-217.

поминающее им об идеализированной праистории совместно со звероподобием, как, впрочем, и идиллия лотофагов, создает, сколько бы ни смущалось оно самого себя, видимость умиротворения. Но так как они однажды уже были людьми, цивилизаторная эпопея не способна изобразить с ними случившееся иначе, чем представив его в виде губительного падения, и едва ли где-либо еще в гомеровском изложении можно заметить хотя бы след вожделения как такового. Оно погашается тем настойчивее, чем более цивилизованными являются сами его жертвы.³⁸ Спутники Одиссея превращаются не подобно предыдущим гостям в священные творения дикой природы, а - в нечистых домашних животных, в свиней. Возможно, к истории о Кирке примешалась память о хтоническом культе Деметры, в котором свинья была священным животным.³⁹ Но также возможно, что мысль о человекоподобной анатомии свиньи и ее наготы является мыслью, объясняющей этот мотив: как если бы ионийцы налагали на смешение с подобным такое же табу, которое сохраняется среди евреев. Наконец, можно подумать и о запрете на каннибализм, ибо, вполне как у Ювенала, вкус человеческого мяса снова и снова описывается тут как сходный со вкусом мяса свиньи. Как бы то ни было, впоследствии любая цивилизация предпочитала называть свиньями тех, чей инстинкт вспоминает об ином вожделении, нежели то, что санкционируется обществом во имя его собственных целей. Заколдовывание и расколдовывание в ходе превращения спутников Одиссея связано с травой и вином, опьянение и протрезвление - с обонянием, всегда более других подавляемым и вытесняемым чувством, наиболее близким как полу, так и памятованию об архаических временах.⁴⁰ Но образом свиньи счастье обоняния обезображено и превращено в грязное вынюхивание⁴¹ того, чей нос находится на уровне земли,

³⁸ Мюррей говорит о "сексуальной подчистке", которой подверглись гомеровские поэмы при редакции. (Ср. Op.cit. S.141 ff.)

³⁹ "Свиньи вообще являются жертвенными животными Деметры" (Wilamowitz-Moellendorf. Der Glaube der Hellenen. Band II, S.53.)

⁴⁰ Ср. Freud. "Das Unbehagen in der Kultur". In: Gesammelte Werke. Band XIV, Frankfurt am Main⁴ 1968, S.459 Fussnote.

⁴¹ В одном из примечаний Виламовица неожиданным образом указывается

того, кто отказывается от прямохождения. Все выглядит так, как если бы колдунья-гетера тем ритуалом, которым она подчиняет себе мужчин, снова повторяла ритуал, которому патриархальное общество вновь и вновь подчиняет самое себя. Подобно ей, склоняются под нажимом цивилизации женщины, прежде всего, к тому, чтобы усвоить цивилизаторный приговор, вынесенный женщине, и диффамировать секс. В споре Просвещения с мифом, следы которого хранит эпопея, могущественная искусительница в то же время оказывается и слабой, устаревшей, уязвимой, нуждающейся в эскорте закабаленных ею зверей.⁴² В качестве репрезентантки природы женщина в буржуазном обществе становится загадочным образом неотразимости⁴³ и бессилия. Так отражается ею тщеславная ложь господства, которой примирение с природой замещается преодолением ее.

Брак является тем срединным путем общества, посредством которого оно мирится с этим: жена остается бессильной, между тем как власть достается ей лишь опосредованно, через мужа. Нечто от этого проглядывает в поражении гетерической богини “Одиссеи”, в то время как развитой брак с Пенелопой, литературно более ранний, репрезентирует более позднюю ступень объективности патриархальных устоев. С вступлением Одиссея на Эю двусмысленность страсти и запрета, содержащаяся в отношении мужа к жене, приобретает уже форму охраняемого контрактом обмена. Тому предпосылкой является отказ, самоотречение. Одиссей устоял перед волшебством Кирке. Именно поэтому ему достается то, что ее чары лишь обманчиво обещали тем, кто не сумел устоять перед ней. Одиссей спит с ней. Но прежде того он заставляет ее поклясться величайшей клятвой блаженных, олимпийской

на связь между понятиями вынюхивания и ποοs'а, автономного разума: “Швицер вполне убедительно связывает ποοs с сопением и разноухиванием.” (Wilamowitz-Moellendorf. Die Heimkehr des Odysseus. S.191.) Правда, Виламовицем оспаривается то, что это этимологическое родство может иметь какие бы то ни было последствия для значения данного слова.

⁴² Ср. Одиссея. X, 434.

⁴³ Позднее это сознание неотразимости нашло свое выражение в культуре Афродиты, “чи чары не терпят отказа” (Wilamowitz-Moellendorf. Der Glaube der Hellenen. Band II, S.I 52.)

клятвой. Клятва должна защитить мужчину от порчи, от мести за нарушение запрета на промискуитет и за его мужское господство, каковые в свою очередь, в качестве перманентного подавления инстинкта, все еще символически осуществляются самоизуродованием мужчины. Тому, кто устоял перед ней, господину, самости, кому из-за его непревращаемости Кирке бросает упрек: "Сердце железное бьется в груди у тебя"⁴⁴, готова покориться Кирке: "Вдвинь же в ножны медноострый свой меч и со мною / Ложе мое раздели: сочетавшись любовью на сладком / Ложе, друг другу доверчиво сердце свое мы откроем"⁴⁵. За то наслаждение, которое она дарует, она назначает цену, в соответствии с которой наслаждение пренебрежительно отвергается; последняя гетера на деле оказывается первым женским характером. При переходе от саги к истории она вносит решающий вклад в процесс формирования буржуазной холодности. Своим поведением она практикует запрет на любовь, который впоследствии осуществлялся тем решительнее, чем в больший обман должна была вводить любовь как идеология ненависти конкурента. В мире меновых отношений несправедлив тот, кто дает больше; но любящий всегда оказывается более любящим. И в то время как жертва, которую он приносит, прославляется, ревниво следится за тем, чтобы любящий не был избавлен от жертвы. Именно в самой своей любви любящий объявляется несправедливым и карается за это. Неспособность к господству над самим собой и другими, удостоверяемая его любовью, является достаточным основанием для того, чтобы отказать ему в исполненности. Вместе с воспроизводством общества расширяется воспроизводство одиночества. Даже в нежнейших разветвлениях чувства продолжает одерживать верх механицизм, до тех пор пока сама любовь, чтобы вообще суметь найти путь к другому, не понуждается к холодности настолько, что полностью разрушается как нечто осуществимое в действительности. – Сила Кирке, подчиняющей себе мужчин в качестве кабаньих от нее зависимых, переходит в ее кабанью зависимость по отношению к тому, кто, в качестве отказавше-

⁴⁴ Одиссея. X, 329.

⁴⁵ Там же, 333-335.

гося, своим непокорством заявил ей о неподчинении порабощению. То влияние на природу, которое поэт приписывает богине Кирке, съезжается до размеров жреческого прорицания и даже до мудрого провидения грядущих трудностей в области мореходства. Это продолжает свою жизнь в карикатурном образе женской мудрости. Ведь прорицания депотенцированной колдуньи о сиренах, Сцилле и Харибде в конечном итоге опять-таки идут на пользу лишь мужскому самосохранению.

Однако завесу над тем, сколь дорого обходится установление упорядоченных отношений между полами, лишь слегка приподымают те темные строфы, в которых описывается поведение друзей Одиссея, превращаемых Кирке обратно в людей по требованию ее, в соответствии с договором, повелителя. Сначала говорится: "Прежний свой вид возвратив, во мгновенье все стали моложе, / Силами крепче, красивой лицом и возвышенной станом;"⁴⁶. Но будучи таким вот образом удостоверенными и утвержденными в их мужественности, они не счастливы: "потом зарыдали от скорби; их воплем / Дом огласился"⁴⁷. Так могла звучать самая древняя свадебная песнь, сопровождающая трапезу, которой празднуется рудиментарный брак, длящийся один год. Настоящий брак, брак с Пенелопой, имеет с ним гораздо больше общего, чем можно было бы предположить. Девка и супруга комплементарны друг другу как аспекты женского самоотчуждения в патриархальном мире: супруга выражает стремление к твердому порядку в жизни и имуществе, в то время как девка в качестве ее тайной союзницы в свою очередь подчиняет имущественным отношениям то, что оставляется вакантным имущественными правами супруги, и торгует похотью. Кирке, как и развратница Калипсо, подобно мифическим силам судьбы⁴⁸ и буржуазным домашним хозяйкам, выведены тут в качестве прилежных ткачих, в то время как Пенелопа, подобно девке, недоверчиво оценивает вернувшегося домой: не является ли он в действительности всего

⁴⁶ Там же, 395-396.

⁴⁷ Там же, 398-399.

⁴⁸ Ср. Bauer. Op.cit., Ibid. und S.49.

лишь стариком-нищим или уж вовсе ищущим приключений божеством. Столь превозносимая сцена узнавания Одиссея конечно патрицианского сорта: “Долго в молчанье сидела она; в ней тревожилось сердце; / То, на него подымая глаза, убеждалась, что вправду / Он перед ней; то противное мыслила, в рубище жалком / Видя его”⁴⁹. У нее не возникает никакого спонтанного побуждения, она стремится всего лишь не совершить ошибки, что вряд ли позволительно под давлением тяготеющего над нею порядка. Юный Телемах, еще не вполне приноровившийся к своему будущему положению, раздражен этим, но все же чувствует себя уже достаточно мужчиной, чтобы поставить мать на место. Упрек в упрямстве и черствости, который он бросает ей, это именно тот же самый упрек, который ранее был сделан Одиссеем Кирке. И если гетера всего лишь осваивает патриархальный миропорядок как свой собственный, то моногамная супруга не довольствуется этим и не успокоится до тех пор, пока не сравняется с самим мужским характером. Так достигают взаимопонимания замужние с женатыми. Содержанием испытания, которому она подвергает вернувшегося домой, является незыблемое местоположение супружеского ложа, устроенного супругом в юности на пне оливкового дерева, этого символа единства пола и имущественного владения. С умиленным лукавством заводит она об этом речь, как если бы это ложе могло быть передвинуто со своего места, и, “полон негодования”, отвечает ей супруг обстоятельным рассказом о своей добротной любительско-ремесленной поделке: как у прототипичного бургера у него, ловкача, имеется хобби. Оно состоит в воспроизведении того ремесленного труда, из которого в рамках дифференцированных отношений собственности он с необходимостью давным-давно был изъят. Он радуется этому труду, потому что свобода делать что-то для него излишне ненужное утверждает его в его праве распоряжаться теми, кто вынужден заниматься этим трудом под страхом смерти. По этому опознает его чуткая Пенелопа и льстит ему, воздавая хвалу его исключительному рассудку. Но к самой этой лести, в которой уже кроется что-то от насмешки, добавляются, пробиваясь во

⁴⁹ Одиссея. XXIII, 93-96.

внезапной цезуре, те слова, которыми причина страданий супругов отыскивается в зависти богов к тому счастью, которое гарантируется лишь браком, к “удостоверенной идее длительности”⁵⁰: “На скорбь осудили нас боги; / Было богам неуютно, чтоб, сладкую молодость нашу / Вместе вкусив, мы спокойно дошли до порога веселой / Старости.”⁵¹ Брак означает не просто вознаграждаемое упорядочивание проживаемого, но также и: солидарно, сообща противостоять смерти. Примирение в нем растет в обмен на подчинение, подобно тому, как до сих пор в истории гуманное всегда процветало лишь за счет варварского, тщательно скрываемого гуманностью. И если договор между супругами с большим трудом добывается уступок как раз только со стороны древнейшей вражды, то тогда мирно стареющие все же исчезают в образе Филимона и Бавкиды, подобно тому, как превращается в благотворный чад домашнего очага дым жертвенного алтаря. Вероятнее всего, брак относится к коренной породе мифа в основании цивилизации. Но его мифическая твердость и прочность возвышаются над мифом подобно тому, как возвышается над беспредельным морем маленькое островное царство.

Конечной станцией скитаний в собственном смысле слова никоим образом не являются убежища подобного рода. Таковой является станция Гадеса. Образы, которые созерцает наш искатель приключений в первой *Nequia*, являются преимущественно теми матриархальными⁵² образами, которые изгоняются религией света: вслед за матерью, в противоположность которой Одиссей принуждает себя к патриархальной целесообразной суровости⁵³, древнейшие героини. Тем не менее образ матери бессилен, слеп и безгласен⁵⁴, он - фантом, равно как и эпическое

⁵⁰ Goethe; Wilhelm Meisters Lehrjahre. Jubilaeumsausgabe. Stuttgart und Berlin, o.J., Band I, 16. Kapitel, S.70.

⁵¹ Одиссея, XXIII, 210-213.

⁵² Ср. Thomson. Op.cit., S.28.

⁵³ “Я заплакал, печаль мне протиснула в душу; / Но и ее, сколь ни тяжко то было душе, не пустил я / К крови: мне не дал ответа еще прорицатель Тиресий.” (Одиссея, XI, 87-89.)

⁵⁴ “Матери милой я вижу отшедшую душу; близ крови / Тихо сидит неподвижная тень и как будто не смеет / Сыну в лицо поглядеть и зависть разговор с

повествование в тех его моментах, в которых оно во имя образа отрекается от языка. Требуется жертвенная кровь живого воспоминания для того, чтобы надеть образ языком, при посредстве которого он, оставаясь все-таки тщетным и эфемерным, вырывает себя из мифической немоты. Лишь благодаря тому, что субъективность, познавая ничтожность образов, овладевает самой собой, она обретает, отчасти, ту надежду, которую напрасно обещают ей образы. Обетованная земля Одиссея - это не архаическое царство образов. Все эти образы как тени мира мертвых открывают в конечном итоге ему свою истинную сущность - то, что они являются видимостью. Он становится свободным от них после того, как однажды опознает их в качестве мертвых и с барским жестом сохраняющего самого себя отказывает им в той жертве, которую он отныне приносит только тем, кто предоставляет ему знание, полезное его жизни, в котором власть мифа утверждает себя уже только имагинативно, будучи пересаженной в дух. Царство мертвых, где собраны депотенцированные мифы, бесконечно отдалено от родины. Лишь в самой отдаленной дали коммуницирует оно с ней. Если следовать Кирхоффу в предположении, что посещение Одиссеем загробного мира относится к самому древнему, собственно былинному слою эпоса⁵⁵, то этот древнейший его слой в то же время является тем, в котором - точно так же, как в предании о путешествиях в загробный мир Орфея и Геракла - по меньшей мере, одна черта самым решительным образом выходит за пределы мифа, как, например, представляющий собой центральную клетку всякой антимифологической мысли мотив взламывания врат ада, упразднения смерти. Этот антимифологизм содержится и в пророчестве Тиресия о возможном умиротворении Посейдона. Неся

ним. Скажи мне, / Старец, как сделать, чтоб мертвая сына живого узнала?" (Там же, 141-144.)

⁵⁵ "Поэтому я не могу не считать одиннадцатую книгу за исключением некоторых мест ...лишь изменившим свое местоположение фрагментом древнего *postos* и, таким образом, древнейшей части этого поэтического произведения." (Kirchhoff. *Die homerische Odyssee*. Berlin, 1879. S.226.) - "Что бы ни было еще оригинального в мифе об Одиссее, таковым, бесспорно, является посещение загробного мира." (Thomson. *Op.cit.*, S.95.)

на плече весло, надлежит странствовать и странствовать Одиссею, пока он не встретит людей, “Моря не знающих, пищи своей никогда не солящих”⁵⁶. Когда ему встретится путник и скажет, что он несет на плече лопату, то тем самым будет достигнуто правильное место для того, чтобы принести Посейдону умиротворяющую жертву. Сутью прорицания является ошибочное признание весла за лопату. В глазах ионийца все это должно было выглядеть в высшей степени комичным. Но этот комизм, в зависимость от которого поставлено само примирение, предназначен не человеку, а разгневанному Посейдону.⁵⁷ Недоразумение должно рассмешить свирепого бога морской стихии, чтобы в его смехе растаял его гнев. Что является аналогом совета соседки у братьев Grimm, как матери избавиться от ребенка-уродца: “Ей нужно принести уродца в кухню, посадить на плиту, развести огонь и вскипятить воду в двух яичных скорлупках: это рассмешит уродца, и как только он засмеется, с ним будет покончено”⁵⁸. И если смех и по сей день считается признаком силы, вспышкой слепой ожесточенной природы, то все же он несет в себе и противоположный элемент, а именно тот, что как раз в смехе слепая природа узнает самое себя в качестве таковой и тем самым отр-

⁵⁶ Одиссея, XI, 123.

⁵⁷ Первоначально он был “супругом Земли” (Ср. Wilamowitz. *Glaube der Hellenen*. Band I, S. 112 ff.) и лишь позднее стал морским божеством. Возможно, пророчество Тиресия содержит в себе намек на эту его двойную сущность. Вполне допустимо, что умиротворение его посредством жертвы землес, приносимой вдали ото всякого моря, сопряжено с символической реставрацией его хтонической силы. Эта реставрация, возможно, выражает собой замену морских путешествий и поисках добычи землепашеством: культы Посейдона и Деметры переходят друг в друга. (Ср. Thomson. *Op. cit.*, S.96, сноска.)

⁵⁸ Brueder Grimm. *Kinder- und Hausmaerchen*. Leipzig, o. J., S.208. Близко родственные данному мотивы восходят к преданиям античности, и притом именно к таковым о Деметре. Когда последняя “в поисках похищенной дочери отправилась в Элевсин”, она нашла “приют у Дисавла и его жены Баубо, однако отказалась, пребывая в глубокой скорби, прикоснуться к еде и питию. Тогда хозяйка Баубо рассмешила ее тем, что неожиданно задрала на себе платье и обнажила свое тело.” (Freud. *Gesammelte Werke*. Band X, S.399. Ср. Salomon Reinach. *Cultes, Mythes et Religions*. Paris 1912, Band IV, S. 115 ff.)

кается от разрушительного насилия. Эта двусмысленность смеха близка двусмысленности имени, и, быть может, имена являются не чем иным, как окаменевшим хохотом, точно так же, как сегодня им все еще являются клички, единственное, в чем еще продолжает жить нечто от изначального акта именованья. Смех - это заклятье вины субъективности, но той временной приостановкой прав, о которой он заявляет; указывает он и на нечто, лежащее за пределами коллизии. Он предвещает путь к родине. Тоска по родине высвобождает ту авантюру, посредством которой субъективность, протоистория которой дается "Одиссеей", выскальзывает из праисторического мира. В том, что понятие родины противостоит мифу, который фашисты хотели бы лживо перелицевать в родину, и заключается глубочайшая парадоксальность эпопеи. В ней находит свое выражение историческая память, которой оседлость, предпосылка любой родины, учреждается в качестве приемницы номадической эпохи. И если непоколебимый порядок собственности, который дается оседлостью, является основой отчуждения человека, которым порождается любая ностальгия и тоска по утраченному первобытному состоянию, то, тем не менее, все же именно оседлость и прочная собственность, в условиях которой лишь и образуется понятие родины, являются тем, на что обращена любая тоска и любая ностальгия. Дефиниция Новалиса, в соответствии с которой вся философия есть ностальгия, правомерна лишь постольку, поскольку эта ностальгия не поглощается фантазмами утерянной древности, но представляет себе родину, саму природу в качестве сперва отнятой силой у мифа. Родина - это в-выскользнутости-бытие. Поэтому упрек в том, что гомеровские сказания "возносятся над землей", является порукой их истинности. "Они обращаются к человечеству"⁵⁹. Пересадка мифов в роман так, как она осуществляется в приключенческом повествовании, не столько фальсифицирует их, сколько увлекает миф во временной поток, тем самым раскрывая бездну, которая отделяет его от родины и примирения. Ужасна та месть, на которую цивилизацией обрекается первобытный мир, и в этой мести, наимомерзительнейшее свидетельство которой встре-

⁵⁹ Hoelderlin. Der Herbst. Op. cit. S.1066.

чается у Гомера в отчете об изувечивании пастуха Меланфия, она уподобляется самому этому первобытному миру. То, благодаря чему она возвышается над ним, никоим образом не есть содержание рассказанных деяний. Это - самоосознание, позволяющее прервать насилие в момент рассказа. Сама речь, язык в противоположность мифическому пению - вот что является законом гомеровского выскользновения. Вовсе не случайно им вновь и вновь вводится в качестве рассказчика ускользящий герой. Лишь холодная дистанция рассказа, который даже об ужасном повествует так, как если бы оно было предназначено для развлечения, позволяет в то же время выявить себя тому ужасу, который в песнопении торжественно сплетался с судьбой. Но приостановка насилия в речи является в то же время и цезурой, превращением рассказанного в нечто давным-давно прошедшее, благодаря чему просверкивает тот отблеск свободы, который цивилизации с той поры уже более не удалось полностью погасить. В XXII песне "Одиссеи" описано наказание, которому повелевает подвергнуть неверных слуганок, впавших в гетеризм, сын островного владыки. С невозмутимым хладнокровием, по своей бесчеловечности сравнимом разве что с *impassibilit e* великих рассказчиков девятнадцатого столетия, изображена тут участь казнимых, невыразительно уподобляемая смерти птиц в сетях, что сопровождается тем безмолвием, оцепенелость которого представляет собой подлинный остаток всякой речи. Им завершается строфа, повествующая, что повешенные друг подле друга "немного подергав ногами, все разом утихли"⁶⁰. С тщательностью, от которой веет холодом анатомирования и вивисекции⁶¹, ведется тут рассказчиком протокол конвульсий казнимых, низвергаемых во имя правопорядка и законности в тот мир, откуда невредимым возвратился их судия Одиссей. Как бюргер, размышляющий о казни, Гомер утешает и себя и

⁶⁰ Одиссея, XXII, 473.

⁶¹ Виламович полагает, что эта расправа "изображается поэтом с удовольствием". (*Die Heimkehr des Odysseus*. S.67.) Но если сей авторитетный филолог способен восхищаться тем, что сравнение с силками "превосходно и ...по-современному передает то, как, болтаясь, раскачивались трупы повешенных слуганок", то, судя по всему, это удовольствие по большей части является его соб-

своих слушателей, являющихся, собственно говоря, читателями, уверенно констатируя, что это длилось недолго, всего лишь одно мгновение - и все было кончено.⁶² Однако после этого “не долго” останавливается внутренний поток повествования. Не долго? - вопрошает жест рассказчика и уличает свою безучастность во лжи. Приостанавливая повествование, жест этот препятствует тому, чтобы казненные были забыты, и раскрывает неизъяснимую бесконечную муку той единственной секунды, в течение которой служанки борются со смертью. В качестве эхо от Не Долго не остается ничего, кроме *Quo usque tandem*, оскверняемого позднее как ни в чем не бывало риториками, тем самым приписывавшими самим себе снисходительность. В рассказе об этом злодеянии, однако, надежда связана с тем, что это случилось уже давным-давно. Для конфликта праисторических времен, варварства и культуры у Гомера имеется утешительная присказка-памятование: В некотором царстве, в некотором государстве жили-были... Лишь как роман превращается эпос в сказку.

ственным. Сочинения Виламовица относятся к числу убедительнейших свидетельств чисто немецкого скрещивания варварства и культуры. Оно покоится на прочном фундаменте новейшего филэллинизма.

⁶² На утешительную интенцию стиха обращает внимание Гильберт Мюррей. Согласно его теории цивилизаторной цензурой сцены пыток были изъяты из Гомера. Остались лишь сцены смерти Меланфия и служанок. (Op. cit. S. 146.)

ЭКСКУРС II

Жюльетта или просвещение и мораль

Просвещение, по словам Канта, есть “выход человека из состояния несовершеннолетия, виновником которого является он сам. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без чьего-либо руководства”¹. “Рассудок без чьего-либо руководства” есть руководимый разумом рассудок. Это означает не что иное, как то, что разрозненные знания объединяются им в силу его собственной последовательности. “Разум имеет ...в качестве предмета только рассудок и его целесообразное устройство”². Он учреждает “известное коллективное единство в целях рассудочных действий”³, и именно оно является системой. Его предписания являются инструкциями для иерархизированной структуры понятий. Для Канта, ничуть не иначе, чем для Лейбница и Декарта, рациональность состоит в том, “что как восхождением к высшим родам, так и нисхождением к низшим видам завершается систематическая связность”⁴. “Систематичность” познания есть “связность такового исходя из единого принципа”⁵. Мышление в просвещенческом смысле есть деятельность по установлению единообразного, научного порядка и выводу фактического знания из принципов, как

¹Kant. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklaerung? Kants Werke. Akademie-Ausgabe. Band VIII. S.35.

²Kritik der reinen Vernunft. Ibid., Band III, (2. Aufl.), S..427.

³Ibid..

⁴Ibid., S.435f.

⁵Ibid., S.428.

бы таковые ни толковались: как произвольно устанавливаемые аксиомы, как врожденные идеи или предельные абстракции. Логическими законами устанавливаются самые общие зависимости внутри данного порядка, ими он определяется. Единство заключено в единогласии. Закон противоречия является системой *in puse*. Познание состоит в подведении под принципы. Оно едино с тем суждением, которое включено в состав системы в качестве ее звена. Мышление иное, чем руководствующееся системой, либо бесперспективно, либо авторитарно. Разумом не привносится ничего, кроме идеи систематического единства, кроме формальных элементов жесткой понятийной связности. Любая содержательная цель, на которую люди могли бы попытаться сослаться как на некое воззрение разума, в строгом смысле является для Просвещения иллюзией, ложью, “рационализацией”, сколько бы ни прилагали отдельные философы величайших усилий к тому, чтобы связать эту последовательность с чувством человеколюбия. Разум есть “способность ...выводить особенное из всеобщего”⁶. Гомогенность всеобщего и особенного гарантируется, согласно Канту, “схематизмом чистого рассудка”. Так называется тут бессознательное действие интеллектуального механизма, структурирующего восприятие уже в соответствии с рассудком. Рассудком отштамповывается понятность вещи, обнаруживаемая в ней субъективным суждением, в качестве ее объективного качества еще до того, как она входит в Я. Без такого рода схематизма, одним словом, без интеллектуальности восприятия ни одно впечатление не соответствовало бы понятию, ни одна категория не соответствовала бы экземпляру, никогда бы дело не дошло до воцарения единства мышления, не говоря уже о таковом системы, а ведь именно на него нацелено тут все. Установить это единство является осознанной задачей науки. Если “все эмпирические законы ...суть только частные определения чистых законов рассудка”⁷, то исследование постоянно должно следить за тем, чтобы принципы оставались правильно связанными с фактическими суждениями. “Эта гармония природы с нашей познавательной способностью ...а priori

⁶ Ibid., S.429.

⁷ Ibid., Band IV (1. Aufl.), S.93.

предполагается нашей способностью суждения”⁸. Она является “путеводной нитью”⁹ организованного опыта.

Система должна удерживаться в гармонии с природой; система должна предсказывать факты, а факты должны подтверждать ее. Но факты относятся к сфере практики; повсеместно ими обозначается контакт единичного субъекта с природой как социальным объектом: опыт в каждом случае является реальным действием и страданием. В физике, правда, те ощущения, посредством которых можно проверить какую-либо теорию, обычно редуцируются к электрическим искрам, вспыхивающим в экспериментальной аппаратуре. Отсутствие таковых не ведет, как правило, к каким бы то ни было практическим следствиям, оно разрушает всего-навсего какую-нибудь одну теорию или, в крайнем случае, карьеру ассистента, в обязанности которого входило следить за порядком эксперимента. Лабораторные условия, однако, являются исключением. Мышление, не согласовывающее систему с созерцанием, допускает погрешность по отношению к чему-то большему, чем отдельно взятые зрительные впечатления, оно вступает в конфликт с реальной практикой. Здесь не только отсутствует ожидаемое событие, но происходит и неожиданное: обрушивается мост, гибнет государство, калечит медицина. Искра, наиболее выразительным образом свидетельствующая о дефиците систематического мышления, о нарушении принципов логики, оказывается не мимолетным ощущением, но внезапной смертью. Система, которую имеет в виду Просвещение, это такой вид познания, который наилучшим образом разделяется с фактами, который оказывает наиболее эффективную поддержку субъекту в деле обуздания им природы. Принципами такого рода познания являются принципы самосохранения. Несовершеннолетие выказывает себя как неспособность сохранять самое себя. Бюргер, последовательно принимающий сменяющие друг друга обличья рабовладельца, свободного предпринимателя, администратора, является логическим субъектом этого Просвещения.

⁸ Kritik der Urteilskraft. Ibid., Band V, S.185.

⁹ Ibid.

Затруднения с понятием разума, возникающие из-за того, что его субъекты, носители одного и того же разума, находятся друг к другу в отношении реальной оппозиции, спрятаны в западноевропейском Просвещении за мнимой ясностью его суждений. Зато, напротив, в критике чистого разума они находят свое выражение в туманном соотношении трансцендентального Я с Я эмпирическим и в других непримиренных противоречиях. Понятия Канта двусмысленны. Понятие разума в качестве трансцендентального сверх-индивидуального Я содержит в себе идею свободной совместной жизни людей, реализуя которую они организуются во всеобщий субъект и ликвидируют разногласия, существующие между чистым и эмпирическим разумом, в сознательной солидарности общего дела. Свободная совместная жизнь изображает собой идею истинной всеобщности, утопию. В то же самое время разумом учреждается инстанция калькулирующего мышления, подлаживающего мир под цели самосохранения и не знающего никаких иных функций, кроме препарирования предмета, превращения его из чувственного материала в материал порабощаемый. Подлинная природа схематизма, наружно согласовывающего общее и особенное, понятие и единичный случай, в нынешней науке, наконец, обнаруживает себя в качестве интереса индустриального общества. Бытие рассматривается тут под углом зрения его переработки и управления им. Все здесь становится воспроизводимым, заменимым процессом, просто примером для понятийной модели системы, в том числе - отдельный человек, не говоря уже о животном. Конфликт между административной, овеществляющей наукой, между духом общества и опытом отдельного человека всякий раз предотвращается исходя из обстоятельств. Чувства оказываются определенными понятийным аппаратом всякий раз еще прежде, чем имеет место восприятие, бургер а ргіогі видит мир в качестве материала, из которого он его себе изготавливает. Кант интуитивно предвосхитил то, что сознательно осуществить в действительности удалось лишь Голливуду: уже в процессе их производства образы предцензурируются сообразно стандартам того рассудка, в соответствии с которым они затем и должны быть увидены. Восприятие, посредством которого обнаруживает себя удостоверенным суждение общественно-

сти, было уже обработано им еще до того, как оно возникло. И если потаенная утопия в понятии разума проглядывала сквозь случайные различия субъектов в отношении их вытесненного идентичного интереса, то разумом, функционирующим в упряжке целей лишь только в качестве систематической науки, идентичный интерес уравнивается именно с различиями. Он не признает никаких иных определений, кроме классификации общественного функционирования. Никто не является чем-то иным, кроме как тем, чем он стал: полезным, добившимся успеха, пропавшим членом профессиональной или национальной группы. Он есть не что иное, как произвольно взятый репрезентант своего географического, психологического, социологического типа. Логика демократична, в ней великие перед малыми мира сего не имеют преимуществ. Первые относятся к видным деятелям, тогда как вторые - к перспективным объектам попечения об общественном благе. Наука в целом относится к природе и человеку ничуть не иначе, чем, в частности, наука страхового дела к жизни и смерти. Кто умирает - безразлично, важно лишь соотношение числа инцидентов с обязательствами компании. Закон больших чисел, а не единичности является определяющим в этой формуле. Таким же образом и согласование всеобщего и особенного уже более не сокрыто в интеллекте, воспринимающем особенное как всего лишь случай всеобщего и всеобщее как всего лишь сторону особенного, с которой оно позволяет себя постичь и им воспользоваться. Самой науке не присуще осознание себя самой, она представляет собой инструмент. Но Просвещение является философией, отождествляющей истину с научной системой. Попытка обоснования этой идентичности, предпринятая Кантом из философских побуждений, привела к понятиям, не имеющим никакого научного смысла потому, что бы не являются просто лишь инструкциями по манипуляции в соответствии с правилами игры. Понятие самопонимания науки находится в противоречии с понятием самой науки. Творчество Канта трансцендирует опыт как одно лишь простое оперирование, почему и отрицается сегодня Просвещением в полном соответствии с кантовскими собственными принципами в качестве догматического. При посредстве успешно осуществленного Кантом утверждения научной сис-

темы в качестве формы истины мысль удостоверяется в своей собственной ничтожности, ибо наука есть не что иное, как технический навык, столь же далекий от рефлексии и от своих собственных целей, как и иные виды труда под гнетом системы.

Моральные учения Просвещения свидетельствуют об обреченном на неудачу стремлении отыскать, взамен утратившей свое влияние религии, некую интеллектуальную опору, позволяющую выстоять в обществе, когда уже не действует интерес. На практике философы как истинные бюргеры вступали в сговор с властями, их теориями осуждаемыми. Теории последовательны и строги, моральные учения являются пропагандистскими и сентиментальными даже там, где они звучат ригористично, или же представляют собой насильственный акт, руководствующийся сознанием невыводимости именно самой морали, как, например, кантовский рекурс к нравственным силам как к факту. Его отважная попытка вывести обязанность взаимного уважения из закона разума, даже еще более осмотрительная, чем вся западная философия, не находит никакой опоры в "Критиках". Это вполне обычная попытка буржуазного мышления обосновать предупредительное отношение, без которого не может существовать цивилизация, иначе, чем через материальный интерес и насилие, утонченная и парадоксальная как ни одна из ей предшествовавших и эфемерная, как и все они. Бюргер, который, руководствуясь кантовским мотивом уважения к одной лишь форме закона, упустил бы свою выгоду, был бы не просвещенным, но суеверным - глупцом. Кантовский оптимизм, в соответствии с которым моральное действие разумно даже там, где наличествуют изрядно низкие намерения, коренится в ужасе перед возвратом к варварству. Лишись мы, пишет Кант, присоединяясь к Галлеру,¹⁰ хоть одной из этих величайших нравственных сил, сил взаимной любви и уважения, "то в таком случае разверстая бездна ничто (имморальности) поглотила бы все царство (морального) существования подобно капле воды". Но нравственные силы, согласно Канту, ведь ничуть не в меньшей степени являются нейтральными побуждениями и способами поведения перед

¹⁰ *Metaphysische Anfaenge der Tugendlehre. Ibid., Band VI, S.449.*

лицом научного разума, чем безнравственные, в которые они тотчас же и превращаются, когда направлены не на вышеуказанную скрытую возможность, а на примирение с властью. Различие изгоняется Просвещением из теории. Оно рассматривает страсти “*ac si quaestio de lineis, planis aut de corporibus esset*”¹¹. Тоталитарный порядок принимает тем самым серьезный оборот. Будучи освобожденным от контроля со стороны своего собственного класса, удерживавшего дельца девятнадцатого столетия в пределах кантовского взаимоуважения и взаимной любви, фашизм, избавляющий подвластные ему народы от бремени моральных чувств посредством дисциплины, уже более не нуждается в соблюдении какой бы то ни было дисциплины. Вопреки категорическому императиву и в тем более глубоком созвучии с чистым разумом обращается он с людьми как с вещами, как со средоточием поведенческих реакций. От океана откровенного насилия, и в самом деле затопившего Европу, власти буржуазного мира стремились отгородиться плотиной лишь до тех пор, пока экономическая концентрация еще не достигла достаточного уровня. Прежде только бедные и дикари были мишенью разнузданной капиталистической стихии. Но тоталитарный порядок полностью восстанавливает в своих правах калькулирующее мышление и основывается на науке как таковой. Его каноном является собственная кровавая боеспособность. То, что писалось на стене рукою философии начиная с кантовских “Критик” и кончая ницшевской “Генеалогией морали”, было осуществлено вплоть до мельчайших подробностей единственным человеком. Творчество маркиза де Сада показывает “*рассудок, не пользующийся руководством со стороны другого*”, то есть освобожденного от опеки буржуазного субъекта.

Не что иное, как самосохранение является конститутивным принципом науки, душой таблицы категорий, даже если она дедуцируется идеалистически, как у Канта. Даже само Я, синтетическое единство апперцепции, инстанция, которую Кант именует высочайшим пунктом, с которого должна начинаться всякая логика,¹² на самом деле является

¹⁰ Spinoza. *Ethica. Pars III, Praefatio.*

¹² *Kritik der reinen Vernunft. Ibid., Band III (2. Aufl.), S. 109.*

столь же продуктом, сколь и условием материального существования. Индивидами, вынужденными заботиться о себе, Я развивается в качестве инстанции рефлектирующего предвидения и обзора, оно увеличивается и сокращается в соответствии с перспективами на экономическую самостоятельность и продуктивную собственность на протяжении целого ряда поколений. В конечном итоге оно переносится с лишаемых собственности бюргеров на тоталитарных хозяев трестов, чья наука уже полностью становится совокупностью методов репродуцирования поработанного массового общества. Сад воздвиг один из ранних памятников их способности к планированию. Заговор власть имущих против народов, осуществляемый с помощью их непоколебимой организации, столь же близок духу Просвещения, начиная с Макиавелли и Гоббса, как и буржуазная республика. Он враждебен авторитету власти только в том случае, если она не имеет сил принудить к послушанию себе, если она есть насилие, не являющееся фактом. До тех пор, пока не принимается во внимание, кем именно используется разум, последний ничуть не менее сродни насилию, чем посредничеству, в каждом отдельном случае в соответствии с положением индивидуума или группы он в качестве данности легитимирует войну или мир, терпимость или репрессии. Поскольку содержательные цели разоблачаются им в качестве власти природы над духом, в качестве наносящих ущерб его же собственному самозаконодательству, он служит, будучи формальным, любому естественному интересу. Мышление становится органом, возвращаясь вспять, в природу. Но для властвующих люди становятся материалом, как для общества - природа в целом. После краткой интерлюдии либерализма, на протяжении которой бюргеры взаимобразно держали друг друга под угрозой, господство проявляет себя, в фашистски рационализированном обличье, в качестве архаического ужаса. "Итак следует", заявляет князь Франкавила на званом вечере у неаполитанского короля Фердинанда, "заменить религиозные химеры жесточайшим террором; освободите народ от страха перед грядущим адом и тотчас же, как только будет он уничтожен, предастся он всему чему угодно; но замените этот химерический страх жесточайшей строгости уголовными законами, применимыми, разумеется, лишь

к самому народу, ибо один только он является зачинщиком беспорядков в государстве: в одних только низших классах рождаются недовольные. Что за дело богатому до той узды, которой он никогда не ощущал на себе, если при помощи этой пустой видимости получает он право со своей стороны эксплуатировать всех тех, кто живет под его ярмом. Вы не найдете никого из этого класса, кто бы не согласился, чтобы самая густая тень тирании легла на него до тех пор, пока она в действительности покрывает и других.”¹³ Разум является органом калькулирования, планирования, по отношению к целям он нейтрален, его стихией является координация. То, что обосновывалось Кантом трансцендентальным образом, сродство познания и планирования, которым нас сквозь рационализованному даже в моменты передышек буржуазному способу существования во всех его аспектах придавался характер неотвратимо целесообразного, более чем за столетие до возникновения спорта было уже эмпирически реализовано Садам. Современные спортивные команды, чья сыгранность является тщательнейшим образом регламентируемой, так что никто из членов команды не питает ни малейшего сомнения относительно своей роли в ней и для каждого из них имеется наготове запасной, находят в сексуальных командах “Жюльетты”, у которых не остается ни одно мгновение упущенным, ни одно отверстие на теле неиспользованным, ни одна из функций незадействованной, свой точнейший прототип. Напряженная, целесообразная деятельность царит в спорте, как и во всех отраслях массовой культуры, при всем при том, что до конца не посвященный зритель не способен распознать различие комбинаций, разгадать смысл перемежающихся ходов, соразмеряющийся с произвольно установленными правилами. Сама архитектурная структура кантовской системы наряду с гимнастическими пирамидами садовских оргий и сводом принципов раннебуржуазных масонских лож - их циничным зеркальным отображением является строжайший распорядок дня компании развратников из “120 дней” - предвещает организацию жизни, в целом утратившей свою содержательную цель. При проведении подобных мероприятий еще в большей сте-

¹³ Histoire de Julliette. Hollande 1797. Band V., S.319f.

пени нежели о наслаждении речь идет, по-видимому, об обеспечении его функционирования, о его организации, подобно тому, как в другие демифологизированные эпохи, в Риме времен Цезарей и Ренессанса, равно как и в эпоху Барокко, схема активности имела решающий перевес над ее содержанием. В Новое время идеи гармонии и совершенства были освобождены от их религиозного гипостазирования в потустороннее и вручены человеческому стремлению под формой системы в качестве критериев. После того как та утопия, которая давала надежду французской революции, одновременно и мощно и бессильно вошла в немецкую музыку и философию, разум был окончательно функционализирован учрежденным буржуазным порядком. Он был превращен в бесцельную целесообразность, именно поэтому позволяющую использовать себя в любых целях. Он стал рассматриваться в качестве плана самого по себе. Тоталитарное государство умеет обращаться с нациями. “Это так, возразил князь”, читаем мы у Сада, “правительство должно само управлять населением, в его руках должны находиться все средства, необходимые для того, чтобы его истребить, если оно его опасается, или чтобы его умножить, если оно это считает нужным, и чаши весов вершимого им правосудия никогда не должны приводиться в равновесие ничем иным, кроме собственных интересов или страстей, зависящих единственно лишь от страстей и интересов тех, кто, как мы уже говорили, наделен им полнотой власти настолько, насколько это необходимо для приумножения его собственной.”¹⁴ Князь указывает путь, на который империализм, это самое ужасающее обличье рации, вступил уже с давних пор. “...Отнимите у народа, который вы хотите поработить, его бога и деморализуйте его; до тех пор, пока он не начнет поклоняться никакому иному богу кроме вас самих, не будет иметь никаких других обычаев кроме введенных вами, вы всегда будете оставаться его господином ... оставьте ему взамен даже самую огромную способность к преступлению; никогда не карайте его, за исключением тех случаев, когда его жало обращается против вас самих.”¹⁵

¹⁴ Ibid., S.322f.

¹⁵ Ibid., S.324.

Так как разумом не полагаются никакие содержательные цели, все аффекты являются равноудаленными от него. Они являются попросту природными, естественными. Принцип, в соответствии с которым разум является просто противопоставленным всему неразумному, служит основанием действительной противоположности между Просвещением и мифологией. Последней дух ведом только в качестве погруженного в природу, в качестве природной силы. Подобно силам внешним, внутренние побуждения являются для нее одушевленными силами божественного или демонического происхождения. В противоположность этому связность, смысл, жизнь целиком и полностью возвращаются Просвещением обратно субъективности, собственно конституирующей себя лишь в ходе подобного рода возврата. Разум является ее химическим агентом, впитывающим в себя собственную субстанцию вещей и улетучивающимся в чистую автономию разума. Для того, чтобы избежать суеверного страха перед природой, объективные единицы действия и формы все без остатка компрометируются им в качестве оболочек некоего хаотического материала, а его влияние на человеческую инстанцию предается анафеме как рабство вплоть до того, что субъект в своей идеальной форме целиком и полностью становится единственно неограниченным, пустым авторитетом. Вся мощь природы становится не чем иным, как всего-навсего лишенным различий противодействием абстрактной мощи субъекта. Той специфической мифологией, с которой следовало покончить западному Просвещению даже как кальвинизму, была католическая доктрина об *ordo* и та языческая народная религия, которая продолжала бурно разрастаться под ее прикрытием. Освободить от нее людей было целью буржуазной философии. Но освобождение зашло далее того, чем это предполагалось его гуманистичными инициаторами. Освобожденная от пут рыночная экономика оказалась одновременно и актуальным обличьем разума и силой, разум надломившей. Романтическими реакционерами лишь откровенно высказывалось то, что самими бюргерами испытывалось на собственной шкуре: что свободе в их мире свойственна тенденция превращаться в организованную анархию. Критика католической контрреволюции по отношению к Просвещению оказывается столь же верной, как и крити-

ка Просвещения в отношении католицизма. Просвещение связывало себя с либерализмом. Когда все аффекты стоят друг друга, самосохранение, и без того уже подчинившее себе облик системы, начинает казаться предоставляющим к тому же и наиболее правдоподобные поведенческие максимы. Ему надлежало стать свободным в условиях свободной экономики. Темными писателями раннебуржуазной эпохи, такими как Макиавелли, Гоббс, Мандевиль, предоставлявшими слово эгоизму самости, общество тем самым расценивалось как раз в качестве деструктивного принципа, гармонию денонсирующего, пока светлыми, классиками, она не была возведена в ранг официальной доктрины. Ими тотальность буржуазного порядка назойливо рекламировалась в качестве того кошмара, в котором, в конечном итоге, сплетается воедино и то и другое, всеобщее и особенное, общество и самость. С развитием экономической системы, в которой господство частных групп над экономическим аппаратом разъединяет людей, удерживаемое разумом в пределах идентичности самосохранение, опредмеченный инстинкт индивидуального бюргера начинает проявлять себя в качестве деструктивного природного насилия, уже более совершенно неотличимого от самоуничтожения. Мрачно переходят они друг в друга. Чистый разум становится неразумием, безошибочным и бессодержательным способом функционирования. Но та утопия, которой возвещалось примирение природы и самости, покинула вместе с революционным авангардом свое убежище в недрах немецкой философии, выступив, одновременно иррациональным и разуму сообразным образом, в качестве идеи объединения свободных людей, и навлекла на себя всю ярость рации. В существующем обществе, несмотря на все убогие моралистические попытки пропагандировать человечность в качестве самого рационального средства, самосохранение остается свободным от разоблачаемой в качестве мифа утопии. Изворотливое самосохранение для верхов представляет собой борьбу за фашистскую власть, а для индивидов - приспособление к бесправию любой ценой. Просвещенный разум в такой же степени не обладает критерием для дифференциации какого-либо влечения в самом себе и в противоположность иным влечениям, как и для упорядочивания вселенной по сферам. Иерархия в

природе справедливо разоблачается им в качестве зеркального отображения средневекового социума, а более поздние попытки нового доказательства объективного порядка расположения ценностей несут на своем челе печать лжи. Иррационализм, проявляющий себя в свойственных ему ничтожных реконструкциях, чрезвычайно далек от того, чтобы оказать индустриальному рацио реальное сопротивление. В то время как большой философией, с помощью Лейбница и Гегеля, в тех субъективных и объективных проявлениях, которые сами по себе уже не есть мысль, в чувствах, институциях, произведениях искусства было открыто притязание на истину, то иррационализмом чувство, подобно религии и искусству, изолируется от всего того, что именуется познанием. Хотя ему и удастся потеснить хладный разум в пользу непосредственно жизни, последняя им тем не менее превращается в совершенно враждебный мысли принцип. В свете этой вражды чувство и, в конечном итоге, всякое человеческое проявление, культура вообще, становится неподотчетным мышлению, тем самым, однако, превращаясь в нейтрализованный элемент всеобъемлющего рацио давно уже ставшей иррациональной экономической системы. Последняя с самых первых своих шагов не отваживалась полагаться исключительно на свою притягательную силу и дополняла ее культом чувств. Там, где она вызывает к ним, она оборачивается против своего же собственного медиума, мышления, всегда к тому же внушавшего ей опасения. Избыток нежно любящих в кинофильмах выполняет функцию удара по хладнокровной теории, его продолжением является сентиментальная аргументация против мысли, атакующей несправедливость. Этим возведением чувств в ранг идеологии никоим образом не упраздняется то презрение, с которым к ним относятся в действительности. То обстоятельство, что по сравнению с той звездной высью, до которой они превозносятся идеологией, они всегда кажутся слишком вульгарными, лишь способствует их изгнанию. Приговор чувствам был вынесен уже формализацией разума. Даже самосохранение как естественная склонность уличается, подобно всем прочим побуждениям, в нечистой совести, только усердная деятельность и долженствующие обслуживать ее институции, то есть обособившееся посредничество, аппарат, организа-

ция, систематизация уважительно почитаются, как в теории, так и на практике, разумными; сюда же включаются и эмоции.

Просвещение Нового времени с самого начала выступало под знаком радикальности: это отличает его от любой предшествующей стадии демифологизации. Когда вместе с новым способом общественного бытия утвердили себя во всемирной истории новая религия и новый образ мыслей, вместе с прежними классами, племенами и народами были, как правило, сокрушены и прежние боги. Но в особенности там, где народ своей же собственной судьбой, как например в случае евреев, был понуждаем перейти к новой форме общественной жизни, излюбленные с давних пор обычаи, священнодействия и предметы почитания были магически преобразованы в омерзительные злодеяния и ужасающие призраки. Страхи и идиосинкразии сегодняшнего дня, эти хулимые и ненавидимые его характерные черты могут быть расшифрованы в качестве отметин, оставленных насильственным прогрессом в человеческом развитии. От отвращения к экскрементам или человеческой плоти до презрения к фанатизму, лени, бедности прослеживается единая линия поведенческих типов, которые из адекватных и необходимых трансформировались в нечто омерзительное. Эта линия является линией одновременно и деструкции, и цивилизации. Каждый шаг являлся прогрессом, этапом Просвещения. Но в то время как всеми прежними коренными переходами, от праанимизма к магии, от матриархальной к патриархальной культуре, от политеизма рабовладения к католической иерархии, вместо прежних учреждались новые, пусть даже и просвещенные мифологии, бог воителей вместо великой матери, поклонение агнцу вместо тотема, всякая считающая себя объективной, укорененной в самой сути дела приверженность тает под солнцем просвещенного разума. Тем самым все предшествующие привязанности подпадают под юрисдикцию их табуирующего вердикта, не исключая и те, которые сами являются необходимыми для существования буржуазного порядка. Тот инструментарий, с помощью которого пришла к власти буржуазия, раскрепощение сил, всеобщая свобода, самоопределение, короче - Просвещение, оборачивается против буржуазии, как только, в качестве системы господства, прибегает она к угнетению. В

полном соответствии со своими собственными принципами Просвещение и само не останавливается перед минимумом веры, без которого не способен существовать буржуазный мир. Оно не служит верой и правдой господству, как это всегда имело место в случае прежних идеологий. Его антиавторитарная тенденция, коммуникативно соотносящаяся, правда чисто подспудно, с наличествующей в понятии разума утопией, делает его в конечном итоге столь же враждебным утвердившейся буржуазии, сколь и аристократии, с которой она вскоре и поспешила объединиться. Антиавторитарный принцип в конце концов неизбежно переходит в свою собственную противоположность, в оппозиционную самому разуму инстанцию: упразднение самого по себе обязывающего, осуществляемое им, позволяет власти самодержавно декретировать в каждом отдельном случае ей адекватные обязательства и манипулировать ими. После буржуазной добропорядочности и альтруизма, для которых у нее не имелось достаточно веских оснований, равным образом и авторитет с иерархией были провозглашены философией добродетелей, в то время как последние на основании Просвещения уже давно превратились в ложь. На такого рода перверсии себя самого Просвещение оказалось неспособным противопоставить никакой аргументации, ибо чистая истина не обладает никаким преимуществом перед искажением ее, равным образом как и рационализация перед рацией, если только ей не удастся доказать свое практическое преимущество. С формализацией разума сама теория в той мере, в какой она стремится быть чем-то большим, чем символом нейтральных способов деятельности, становится непостижимым понятием, а мышление считается осмысленным лишь после того, как поступается смыслом. Впряженное в упряжку господствующего способа производства, Просвещение, стремящееся подорвать ставший репрессивным миропорядок, ликвидирует само себя. В ранних нападках на Канта, всесокрушителя, предпринимавшихся расхожим Просвещением, это было уже отчетливо выражено. Подобно тому, как кантовской моральной философией, чтобы спасти саму возможность разума, умерялся ее просвещенческий критицизм, напротив, неотрелектирующе просвещенное мышление, исходящее из самосохранения, всегда стремилось преобразовывать

себя в скептицизм, чтобы в достаточной степени предоставить простор существующему порядку.

В противоположность этому творчество Сада, как и Ницше, представляет собой не признающую компромиссов критику практического разума, по сравнению с которой критика самого всеокрушителя кажется опровергающей его же собственное мышление. Ею принцип научности доводится до степени уничтожающего. Кант, правда, столь основательно очистил моральный закон во мне ото всяких гетерономных верований, что почтение к кантонским уверениям стало таким же совершенно естественным психологическим фактом, как звездное небо надо мной - фактом физическим. "Фактом разума" именуется он его сам,¹⁶ "всеобщим социальным инстинктом" назван он у Лейбница.¹⁷ Но факты ничего не стоят там, где их нет в наличии. Сад не отрицает их существования. Жюстина, добродетельная из двух сестер, является мученицей нравственного закона. Жюльетта делает из этого вывод, которого хотела бы избежать буржуазия: она демонизирует католицизм как самую последнюю мифологию и вместе с ним цивилизацию вообще. Вся та энергия, которая была связана с поклонением сакраментальному, оказывается теперь перверсивно направленной на святотатство. Но затем эта перверсивность переносится на общество вообще. При всем при том Жюльетта никоим образом не ведет себя так же фанатично, как католицизм по отношению к инкам, она лишь вполне по-просвещенчески деловито занимается делом святотатства, что по самой их природе было присуще также и католикам начиная с архаических времен. Первобытные формы поведения, на которые наложила табу цивилизация, будучи трансформированными в деструктивные под стигмой зверства, продолжали вести подспудное существование. Жюльетта рассматривает их уже не в качестве естественных, но в качестве табуированных. Она компенсирует ценностное суждение, вынесенное относительно них, - которое было необоснованным потому, что необоснованными являются все ценностные суждения, - его полной противополож-

¹⁶ Kritik der praktischen Vernunft. Ibid., Band V, S.31, 47, 55 u.a.m.

¹⁷ Nouveaux Essais sur L'Entendement Humain. Ed. Erdmann. Berlin 1840, Buch I. Kapitel II, 9, S.215.

ностью. Поэтому когда она таким вот образом воспроизводит примитивные реакции, они являются уже более не примитивными, но скотскими. Жюльетта, подобно Мертею из “Опасных связей”,¹⁸ не олицетворяет собой, выражаясь психологически, ни несублимированное, ни регрессивное либидо, но – интеллектуальное удовольствие от регрессии, *amor intellectualis diaboli*, стремление побить цивилизацию ее же собственным оружием. Она любит систему и последовательность. Она превосходно владеет органом рационального мышления. Что же касается самообладания, то зачастую ее наставления относятся к наставлениям Канта, как случаи специального применения к первопринципу. “Итак в добродетели”, значит у последнего,¹⁹ “поскольку она имеет своим основанием внутреннюю свободу, содержится для человека также и утвердительное предписание подчинять все свои способности и склонности его (разума) руководству, таким образом – власти над самим собой, дополняющее собой запрет не позволять своим чувствам и склонностям брать верх над собой (долг апатии): потому как пока разум не возьмет бразды правления в свои руки, последние по своей прихоти играют человеком”. Жюльетта поучает самодисциплине преступника. “Первым делом обдумайте заранее в течение нескольких дней Ваш план, взвесьте все его последствия, внимательно проверьте все то, что Вам может пригодиться ...все то, что пожалуй могло бы Вас выдать, и взвешивайте все эти обстоятельства так же хладнокровно, как если бы Вы были уверены, что будете раскрыты.”²⁰ На лице убийцы должно быть написано величайшее спокойствие, “...пусть Ваши черты выражают спокойствие и безразличие, попытайтесь сохранить максимально возможное в этом положении хладнокровие ...и если Вы не обретете уверенность в том, что Вам не страшны никакие укоры совести, а таким вы станете только благодаря привычке к преступлению, если, повторяю я. Вы все же не будете в этом очень уверены, то тщетно будете Вы трудиться над тем, чтобы стать хозяином Вашей мимики...”²¹

¹⁸ Ср. предисловие Генриха Манна к изданию в “Inselverlag”.

¹⁹ *Metaphysische Anfaenge der Tugendlehre*. Ibid., Band VI, S.408.

²⁰ Juliette. Ibid., Band IV, S.58.

²¹ Ibid., S.60f.

Свобода от укоров совести является для формалистического разума столь же существенной, как и свобода от любви или ненависти. Раскаянием прошедшее, которое в противоположность популярной идеологии буржуазией почиталось за ничто, полагается в качестве актуально существующего, бытия; оно представляет собой регрессию, предупреждать которую является его единственным оправданием перед буржуазной практикой. Говорит же Спиноза, вторя стоикам: “*Poenitentia virtus pop est, sive ex ratione pop oritur, sed is, quem facti poenitet, bis miser seu impotens est.*”²² Совершенно в духе князя Франкавиллы однако добавляет он к этому тотчас же “*terret vulgus, nisi metuat*”²³ и потому полагает как последовательный маккиавелист, что смирение и раскаяние, подобно страху и надежде, несмотря на всю их противоразумность, весьма полезны. “Добродетели необходимой предпосылкой является апатия (рассматриваемая в качестве сильной стороны)”, утверждает Кант,²⁴ отличая, подобно Саду, эту “моральную апатию” от бесчувственности в смысле индифферентности к чувственным раздражителям. Энтузиазм плох. Спокойствие и решительность являются сильными сторонами добродетели. “Это - состояние здоровья в моральной жизни, напротив того, аффект, даже возбуждаемый представлениями о благе, является мимолетным блистающим видением, оставляющим по себе изнеможение.”²⁵ Подругой Жюльетты Клэрвилл утверждается совершенно то же самое относительно порока.²⁶ “Моя душа тверда и я весьма далека от того, чтобы предпочесть чувственность той счастливой апатии, которой я наслаждаюсь. О Жюльетта ...ты должно быть заблуждаешься относительно этой опасной чувственности, которую ставят себе в заслугу столь многие безумцы.” Апатия возникает в тех поворотных пунктах буржуазной истории, а также и античной, когда перед лицом могущественных исторических тенденций *rauci beati* обнаруживают собственное бессилие. Она знаменует собой отступление единичной человечес-

²² Spinoza. *Ethica. Pars IV, Prop. LIV, S. 368.*

²³ *Ibid.*, Schol.

²⁴ *Metaphysische Anfaenge der Tugendlehre. Ibid.*, Band VI, S. 408.

²⁵ *Ibid.*, S. 409.

²⁶ *Juliette. Ibid.*, Band II, S. 114.

кой спонтанности в сферу частного, тем самым лишь впервые и учреждаемую в качестве собственно буржуазной формы существования. Стоицизм, а он является буржуазной философией, облегчает привилегированному возможность смело взирать, перед лицом страдания других, в лицо угрожающей ему самому опасности. Всеобщее удостоверяется им тем, что частное существование возводится им в принцип, будучи защитой от него. Частная сфера буржуа является деградировавшим культурным достоянием высших классов.

Кредо Жюльетты - наука. Омерзительно ей любое почитание, рациональность которого не может быть доказана: вера в Бога и в его умершего сына, повиновение десяти заповедям, предпочтительность добра перед злом, святости перед грехом. Притягательны для нее реакции, преданные анафеме легендами цивилизации. Подобно наисовременнейшему позитивизму оперирует она семантикой и логическим синтаксисом, но в отличие от этого уполномоченного самоновейшей администрации она, как истинная дочь милитантного Просвещения, направляет свою лингвистическую критику, по преимуществу, не против мышления и философии, а против религии. "Мертвый Бог!", говорит она о Христе²⁷, "ничто не может быть комичнее этого бессвязного словосочетания из католического словаря: Бог, это значит вечный; смерть, это значит не вечный. Идиоты христиане, что собираетесь делать вы со своим мертвым Богом?" Превращение без достаточного научного доказательства осуждаемого в нечто достойное того, чтобы к нему стремиться, равно как и бездоказательно признанного в предмет отвращения, переоценка ценностей, "мужество к запретному"²⁸ без нищевеского предательского "И на здоровье!", без его биологического идеализма, является особенной страстью. "Нужен ли предлог для того, чтобы совершить преступление?" совершенно в духе Ницше восклицает княгиня Боргезе, ее хорошая приятельница.²⁹ Ницше оглашает квинтэссенцию ее доктрины.³⁰ "Слабые и неудачники должны погибнуть: пер-

²⁷ Ibid., Band III, S.282.

²⁸ Fr. Nietzsche. Umwertung aller Werte. Werke, Kroener, Band VIII, S.213.

²⁹ Juliette. Ibid., Band IV, S.204.

³⁰ Э.Дюрен в "Новых исследованиях" (Berlin 1904, S.453ff.) указывает на это родство.

вый тезис нашего человеколюбия. И им в этом нужно помочь. Что может быть более вредоносным чем тот или иной порок - сострадание делом всем неудачникам и слабым - христианство..."³¹ Последнее, "замечательным образом заинтересованное в обуздании тиранов и редуцировании их к принципам братства ...играет при этом в игру слабых, оно представляет от их имени, вынуждено изъясняться как они ...Мы осмеливаемся быть убежденными в том, что в действительности эти оковы были равным образом как предложены, так и введены в силу слабыми, когда волею случая в их руки однажды перешла власть жрецов."³² Это вносит свою лепту в генеалогию морали Нуарсей, ментор Жюльетты. Злонамеренно прославляет Ницше сильных и их жестокость, направленную "вовне, туда, где начинается чужбина", то есть против всего того, что не относится к ним самим, "Здесь они свободны от всякого социального воздействия, они на диком просторе вознаграждают себя за напряжение, созданное долгим умиротворением, которое обусловлено мирным сожительством. Они возвращаются к невинной совести хищного зверя, как торжествующие чудовища, которые идут с ужасной сменой убийств, поджога, насилия, погрома с гордостью и душевным равновесием, как будто совершена только школьная шалость, уверенные, что поэты надолго будут теперь иметь тему для творчества и прославления. ...Эта "смелость" благородных рас, выражающаяся бешено, абсурдно, неожиданно, непредусмотримая, невероятная даже в их предприятиях ...их равнодушие и презрение к безопасности, телу, жизни, удобствам, их ужасная веселость и радость во всех разрушениях, в наслаждении победы и жестокости"³³. Эта смелость, к которой столь громогласно призывает Ницше, пленяет также и Жюльетту. "Жить опасно" - это также и ее призвание: "...oser tout dorenavant sans peur"³⁴. Есть слабые и сильные, есть те классы, расы и нации, которые господ-

²⁹ Nietzsche. Ibid., Band VIII, S.218.

³² Juliette. Ibid., Band I, S.315f.

³³ Genealogie der Moral. Ibid., Band VII, S.321ff. (Фридрих Ницше. Избранные произведения. "Сирин", М. - Л., 1990, Кн.2, с.28)

³⁴ Juliette. Ibid., Band I, S.300.

ствуют, и есть те, которые ими побеждены. “Где, укажите Вы мне”, восклицает господин де Верней,³⁵ “тот смертный, который был бы настолько глуп, чтобы вопреки всей очевидности быть уверенным в том, что в соответствии с правом и фактом люди рождаются равными! Только такому человеконенавистнику, как Руссо, могло прийти в голову выдвинуть подобного рода парадокс, потому что он, сам будучи в высшей степени слабым, стремился унижить до себя тех, до которых возвыситься он не был способен. Но по какому праву, спрашиваю я Вас, осмеливается пигмей ростом в четыре фута два дюйма сравнивать себя с образцом роста и силы, которого природа наделила мощью и обликом Геракла? Не означало бы это пытаться уподобить муху слону? Сила, красота, рост, красноречие: таковы достоинства, бывшие определяющими при переходе на заре общества власти в руки правителей.” “Требовать от силы”, подхватывает Ницше³⁶, “чтобы она не проявляла себя силою, чтобы она не была желанием одолеть, сбросить, желанием господства, жаждою врагов, сопротивления и торжества, это столь же бессмысленно, как требовать от слабости, чтобы она проявлялась в виде силы.” “Неужели в самом деле хотите Вы”, говорит Верней³⁷ “чтобы тот, кто от природы является в высшей степени предрасположенным к преступлению, будь то по причине превосходства его сил, утонченности его органов, будь то вследствие подобающего его общественному положению образования или его богатства; неужели хотите Вы, повторяю я, чтобы этот индивидуум был судим тем же самым законом, что и тот, для которого все сводится к добродетели и воздержанию? Будет ли справедливым закон, карающий и того и другого одинаково? Естественно ли то, что б тем, кого все побуждает творить зло, обходятся так же как и с тем, кого все призывает вести себя осмотрительно?”

После того, как с объективным порядком природы было покончено как с предрассудком и мифом, в наличии осталась природа в качестве

³⁵ Histoire de Justine. Hollande 1797. Band IV, S.4. (Также цитируется у Дюрена, Op. cit. S.452)

³⁶ Genealogie der Moral. Ibid., Band VII, S.326f. (Там же, с.31.)

³⁷ Justine. Ibid., Band IV, S.7.

массы материи. Ницше не хочет знать никакого закона, “который мы не только признаем, но и признаем стоящим выше нас”³⁸. В той мере в какой рассудок, скроенный по аршину самосохранения, способен соблюдать закон жизни, этот закон является законом более сильного. И даже если вследствие формализма разума он не способен подать человечеству необходимый для подражания пример, по сравнению с изолгавшейся идеологией он все же пользуется преимуществом фактичности. Виновными, таково учение Ницше, являются слабые, хитростью своей обходят они естественный закон. “Великую опасность для человека представляют не злые, не “хищники”, а *немошные*. От рождения неудачники, побежденные, надломленные, это они, это *наислабейшие* больше всего подтачивают жизнь среди людей, это они опаснее всего отравляют наше доверие к жизни, к человеку, к самим себе, это они заставляют нас сомневаться во всем этом.”³⁹ Они принесли в мир христианство, которое не менее отвратительно и ненавистно Ницше, чем Саду. “...репрессалии, применяемые слабым к сильному воистину не в природе вещей; они относятся к сфере духовного, но не телесного; для того, чтобы применить такого рода репрессалии слабый должен использовать силы, которыми он не обладает; он должен по характеру стать таким, каким быть ему не дано, в известном смысле совершить насилие над своей природой. Но что действительно является правильным в законах этой мудрой матери, так это оскорбление слабого сильным, потому что для того, чтобы вступить на этот путь, ему нужно только воспользоваться теми дарованиями, которыми он уже обладает; ему не нужно рядиться, подобно слабому, в характер иной нежели его собственный; он лишь позволяет проявиться в действии тому, чем он наделен от природы. Все, что из этого следует, является таким образом естественным: чинимые им гнет, насильственные действия, жестокости, тирании, несправедливости ...чисты как та рука, что наложила их отпечаток на него; и когда пользуется он всеми своими правами, чтобы угнетать и обирать слабого, совершает он лишь самую естественную в

³⁸ Nachlass. Ibid.. Band XI, S.214. (Там же, с. 107.)

³⁹ Genealogie der Moral. Ibid., Band VII, S.433.

мире вещь. ...Мы таким образом никогда не должны испытывать угрызений совести, отбирая у слабого то, что мы можем у него отнять, ибо нами не совершается преступление, как его, напротив, характеризует акт защиты или мести со стороны слабого.”⁴⁰ Если слабый обороняется, он тем самым учиняет беззаконие, “а именно стремясь преодолеть свойство слабости, запечатленное в нем самой природой: она создала его рабом и бедным, он не желает покориться, в этом беззаконие его”⁴¹. В такого рода искусно составленных речах развивает Дорваль, глава респектабельной парижской шайки, перед Жюльеттой тайное кредо всех господствующих классов, которое Ницше, приумноживший его психологией ressentimentа, ставит в упрек современности. Подобно Жюльетте восхищается он “прекрасной ужасностью поступка”⁴², даже если, будучи немецким профессором, и отличается он от Сада тем, что дезавуирует уголовных преступников, потому что их эгоизм “направлен на низменные цели и ими ограничивается. Если цели являются великими, человечество прибегает к иным меркам и не считает “преступлением” как таковым даже самые ужасные средства.”⁴³ От подобного рода предрассудков по отношению к величию, действительно характерных для буржуазного мира, просвещенная Жюльетта пока еще свободна, рэкетир ей не менее симпатичен, чем министр вовсе не потому, что число его жертв существенно меньше. Для немца Ницше исходным в красоте являются ее масштабы, несмотря на все сумерки кумиров, он не в состоянии изменить тем идеалистическим привычкам, в соответствии с которыми желательно было бы видеть мелкого воришку повешенным, а империалистические разбойничьи набеги считать выполняющими всемирноисторическую миссию. Возводя культ силы в доктрину всемирноисторического масштаба, германский фашизм одновременно доводит его до полного абсурда. Будучи протестом против цивилизации, мораль господ представляет совершенно вывернутым наизнан-

⁴⁰ Juliette. Ibid., Band I, S.208ff.

⁴¹ Ibid., S.211f.

⁴² Jenseits von Gut und Boese. Ibid., Band III, S.100.

⁴³ Nachlass. Ibid., Band XII, S.108.

ку образом от лица угнетаемых: ненависть к атрофировавшимся инстинктам объективно разоблачает истинную природу надсмотрщиков, которая проявляет себя только в их жертвах. Но в качестве великодержавия и государственной религии мораль господ всецело предоставляет себя, в конечном итоге, в распоряжение цивилизаторных властей предержавных, компактного большинства, ressentimenta и всего того, чему она некогда противостояла. Реальность одновременно и опровергает Ницше и удостоверяет его правоту, бывшую, несмотря на всю его приверженность жизни, враждебной духу действительности.

Уж если раскаяние считается тут противоразумным, то сострадание является уже просто грехом. Тот, кто ему поддается, “извращает всеобщий закон: из чего следует, что сострадание, будучи весьма далеким от того, чтобы быть добродетелью, становится самым настоящим пороком, едва лишь побуждает нас оно к тому, чтобы воспрепятствовать неравенству, которого требуют законы природы”⁴⁴. Саду и Ницше было известно, что после формализации разума сострадание все еще продолжало оставаться в наличии в качестве так сказать чувственного сознания идентичности всеобщего и особенного, в качестве натурализованного их опосредования. Оно способствует образованию самого навязчивого из предрассудков, “*quamvis pietatis specimen prae se ferre videatur*”, как говорит Спиноза,⁴⁵ “ибо тот, кого ни разум ни сострадание не побудит оказать помощь другому, будет по праву назван бесчеловечным”⁴⁶. *Commiseratio* есть человечность в непосредственном обликах, но одновременно “пагубная и бесполезная”⁴⁷, а именно в качестве противоположности той мужественной удалости, которая начиная с римского *virtus*, проходя через Медичи и вплоть до *efficiency* у Фордов всегда являлась единственно истинной буржуазной добродетелью. Бабским и ребяческим называет сострадание Клэрвил, хвастаясь своим “стоицизмом”, “покоем от страстей”, позволяющим ей “все делать и

⁴⁴ Juliette. Ibid., Band I, S.313.

⁴⁵ Ethica. Pars IV, Appendix, Cap.XVI.

⁴⁶ Ibid., Prop.L, Schol.

⁴⁷ Ibid., Prop.L.

все выдержать без содрогания”⁴⁸, “...менее всего является сострадание добродетелью, оно есть слабость, порождаемая страхом и напастями, слабость, которая в первую очередь должна быть преодолена тогда, когда трудятся над тем, чтобы преодолеть излишне тонкую чувствительность, несовместимую с максимами философии.”⁴⁹ От женщины ведут свое происхождение “вспышки безграничного сострадания”⁵⁰. Сад и Ницше знали о том, что их учение о греховности сострадания являлось старым буржуазным наследием. Последний ссылается на все “сильные эпохи”, на “возвышенные культуры”, первый - на Аристотеля⁵¹ и перипатетиков.⁵² Состраданию не устоять перед философией. Даже сам Кант не составлял тут исключения. По его словам, сострадание является “известного рода слабостью” и “само по себе не обладает достоинством добродетели”⁵³. Он, однако, упускает из виду, что и на принципе “всеобщей благожелательности по отношению к роду человеческому”⁵⁴, которым он в противоположность рационализму Клервил пытается заменить сострадание, лежит то же проклятье иррационализма, что и на “этой благонравной страсти”, легко способной соблазнить человека на то, чтобы стать “слабовольным бездельником”. Просвещение не дает ввести себя в заблуждение, для него факт всеобщий перед особенным, любовь всеобъемлющая перед ограниченной не имеет никакого преимущества. Сострадание одиозно. Подобно Саду, Ницше привлекает *ars poetica* для его осуждения. “Греки, по Аристотелю, чаще страдали от переизбытка сострадания: отсюда необходимость разрядки посредством трагедии. Нам вполне понятно, до какой степени подозрительной казалась им эта склонность. Она является опасной для государства, лишает необходимой твердости и подтянутости, заставляет геро-

⁴⁸ Juliette. Ibid., Band II, S.125.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Nietzsche contra Wagner. Ibid., Band VIII, S.204.

⁵¹ Juliette. Ibid., Band I, S.313.

⁵² Ibid., Band II, S.126.

⁵³ Beobachtungen ueber das Gefuehl des Schoenen und Erhabenen. Ibid., Band II, S.215f.

⁵⁴ Ibid.

ев вести себя подобно причитающим бабам и т.д.”⁵⁵ Заратустра проповедует: “Сколько доброты, столько же слабости вижу я. Сколько справедливости и сострадания, столько же и слабости.”⁵⁶ Сострадание в самом деле содержит в себе некий момент, противоречащий справедливости, с которой его, правда, смешивает Ницше. Оно подтверждает правило бесчеловечности тем исключением, которое практикует. Резервируя упразднение несправедливости исключительно за любовью к ближнему со всей присущей ей случайностью, сострадание приемлет закон универсального отчуждения, который оно хотело бы смягчить, в качестве неизменного. Может быть, сострадательный одиночка и воплощает собой требование всеобщего, заставляющее жить сострадая вопреки общепринятому, вопреки природе и обществу, ему в том отказывающим. Но единство со всеобщим как с внутренним, осуществляемое одиночкой, оказывается по слабости его самого обманчивым. Не кротость, но ограниченность сострадания делает его сомнительным, его всегда недостаточно. Подобно тому, как стоическая апатия, с которой буржуазная холодность, эта полная противоположность состраданию, хранит убогую преданность всеобщему, от которого она оторвалась, более, нежели соучаствующая в нем община, адаптировавшаяся к мирозданию, разоблачители сострадания негативно признают себя сторонниками революции. Нарциссические деформации сострадания, такие как энтузиазм филантропа и моральное удовлетворение работника сферы социального обеспечения суть не что иное, как глубоко прочувствованная констатация различия между бедным и богатым. Правда, непредусмотрительно проговорившись о пристрастии к жестокости, философия сделала ее доступной тем, кто менее всего был способен извинить ей это признание. Фашистскими хозяевами мира чувство отвращения к состраданию было преобразовано в чувство отвращения к политической терпимости и в воззвание о введении чрезвычайного положения, в чем они сошлись с Шопенгауэром, метафизиком сострадания. Последний считал надежду на обустройство человечества само-

⁵⁵ Nachlass. Ibid., Band XI, S.227f.

⁵⁶ Also Sprach Zarathustra. Ibid., Band VI, S.248.

надеянным безрассудством того, кому не остается более надеяться ни на что, кроме несчастья. Противники сострадания не пожелали отождествить человека с несчастьем. Существование несчастья было для них позором. Их деликатное бессилие не могло стерпеть того, чтобы по отношению к человеку была выказана жалость. С отчаяния переключились они на восхваление власти, от которой они, тем не менее, на практике всегда отмежевывались там, где мостили для нее пути.

Доброта и благожелательность становятся грехом, господство и угнетение - добродетелью. "Все хорошее было некогда дурным; каждым первородным грехом была порождена первородная добродетель."⁵⁷ К этому самым серьезным образом относится Жюльетта и в эпоху Нового времени, ею впервые совершенно сознательно осуществляется тут переоценка ценностей. После того, как все идеологии были уничтожены, возводит она то, что христианством в идеологии, но не всегда на практике, считалось чудовищным, в принцип собственной морали. Как истинный философ остается она при этом холодной и рефлектирующей. Все происходит без иллюзий. На предложение Клэрвил совершить святотатство она отвечает: "Поскольку мы не верим в Бога, моя дорогая, сказала я ей, те осквернения святынь, которых ты алчешь, являются не чем иным, как совершенно бесполезным ребячеством... Вероятно я еще более тверда чем ты; мой атеизм достиг апогея. Поэтому не воображай, что я нуждаюсь в тех ребячествах, которые ты мне предлагаешь, чтобы утвердиться в нем; я сделаю это, потому что тебе они доставляют удовольствие, но только для забавы" - американская убийца Энни Генри сказала бы just for fun - "и никогда не сделаю это в качестве чего-то необходимого, будь то для того, чтобы упрочить мой образ мыслей, будь то для того, чтобы убедить в нем других."⁵⁸ Просияв от эфемерной любезности по отношению к сообщнице, она позволяет взять верх своим принципам. Беззаконие, ненависть, разрушение становятся даже функциональными после того, как из-за формализации разума все цели, в качестве иллюзий, утрачивают характер необходимых и объек-

⁵⁷ Genealogie der Moral. Ibid., Band VII, S.421.

⁵⁸ Juliette. Ibid., Band III, S.78f.

тивных. Чары превращаются в просто действие, средство, короче - в индустрию. Формализация разума является попросту интеллектуальным выражением машинизированного способа производства. Средство фетишизируется: им поглощается стремление. Подобно тому, как в теории Просвещение превращает в иллюзии те цели, которыми украшало себя господство прежних времен, оно лишает его, благодаря возможности изобилия, и практического основания. Господство выживает как самоцель в форме экономической власти. Наслаждение уже обнаруживает признаки чего-то устаревшего и несущественного, подобно метафизике, его запрещавшей. Жюльетта говорит о мотивах преступления.⁵⁹ Она сама ничуть не менее честолюбива и корыстолюбива, чем ее друг Сбригани, но она обоготворяет запретное. Сбригани, этот человек средства и долга, является более передовым. "Обогащаться, вот о чем идет речь, и мы оказываемся в высшей степени виновными, когда не достигаем этой цели; только тогда, когда уже находишься на верном пути к тому, чтобы стать богатым, можно позволить себе пожинать удовольствия: до тех пор следует забыть о них." При всем своем рациональном превосходстве Жюльетта продолжает оставаться в чем-то суеверной. Она осознает наивность святотатства, но в конечном итоге все-таки извлекает удовольствие из него. Но всякое наслаждение свидетельствует о сотворении себе кумира: оно есть самоотречение в пользу иного. Природа не знает собственно наслаждения: в ней дело не идет далее удовлетворения потребности. Всякое желание является социальным - и в несублимированных аффектах ничуть не менее, чем в сублимированных. Оно берет свое начало в отчуждении. Даже там, где наслаждению недостает знания запрета, его уязвляющего, оно происходит от цивилизации, лишь от того непоколебимого порядка, от которого оно, будучи оберегаемым им от природы, стремится вернуться обратно к ней. Только когда от принудительности труда, от привязанности каждого к определенной социальной функции и, в конечном итоге, к самости люди возвращаются грезя к свободной от господства и дисциплинарного надзора первобытной архаике, они испытывают вол-

⁵⁹ Ibid., Band IV, S. 126f.

шебство наслаждения. Ностальгия обвитых путами цивилизации, “объективное отчаяние” тех, кто был вынужден превратить себя в элементы социального порядка было тем, что питало любовь к божествам и демонам, к ним, как к преобразившейся природе, обращались они в своих молитвах. Мышление возникло в ходе освобождения от ужасов природы, которая в конце концов была полностью поработана. Наслаждение является как бы ее мезью. В нем люди избавляются от мышления, ускользают от цивилизации. В древнейших обществах такого рода возврат был предусмотрен в качестве всеобщего в празднествах. Первобытные оргии являются коллективным истоком наслаждения. “Этот антракт универсального беспорядка, который представляет собой празднество”, говорит Роже Келуа, “тем самым действительно предстает в качестве мгновения, на которое упраздняется порядок мира. Именно поэтому все эксцессы являются в нем дозволенными. Нужно поступать вопреки правилам, все должно происходить наоборот. В эпоху мифа течение времени было обратным: рождались стариками, умирали детьми... таким образом все предписания, охраняющие благой естественный и социальный порядок, систематически нарушаются.”⁶⁰ Тут всецело отдаются преобразенным силам истоков; но с точки зрения приостановленного запрета это действие имеет характер безудержного разгула и безумия.⁶¹ Лишь с ростом цивилизации и Просвещения окрепнувшей самостью и упрочившимся господством празднество превращается в чистый фарс. Властителями наслаждение вводится в обиход в качестве рационального, как дань полностью не укрощенной природе, они одновременно пытаются обезвредить его для самих себя и сохранить его в высокой культуре; дозировать его в противовес этому для поработанных там, где они полностью не могут быть его лишены. Наслаждение становится объектом манипуляции до тех пор, пока окончательно не угасает в мероприятиях. Процесс развития проходит от празднества до каникул, отпуска. “Чем в большей степени утверждает себя сложность социального организма, тем в меньшей степени допус-

⁶⁰ Theorie de la Feete. Nouvelle Revue Francaise. Jan. 1940, S.49.

⁶¹ Cp. Caillois, Ibid.

кает она приостановку привычного хода жизни. Сегодня, как и вчера, а завтра, как и сегодня, все должно продолжать двигаться своим ходом. Универсальный всплеск уже более невозможен. Периоды турбулентности индивидуализировались. Отпуска пришли на смену празднеству.”⁶² При фашизме они были дополнены поддельным коллективным упоением, вызываемым радио, лозунгами и бензедрином. Сбригани предугадывает нечто от этого. Он разрешает себе удовольствия “sur la route de la fortune” в качестве каникул. Жюльетта же, напротив, старорежимна. Она обоготворяет грех. Ее либертинаж всецело находится под чарами католицизма точно так же, как экстаз монахини - под чарами язычества.

Ницше знал, что всякое наслаждение является все еще мифичным. Предаваясь природе, наслаждение отказывается от того, что могло бы быть возможным, а сострадание - от изменения целого. И то и другое содержит в себе момент резиньяции. Ницше выслеживает его во всех его прибежищах - и как момент наслаждения собой в одиночестве, и как мазохистский - в депрессиях самобичевателя. “Против всех только лишь наслаждающихся!”⁶³ Жюльетта пытается спасти его, отвергая любовь самоотверженную, буржуазную, которая, выступая в качестве отпора благоразумию буржуазии, является характерной для последнего столетия ее существования. В любви наслаждение было связано с обожанием человека, его вызывающего, она была подлинно гуманной страстью. В конце концов, она была упразднена как обусловленное поллом ценностное суждение. В восторженном преклонении перед любимым, равно как и в безграничном восхищении, дань которого приносила ему возлюбленная, всякий раз сызнаова окружалось ореолом фактическое кабальное положение женщины. На основе признания этой кабалы во все времена вновь и вновь происходило примирение полов: женщина, судя по всему добровольно, принимала свое поражение, мужчина же признавал победу за ней. Христианством иерархия полов, ярмо, возлагаемое на женский характер мужским порядком собственности,

⁶² Ibid., S.58f.

⁶³ Nachlass. Ibid., Band XII, S.364.

были преображены в единение сердец в супружестве, умиротворяющим образом воздействующее на воспоминание о лучшем допатриархальном прошлом взаимоотношения полов. В эпоху крупной индустрии любовь отменяется. Разложение средней собственности, гибель свободного субъекта хозяйствования непосредственно затрагивает и семью: она уже более не является некогда столь чтимой ячейкой общества, потому что более не представляет собой базис экономического существования бургера. Для подрастающего поколения семья уже более не является их жизненным горизонтом, самостоятельность отца исчезает и вместе с ней - сопротивление его авторитету. Прежде кабальное положение в отцовском доме воспламеняло в девушке страсть, казалось, ведущую к свободе, но не реализующуюся ни в браке, ни где бы то ни было вне его. Открывающаяся сегодня перед девушкой перспектива получения работы заслоняет собой любовь. Чем универсальнее система современной индустрии заставляет каждого отдавать себя ей в пользование, тем в большей степени все то, что не относится к необъятному морю white trash, в которое вливаются потоки неквалифицированного труда и безработицы, становится малой экспертизой, существованием, которое само вынуждено позаботиться о себе. Что касается квалифицированного труда, то самоуправство предпринимателя, которое уже в прошлом, распространяется на всех допущенных к участию в производстве, в том числе и на "работающих по специальности" женщин в качестве характерной их особенности. Самоуважение людей возрастает пропорционально их заменимости. И тем не менее, по сравнению с семьей это является риском столь же малым, сколь любовная, связь в свободное от работы время с boy-friend - открывающей врата рая. Люди привыкают рационально, расчетливо относиться к собственному полу, что в просвещенном кругу Жюльетты уже очень давно было провозглашено древней мудростью. Дух и тело действительно разделяются, как того, в качестве бестактных бургеров, требовали эти развратники. "Мне опять же кажется", рационалистски декретировал Наурсей⁶⁴, "что это в высшей степени различные вещи, любить

⁶⁴ Juliette. Ibid., Band II, S.81f.

и наслаждаться... ибо нежные чувства относятся к сфере прихотей и условностей, но никоим образом не вызываются красотой шеи или прелестным изгибом бедра; и эти предметы, всякий раз способные соответственно нашему вкусу возбуждать живейшие физические аффекты, все же не имеют никакого права, как мне кажется, считаться вызывающими аффекты духовные. Чтобы завершить мою мысль, укажу, что Белиция уродлива, ей сорок лет, во всей ее персоне нет ни капли грации, ни одной правильной черты, ничего привлекательного; но Белиция обладает умом, превосходным характером, миллионом вещей, которые замечательно сочетаются с моими чувствами и пристрастиями; у меня не возникает желаний переспать с Белицией, но несмотря на это, я буду любить ее до безумия; Араминту, напротив, я буду страстно желать, однако, от всего сердца почувствую к ней отвращение, лишь только пройдет лихорадка желаний..." Неизбежное следствие, имплицитно уже содержащееся в картезианском разделении человека на мыслящую и протяженную субстанции, со всей ясностью находит тут свое выражение в качестве деструкции романтической любви. Последняя считается покровом, рационализацией телесного импульса, "ложной и всегда опасной метафизикой"⁶⁵, как заявляет граф Бельмор в своей обширной речи о любви. При всем их распутстве друзья Жюльетты воспринимают сексуальность в противоположность нежности, любовь земную в противоположность неземной не просто в качестве лепты слишком крупной, но равным образом и в качестве слишком безобидной. Красота шеи и изгиб бедра воздействуют на сексуальность не как внеисторические, чисто природные факторы, но как образы, содержащие в себе весь исторический опыт; в этом опыте жива интенциональная направленность на то, что является чем-то иным, нежели природа, на не ограниченную только половыми отношениями любовь. Но нежность, еще более того нетелесная, является преобразованной сексуальностью, прикосновение рукой к волосам, поцелуй в лоб, выражающие собой все безумие духовной любви, являются не чем иным, как усмирненными ударами и укусами, практикуемыми при половом акте австралийскими

⁶⁵ Juliette. Ibid., Band III, S.I 72 f.

дикарями. Разделение тут оказывается абстрактным. Метафизикой, поучает Бельмор, действительное положение дел фальсифицируется, она препятствует тому, чтобы видеть возлюбленного таким, каков он есть, она ведет свое происхождение от магии, является пеленой. “И я не смею сорвать ее с глаз! Это слабость... малодушие. Как только с наслаждением бывает покончено, нам хочется подвергнуть анализу эту богиню, прежде ослеплявшую меня.”⁶⁶ Любовь как таковая является ненаучным понятием: “...нас постоянно вводят в заблуждение ложные дефиниции”, заявляет Дольманс в знаменательном 5-ом диалоге “Философии в будуаре”, “я не знаю что это такое: сердце. Я просто называю так: слабость духа.”⁶⁷ “Позволим себе на мгновение обратиться, как говорит Лукреций, к “предпосылкам жизни””⁶⁸, то есть к хладнокровному анализу, “и мы обнаружим, что ни возвеличивание возлюбленных, ни романтическое чувство в целом не выдерживают анализа. ...одно лишь тело является тем, что я люблю, и одно лишь тело является тем, о чем я сожалею, несмотря на то, что в любой момент могу вновь обрести его.”⁶⁸ Что верно во всем этом, так это осознание диссоциации любви, этого деяния прогресса. Такого рода диссоциацией, механизмирующей вождение и искажающей до надувательства страсть, любовь поражается в самой своей сердцевине. Тем, что Жюльетта превозносит генитальную и перверсивную сексуальность в ущерб всему внеприродному, имматериальному, иллюзорному, эта распутница сама обрекает себя на ту нормальность, которой наряду с утопическим переизбытком любви умалется также и физическое наслаждение, наряду со счастьем высочайшей высоты - также и таковое самой близкой близости. Лишенный иллюзий развратник, за которого ратует Жюльетта, превращается при помощи сексуальных педагогов, психоаналитиков и гормонофизиологов в общительного практичного человека, распространяющего свое отношение к спорту и гигиене также и на половую жизнь. Критика Жюльетты так же двойственна, как и само Просвеще-

⁶⁶ Ibid., S.176 f.

⁶⁷ Edition privée par Hélyes. S.267.

⁶⁸ Juliette. Ibid.

ние. Поскольку кощунственное разрушение всех табу, с которым некогда связывала себя буржуазная революция, не привело к возникновению новой справедливости реальности, вместе с возвышенной любовью она продолжает жить как верность уже близко придвинувшейся утопии, щедро предоставляющей физическое наслаждение в распоряжение всех.

“Смехотворный энтузиазм”, которым определенный индивидуум предписывался нам в качестве уникального, возвеличивание женщины в любви отбрасывает нас вспять, от христианства к стадии матриархата. “...несомненно, что наш дух рыцарского почитания, которым самым смехотворным образом выражается наше преклонение перед предметом, созданным исключительно на потребу нам, не вызывает сомнений, повторяю я, что этот дух ведет свое происхождение от того благоговения, которое наши предки некогда испытывали по отношению к женщинам вследствие их пророческого ремесла, которым они занимались как в городе, так и на селе; ужас привел к тому, что мы перешли от просто страха к культу, и рыцарское отношение возникло в лоне суеверия. Но это благоговение никогда не было присуще самой природе, искать его там было пустой тратой времени. Неполноценность этого пола по сравнению с нашим является слишком основательно обоснованной для того, чтобы мы могли когда-либо проникнуться достаточно серьезным побудительным мотивом его уважать, а любовь, возникающая из этого слепого благоговения, является, как и оно само, не более чем предрассудком.”⁶⁹ На насилии, под какими бы покровами легализма оно не было сокрыто, покоится в конечном итоге социальная иерархия. Господство над природой воспроизводится и в человеческом обществе. Христианской цивилизации, которая позволила использовать идею защиты телесно слабого для эксплуатации сильного раба, никогда полностью не удавалось завоевать сердца обращенных народов. Уж слишком дезавуировался принцип любви острым рассудком и еще более острым оружием христианских владык, пока лютеранством, превратившим меч и бич в квинтэссенцию Евангелия, противоположность между государ-

⁶⁹ Ibid., S.178f.

ством и учением вообще не была устранена. Им духовная свобода непосредственно отождествлялась с утверждением реального угнетения. Но на женщине выжжено клеймо слабости, в силу слабости находится она в меньшинстве даже там, где по численности женщины преобладают над мужчинами. Точно так же, как в случае покоренных коренных жителей в эпоху ранней государственности, как и в случае уроженцев колоний, организация и вооружение которых являются отсталыми по сравнению с таковыми завоевателей, как и в случае евреев под пятой арийцев, их незащитность образует собой правооснование их угнетения. Сад в своих формулировках предвосхищает соображения Стриндберга. «Давайте не будем сомневаться в том, что существует это столь несомненное, столь важное различие между мужчиной и женщиной, подобное тому, что налицо между человеком и обезьяной в джунглях. У нас столько же оснований отказывать женщине в праве являться частью нашего вида, сколько обезьяне - в праве быть нашим братом. Исследуйте внимательно обнаженную женщину рядом с мужчиной ее возраста, обнаженным как и она, и вы легко убедитесь в значительной разнице, существующей (помимо половых различий) между структурой двух этих существ, вы отчетливо увидите, что женщина представляет собой лишь низшую ступень мужчины; различие равным образом существует и во внутреннем строении, анатомическое расчленение и того и другого, проводимое одновременно и с педантичной тщательностью, делает эту истину очевидной.»⁷⁰ Попытка христианства идеологически компенсировать половое угнетение посредством благоговения перед женщиной и таким образом облагородить воспоминание об архаических временах вместо того, чтобы попросту вытеснить его, окупается затаенной злобой по отношению к возвеличенной женщине и теоретически эмансипированному сладострастию. Аффектом, соответствующим практике угнетения, является презрение, а не поклонение, и на протяжении всех христианских столетий за любовью к ближнему всегда скрывалась находящаяся под запретом и ставшая принудительной ненависть по отношению к объекту, которым неизменно всякий раз

⁷⁰ Ibid., S.188-99.

воскрешалось воспоминание о тщетности усилия - женщине. За культ мадонны поплатилась она ведьмоманией, явившейся мезтью за тот всплывающий в памяти образ дохристианской пророчицы, которым священный патриархальный порядок властвования украдкой ставился под вопрос. Женщина вызывает дикую ярость в полуобращенном мужчине, вынужденном ее почитать, подобно тому, как слабый вообще становится смертельным врагом поверхностно цивилизованного сильного, вынужденного его пощадить. Сад превращает эту ненависть в осознанную. "Я никогда не верил", утверждает граф Гиджи, начальник римской полиции, "что из соединения двух тел когда-либо может возникнуть соединение двух сердец. В этом физическом соединении я усматриваю многочисленные мотивы для презрения... для отвращения, но ни одного для любви."⁷¹ А Сен-Фондс, королевский чиновник по особым поручениям, восклицает, когда терроризируемая им девушка разражается слезами, "вот такими мне нравятся женщины... отчего не могу я одним лишь единственным словом довести их всех до одной до этого состояния!"⁷² В качестве властителя мужчина отказывает женщине в чести быть индивидуализированной. Социально отдельная женщина является экземпляром рода, представительницей своего пола и потому, будучи вполне постижимой мужской логикой, символизирует собой природу, субстрат никогда не заканчивающегося подведения под идею, никогда не заканчивающегося порабощения в действительности. Женщина как мнимо природное существо является продуктом истории, ее денатурирующей. Но отчаянное стремление к уничтожению всего того, что олицетворяет собой прельстительность природы, физиологически, биологически, национально, социально более слабого, свидетельствует о том, что попытка христианства потерпела неудачу, "...que ne puisse, d'un mot, les reduire toutes en cet etat!" Полностью искоренить ненавистный могущественный соблазн, прельщающий возвратом вспять к природе - такова жестокость, возникающая в недрах неудавшейся цивилизации, варварство, являющееся оборотной стороной культуры. "Их

⁷¹ Juliette. Ibid., Band IV, S.261.

⁷² Ibid., Band II, S.273.

всех!” Ибо уничтожение не допускает исключений, воля к уничтожению тоталитарна и тоталитарна только воля к уничтожению. “Я захожу столь далеко”, говорит Жюльетта папе, “что подобно Тиберию мечтаю, чтобы человечество имело бы одну только единственную голову, и чтобы я доставила себе удовольствие отрубить ее одним ударом!”⁷³ Приметы бессилия, поспешные некоординированные действия, животный страх, причитания порождают кровожадность. Оправдание ненависти по отношению к женщине как более слабой по своей духовной и телесной силе, несущей на своем челе явную печать господства над ней, является одновременно и оправданием ненависти по отношению к евреям. К женщинам и евреям относятся так, как если бы над ними никто не властвовал в течение многих тысяч лет. Они живы, хотя могли бы быть уничтожены, и их страх и слабость, их большее по сравнению с другими сродство с природой, порожденное многовековым гнетом, являются их жизненной средой. Это возбуждает в сильном, оплачивающем свою силу напряженным дистанцированием от природы и вечно вынужденным подавлять в себе страх, слепую ярость. Он идентифицирует себя с природой тем, что тот крик, который он сам не смеет издать, тысячекратно исторгает он из жертв своих. “Безумные создания”, пишет президент Бламмон в “Алине и Валькуре” о женщинах, “как люблю я видеть их трепещущими в моих руках! Они подобны ягненку в пасти льва.”⁷⁴ И в том же письме: “Это схоже со взятием города, нужно завладеть всеми высотами... укрепиться во всех господствующих над местностью пунктах и оттуда атаковать это место, не боясь сопротивления.”⁷⁵ То, что лежит ниже, навлекает на себя нападение: унижить доставляет величайшую радость там, где уже побывало несчастье. Чем меньше опасность для того, кто наверху, тем безмятежнее удовольствие от мук, теперь оказывающих ему услугу: лишь при безысходном отчаянии жертв господство становится развлечением и торжествует, отрекаясь от своего собственного принципа, дисциплины. Страх, который

⁷³ Juliette. Ibid., Band IV, S.379.

⁷⁴ Aline et Valcour. Bruxelles, 1883, Band I, S.58.

⁷⁵ Ibid., S.57.

более уже не угрожает самому, разряжается в беззаботном смехе, являющемся выражением очерствения самого по себе индивидуума, по-настоящему проявляющего себя во всей своей полноте лишь в коллективе. Звучный хохот во все времена разоблачал цивилизацию. “Из всех видов лавы, которые извергает словно кратер человеческий рот, самый едкий - насмешка”⁷⁶, говорит Виктор Гюго в главе, озаглавленной “Жизненные бури страшнее океанских”. “На несчастных”, поучает Жюльетта,⁷⁷ “следует по мере возможности возлагать всю тяжесть своих злодеяний; слезы, к которым понуждаешь бедствующих, обладают силой, чрезвычайно возбуждающей субстанцию нервов...”⁷⁸ Взамен нежности союзником желания становится жестокость, а половая любовь превращается в то, чем она, согласно Ницше,⁷⁹ была всегда, “по своим средствам - в войну, по своей сути - в смертельную ненависть полов.” “У самцов и самок”, учит нас зоология, “любовь” или половое влечение изначально и преимущественно является “садистской”; несомненно она включает в себя причинение боли; она столь же жестока, как и голод.”⁸⁰ Так возвращает цивилизация своим последним достижением себя вспять, к ужасам природы. Смертоносная любовь, ярко высвечиваемая всем ходом садовского повествования, и ницшевское стыдливо-бесстыдное великодушие, любой ценой стремящееся избавить страдающего от стыда: воображаемая жестокость подобно воображаемому величию обращается с людьми в игре и фантазии так же жестоко, как впоследствии немецкий фашизм - в реальности. Но в то время как бесчувственный колосс действительности, бессубъектный капитализм слепо осуществляет уничтожение, иллюзия бунтующего субъекта позволяет себе быть обязанной последнему своим осуществлением, таким образом одновременно изливая на используемых как вещи людей пронзительный холод извращенной любви, в мире вещей занимающей место люб-

⁷⁶ Victor Hugo. L'Homme qui rit. Band VIII, Kapitel 7.

⁷⁷ Juliette. Ibid., Band IV, S. 199.

⁷⁸ Ср. Les 120 Jours de Sodome. Paris, 1935, Band II, S. 308.

⁷⁹ Der Fall Wagner. Ibid, Band VIII, S. 10.

⁸⁰ R. Briffault. The Mothers. New York. 1927, Band I, S. 119.

ви непосредственной. Болезнь становится симптомом выздоровления. В преображении жертвы иллюзия распознает ее унижение. Она уравнивает себя с чудовищем господства, которое не способна она одолеть во плоти. В качестве ужаса воображение пытается устоять перед ужасом. Римская поговорка, гласящая, что истинное наслаждение даруют суровые дела, является не просто понуканием. Ею выражается неразрешимое противоречие того порядка, которым счастье превращается в его пародию там, где оно им санкционируется, и попросту устраняется там, где оно объявляется им вне закона. Увековечив это противоречие, Сад и Ницше тем самым способствовали его понятийной артикуляции.

С точки зрения радио преданность обожаемому созданию представляется идолопоклонничеством. То, что обоготворение с необходимостью рассеивается, является следствием запрета на мифологию, введенным в силу иудейским монотеизмом и его секуляризированной формой, Просвещением, в истории мышления осуществленным применительно к изменяющимся типам почитания. Разложением экономической реальности, в каждом отдельном случае лежавшей в основе того или иного суеверия, были высвобождены специфические силы отрицания. Христианством, однако, пропагандировалась любовь: абсолютное поклонение Иисусу. Посредством освящения брака оно пыталось возвысить слепое половое влечение точно так же, как посредством небесной благодати приблизить к земле кристально ясный закон. Примирение цивилизации с природой, которого оно преждевременно хотело добиться с помощью учения о распятом Боге, оставалось иудаизму столь же чуждым, сколь и ригоризму Просвещения. Моисей и Кант вещали не о чувствах, их холодный закон не знает ни любви, ни сожжения живо. Ницшевская борьба против монотеизма гораздо в большей степени относится к христианской, чем к иудаистской доктрине. Хотя Ницше и отвергает закон, но стремится принадлежать к "более высокой самости"⁸¹, не к природной, а к более чем природной. Он хочет заменить Бога сверхчеловеком, потому что монотеизм, тем более в своей преломленной, христианской форме, оказывается разгаданным в качестве

⁸¹ Nachlass. Ibid, Band XI, S.216.

мифологии. Но судя по тому, как превозносятся Ницше в угоду этой высшей самости старые аскетические идеалы в качестве средств самопреодоления “в целях развития сил господства”⁸², высшая самость оказывается отчаянной попыткой спасения того Бога, который умер, возобновлением предпринятой Кантом попытки трансформировать божественный закон в автономию, осуществленную им с тем, чтобы спасти европейскую цивилизацию, поступившую в английском скептицизме духом. Кантовский принцип “во всем поступать исходя из максимы своей собственной воли как таковой, которая, будучи универсально законопорождающей, была бы способна в то же время и к себе самой относиться как к предмету”⁸³, равным образом является и тайной сверхчеловека. Его воля ничуть не менее деспотична, чем категорический императив. Оба принципа нацелены на независимость от внешних сил, на определяемую в качестве сущности Просвещения безусловную зрелость. Благодаря тому, однако, что страхом перед ложью, который даже сам Ницше в самые светлые свои моменты поносил как “донкихотство”⁸⁴, закон заменяется самозаконодательством, так что все становится прозрачным подобно одному-единственному огромному разоблаченному суеверию, само Просвещение, да и истина в любом ее облики становится идолом и мы осознаем, “что также и мы, осуществляющие дело познания сегодня, безбожники и антиметафизики все еще заимствуем *наше* пламя от того пожара, который был разожжен тысячелетием прежней веры, той христианской веры, которая была также и верой Платона, веры в то, что Бог есть истина, что истина божественна.”⁸⁵ Таким образом вдобавок и наука подпадает под критику, которой подвергается метафизика. Отречение от Бога содержит в себе неустрашимое противоречие, им отрицается само знание. У Сада просвещенческая мысль не заходит столь далеко, до этой точки перелома. Рефлексия науки над самой собой, эта совесть Просвещения, стала уделом

⁸² Ibid.. Band XIV, S.273.

⁸³ Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ibid., Band IV, S.432.

⁸⁴ Die Froehliche Wissenschaft. Ibid., Band V, S.275. Cp. Genealogie der Moral. Ibid., Band VII. S.267-71.

⁸⁵ Die Froehliche Wissenschaft. Ibid.

философии, то есть немцев. Для Сада Просвещение представляет собой не столько духовный, сколько социальный феномен. Им освобождение от тех уз, от которых Ницше идеалистически мечтал избавиться при помощи высшей самости, критика солидарности с обществом, ведомством, семьей⁸⁶ доводилась до провозглашения анархии. Его творчество разоблачает мифологический характер тех принципов, на которых, согласно религии, основывается цивилизация: декалога, отцовского авторитета, собственности. Оно представляет собой точную инверсию той теории общества, которая сто лет спустя была придумана Ле Пле.⁸⁷ Каждой из десяти заповедей выпадает участь быть доказанной в своей ничтожности перед инстанцией формального разума. Все без остатка уличаются они в идеологичности. Речь в защиту убийства по требованию Жюльетты произносит даже сам папа.⁸⁸ Для него рационализировать нехристианские поступки оказывается делом более легким, чем извечная задача оправдания христианских принципов, в соответствии с которыми эти деяния являются природой вещей. Обосновывающий убийство "философ в митре" вынужден прибегать к меньшему числу софизмов, чем Маймонид и святой Фома, его осуждавшие. Еще в большей степени, чем прусский бог, равнодушен римский разум к усиленным батальонам. Но закон низвергнут, а любовь, которая должна была его очеловечить, разоблачена в качестве регрессии в идолопоклонничество. Не одна только романтизированная половая любовь стала, в качестве метафизики, жертвой науки и индустрии, но и всякая любовь вообще, ибо перед разумом не способна устоять никакая: любовь женщины к мужчине так же мало, как и таковая любовника к возлюбленной, родительская любовь столь же мало, сколь и любовь их детей. Герцог де Бланги объявляет подданным, что с теми, кто связан с повелителями узами родства, с их дочерьми и супругами будут обращаться так же строго, даже еще строже, чем со всеми остальными, "и

⁸⁶ Ср. Nietzsche. Nachlass. Ibid., Band XI, S.216.

⁸⁷ Ср. Le Play. Les Ouvriers Europeens. Paris, 1879, Band I. В особенности S.133 и сл. стр.

⁸⁸ Juliette. Ibid., Band IV, S.303 ff.

это именно для того, чтобы показать вам, сколь презренны в наших глазах те узы, к которым, возможно полагали вы, мы привязаны".⁸⁹ Любовь женщины ампутируется точно так же, как и любовь мужчины. Правилами распутства, о которых Жюльетту уведомляет Сен-Фондс, должна руководствоваться всякая женщина.⁹⁰ Дольманс вполне материалистически развенчивает чары родительской любви. "Эти узы порождены страхом родителей быть покинутыми в старости, и то заинтересованное участие, которое они выказывают нам в период нашего детства, должно принести им в старости точно такое же внимание."⁹¹ Садовская аргументация так же стара, как и бюргерство. Уже Демокрит разоблачал присущую людям родительскую любовь как экономическую.⁹² Но Сад срывает чары с экзогамии, с этой основы цивилизации. Согласно ему, не существует никаких рациональных доводов против инцеста,⁹³ а гигиенический аргумент, выдвигавшийся против него, был в конечном итоге снят прогрессирующей наукой. Ею холодный приговор Сада был ратифицирован, "...никоим образом не является доказанным, что инцестуозные дети в большей степени чем все иные имеют тенденцию рождаться кретинами, глухонемыми, рахитичными и т.д."⁹⁴ Семья, сплываемая не романтизированной половой любовью, но любовью материнской, образующей собой основу всякой нежности и социальных чувств,⁹⁵ вступает в конфликт с самим обществом. "Не воображайте себя добрыми республиканцами до тех пор, пока продолжаете вы изолировать своих детей, которые должны принадлежать только обществу, в своей семье. ...И если это наносит величайший вред таким вот образом позволять детям пропитываться семейными интересами, которые зачастую сильно отличаются от интересов отечества, то в рав-

⁸⁹ Les 120 Journees de Sodome. Ibid., Band I, S.72.

⁹⁰ Cp. Juliette. Ibid., Band II, S.234 Прим.

⁹¹ La Philosophie dans le Boudoir. Ibid., S.185.

⁹² Cp. Demokrit. Diels Fragment 278. Berlin, 1912, Band II, S.117 f.

⁹³ La Philosophie dans le Boudoir. Ibid., S.242.

⁹⁴ S.Reinach. "La prohibition de l'inceste et le sentiment de la pudeur", in: Cultes, Mythes et Religions. Paris, 1905, Band I, S.157.

⁹⁵ La Philosophie dans le Boudoir. Ibid., S.238.

ной степени величайшую пользу принесло бы отлучение их от этого.”⁹⁶ “Узы Гименя” следует расторгнуть исходя из интересов общества, детям “*absolument interdite*” знать, кто их отец, они есть “*uniquement les enfants de la patrie*”,⁹⁷ а та анархия, индивидуализм, которые Сад провозглашает, борясь с законами,⁹⁸ выливаются в абсолютное господство всеобщего, республики. Подобно тому, как свергнутый бог возвращается в обличий более жестокого идола, прежнее буржуазное охранительное государство возвращается в насилии фашистского коллектива. Садам была продумана до конца идея государственного социализма, на первых шагах которого потерпели фиаско Сен-Жюст и Робеспьер. И в то время как их, своих самых преданных политиков, буржуазия отправила на гильотину, своего самого чистосердечного писателя она изгнала в ад парижской *Bibliothèque Nationale*. Ибо скандальная хроника Жюстины и Жюльетты, производимая прямо-таки конвейерным способом, в стиле столетия восемнадцатого создавшая прообраз бульварщины девятнадцатого и массовой литературы двадцатого, является гомеровским эпосом, срывающим последние мифологические покровы: историей мышления как органа господства. Ну а приходя в ужас от самого себя, в собственном же зеркале отобразившегося, позволяет он проникнуть взором в то, что лежит за его пределами. Не идеал социальной гармонии, который и Саду мерещится в отдаленном будущем: “*gardez vos frontières et restez chez vous*”,⁹⁹ и даже не социалистическая утопия, развиваемая в истории Заме,¹⁰⁰ но то, что Сад не предоставил противникам Просвещения возможности заставить последнее ужаснуться самого себя, делает творчество Сада инструментом его спасения.

В отличие от апологетов буржуазии черные ее писатели не стремились уклониться от последствий Просвещения путем создания гармоничных доктрин. Не пытались они и утверждать, что формалистический разум находится в более тесной связи с моралью, чем с безнрав-

⁹⁶ *Ibid.*, S.238-49.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Juliette. Ibid.*, Band IV, S.240-44.

⁹⁹ *La Philosophie dans le Boudoir. Ibid.*, S.263.

¹⁰⁰ *Aline et Valcour. Ibid.*, Band II, S.1 81 if.

ственностью. В то время как светлые писатели оберегали нерасторжимый союз разума и злодеяния, буржуазного общества и господства, его отрицая, первыми беспощадно изрекалась шокирующая истина."...В оскверненные жено- и детоубийством, содомией, убийствами, проституцией и подлостями руки влагает небо эти богатства; чтобы вознаградить меня за эти бесчестные поступки, предоставляет их оно в мое распоряжение", говорит Клэрвил, резюмируя историю жизни своего брата.¹⁰¹ Она преувеличивает. Правосудие скверного господства не столь уж полностью последовательно, чтобы вознаграждать одни только мерзости. Но только преувеличение тут и верно. Сущностью праистории является проявление величайшего ужаса в единичном. За статистическими отчетами о числе вырезанных во время погрома, включающими также и из сострадания пристреленных, скрывается та сущность, которая на свет дня выводится единственно лишь точным изображением исключительного случая, наиболее ужасного зверства. Счастливое существование в ужасном мире опровергается просто самим бытием этого мира как исполненное злодеяния. Тем самым последнее становится сущностью, первое - ничем. Правда, до убийства собственных детей и жен, до проституции и содомии у верхов дело в буржуазную эпоху доходит реже, чем у тех, кем правят, кто перенял нравы властителей прежних дней. Зато даже в отдаленных столетиях последние имели обыкновение нагромождать, когда речь шла о власти, целые горы трупов. Перед лицом убеждений и деяний властителей эпохи фашизма, в котором находит свое воплощение сама суть господства, блекнет восторженное описание жизненного пути Бриза-Тесты, в котором им, однако, предоставляется возможность распознать самих себя, низводясь до уровня безобидной банальности. Историография частных пороков у Сада, равно как уже и у Мандевиля, суть не что иное, как предвосхищение общественных добродетелей тоталитарной эры. Неспособность разума выдвинуть принципиальный аргумент против убийства, неспособность, которую не затушевывают, но о которой кричат на весь мир, воспламеняет ту ненависть, с которой именно прогрессисты даже се-

¹⁰¹ Juliette. Ibid., Band V, S.232.

годня продолжают преследовать Сада и Ницше. Иначе, чем логический позитивизм, ловили и тот и другой на слове науку. То обстоятельство, что более решительно, чем он, они не отступались от рации, имеет определенный тайный смысл, а именно, смысл освобождения от покровов той утопии, которую, наряду с кантовским понятием разума, содержит в себе всякая великая философия: утопии человечества, которое, само уже не будучи обезображенным, более не нуждается в обезображивании. Провозглашающие тождество господства и разума безжалостные учения оказываются милосерднее доктрин нравственных лакеев буржуазии. “Где подстерегают тебя самые величайшие опасности?” задался однажды вопросом Ницше,¹⁰² “в сострадании”. Своим отрицанием ее спасает он ту непоколебимую уверенность в человеке, которую изо дня в день предают все отрадно-утешительные заверения в ней.

¹⁰² Die Froehliche Wissenschaft. Ibid., Band V, S.205.

КУЛЬТУРИНДУСТРИЯ

Просвещение как обман масс

Социологическое воззрение, в соответствии с которым утрата точки опоры в объективной религии, разложении последних резидиумов докапиталистической эпохи, техническая и социальная дифференциация и специализация приводят к культурному хаосу, уличается в несостоятельности повседневно. Сегодня культура на все накладывает печать единообразия. Кино, радио, журналы образуют собой систему. Каждый в отдельности ее раздел и все вместе выказывают редкостное единодушие. Даже противоположные по политической направленности эстетические манифестации одинаковым образом возносят хвалу общему стальному ритму. В декоративном отношении управленческие и выставочные площадки индустрии в авторитарных и прочих странах едва ли в чем-либо отличаются друг от друга. Повсеместно устремляющиеся ввысь светлые монументальные строения репрезентируют собой изобретательную планомерность охватывающих целые государства концернов, в которые стремглав устремилось сорвавшееся с цепи предпринимательство, памятниками которого являются лежащие окрест утрюмые жилые и деловые кварталы безотрадных городов. Более старые кварталы вокруг выстроенных из бетона центров кажутся уже трущобами, а новые бунгало по окраинам города подобно непрочным конструкциям международных ярмарок уже возносят хвалу техническому прогрессу и требуют того, чтобы после кратковременного использования они были выброшены подобно пустым консервным банкам. Градостроительные проекты, которые призваны увековечить индивидуума в качестве якобы самостоятельного в гигиеничных малогабаритных жи-

лицах, тем самым лишь еще основательнее подчиняют его противнику, тотальной власти капитала. По мере того, как центр города с целью труда и развлечения притягивает к себе, в качестве производителей и потребителей, своих жителей, его жилые ячейки беспрепятственно кристаллизуются в хорошо организованные комплексы. Очевидным единством макрокосма и микрокосма демонстрируется людям модель их культуры: ложная идентичность всеобщего и особенного. Вся массовая культура в условиях господства монополий является идентичной, а ее скелет, сфабрикованный последними понятийный костяк, становится отчетливо очерченным. В его (господства монополий) маскировке правители уже более не столь уж и заинтересованы, их власть упрочивается по мере того, как все более и более brutальной она себя выказывает. Кино и радио уже более не требуется выдавать себя за искусство. Та истина, что они являются не чем иным, как бизнесом, используется ими в качестве идеологии, долженствующей легитимировать тот хлам, который они умышленно производят. Они сами себя называют индустриями, и публикуемые цифры доходов их генеральных директоров устраняют всякое сомнение в общественной необходимости подобного рода готовых продуктов.

Заинтересованные стороны охотно дают пояснения о культуриндустрии в технологических терминах. Утверждается, что вложенные в нее миллионы делают необходимыми процессы воспроизводства, в свою очередь неизбежно приводящие к тому, что на несметных по числу местах одинаковые потребности удовлетворяются посредством стандартизированных продуктов. Техническим противоречием между немногочисленными производственными центрами и рассредоточенным потреблением обуславливается - де необходимость организации и планирования со стороны распорядителей. Ну а стандарты якобы изначально ведут свое происхождение от потребностей потребителей: поэтому-то они и принимаются почти что без сопротивления. На самом деле тут имеет место замкнутый круг между манипуляцией и являющейся реакцией на нее потребностью, делающий все более плотным и плотным единство системы. При этом умалчивается о том, что той почвой, на которой техникой приобретает власть над обществом, явля-

ется власть экономически сильнейших над обществом. Техническая рациональность сегодня является рациональностью самого господства как такового. Она есть свойство отчужденного от самого себя общества быть обществом принуждения. Автомобилями, бомбами и кино целое сплачивается воедино до тех пор, пока присущая им нивелирующая стихия не начинает пробовать свои силы на той самой несправедливости, служительницей которой она являлась. Пока что всем этим техника культуриндустрии была превращена в феномен стандартизации и серийного производства, а в жертву было принесено то, что всегда отличало логику произведения искусства от логики социальной системы. Однако вину за это никоим образом не следует возлагать на некий закон развития техники как таковой, но только лишь - на способ ее функционирования в экономике сегодня. Потребность, способная противостоять центральному контролю, уже подавляется контролем индивидуального сознания. Шаг вперед от телефона к радио привел к отчетливому распределению ролей. Первый все еще позволял его пользователям либерально играть роль субъекта. Второе демократично превращает всех одинаковым образом в слушателей с тем, чтобы совершенно авторитарно отдать их во власть между собой полностью идентичных программ различных станций. Не получила развития предоставляющая возможность индивидуального отклика аппаратура, а частным радиопередачам отказано в праве обладать какой-либо свободой деятельности. Они ограничены апокрифической сферой "любительства", которая в придачу к тому еще и организуется сверху. Любой всплеск спонтанного самовыражения со стороны публики немедленно становится управляемым и абсорбируется в рамках официального радиовещания благодаря усилиям охотников за талантами, конкурсам перед микрофоном, протежируемым мероприятиям по профессиональному отбору самого различного толка. Таланты являются собственностью индустрии еще задолго до того, как выставляются ею напоказ: в противном случае они не стремились бы так рьяно приобщиться к ней. Расположение публики, и мнимо и на самом деле благоприятствующей системе культуриндустрии, есть часть системы, а не ее оправдание. Когда какая-либо область искусства начинает следовать рецепту, заимство-

ванному из практики по медиативному типу и материалу бесконечно от нее удаленной другой области, когда драматическая интрига “мыльных опер” на радио превращается в конечном итоге в нравоучительный пример преодоления технических трудностей, преодолеваемых одинаковым образом и как “jam” и на предельных высотах жизни джаза, или когда оскорбительная “адаптация” фрагмента бетховенской симфонии осуществляется таким же образом, каким происходит адаптация романа Толстого посредством фильма, рекурс к желаниям публики становится пустой отговоркой. Гораздо ближе к сути дела подходит объяснение, принимающее во внимание удельный вес в данном процессе технического аппарата и персонала, которых, однако, вплоть до мельчайших подробностей следует рассматривать в качестве составной части механизма экономического отбора. К этому добавляется также и договоренность, по меньшей мере коллективная решимость, исполнительной властью обладающих не производить или не пропускать ничего из того, что не укладывается в их таблицы, что не соответствует их представлению о потребителе, и прежде всего - что не похоже на них самих.

Если в нашу эпоху объективная тенденция социального развития находит свое воплощение в субъективно сомнительных замыслах и планах генеральных директоров, то оригинально таковые являются не чем иным, как замыслами и планами наиболее могущественных секторов индустриального производства - металлургии, нефтедобычи, энергетики, химической промышленности. По сравнению с ними монополии в области культуры выглядят слабыми и зависимыми. Суетливо вынуждены угодничать они перед истинными властителями, дабы сфера их производственной деятельности в массовом обществе, специфический тип товара которой и без того имеет слишком много общего с добродушным либерализмом и еврейскими интеллектуалами, не подверглась серии чисток. Зависимость даже самых мощных радиостанций от электроиндустрии, или зависимость кинопроизводства от банков характеризуют всю данную сферу в целом, отдельные отрасли которой, в свою очередь, переплетены между собой в экономическом отношении. Здесь все настолько тесно прилегает друг к другу, что концентрация духовного потенциала достигает объемов, позволяющих

пренебрегать демаркационной линией, пролегающей между различными фирмами и техническими подразделениями производственного процесса. Не считающееся ни с чем единство киноиндустрии является предвестником грядущего единства в политике. Постоянно подчеркиваемые различия, такие, например, как между фильмами категорий А и В или публикациями в журналах разного уровня цен, порождаются не столько самой сутью дела, сколько служат задаче классификации, организации и учета потребителя. Здесь для всех что-нибудь да оказывается предусмотренным с тем, чтобы ускользнуть не мог никто, различия культивируются и пропагандируются. Обеспечение публики иерархией серийного производства качеств способствует все более и более сплошной квантификации. Якобы спонтанно каждый должен вести себя в соответствии с заранее определяемым посредством индексации своим “уровнем” и иметь дело только с теми категориями массовых продуктов, которые производятся специально для его типа. В качестве статистического материала потребители подразделяются на географической карте исследовательских инстанций, уже более ничем не отличающихся от инстанций пропагандистских, на группы сообразно их доходу, образуя собой красные, зеленые и голубые поля.

Схематизм используемого тут метода проявляет себя в том, что, в конечном итоге, механически дифференцированные продукты во всех случаях ни в чем не отличаются друг от друга. То, что различие между серийными изделиями фирм “Крайслер” и “Дженерал Моторс” по сути дела является иллюзорным, известно любому ребенку, различиями подобного рода увлекающемуся. Дискуссии знатоков по поводу преимуществ и недостатков данного рода продуктов способствуют лишь увековечиванию видимости якобы наличной тут конкуренции и возможности выбора. С презентациями продукции фирм “Уорнер Бразерс” и “Метро Голдвин Мейерс” дело обстоит ничуть не иначе. Но даже и различия между более дорогими и более дешевыми моделями из коллекции образцов одной и той же фирмы все более и более стираются: в случае автомобилей - различия числа цилиндров, объемов двигателей, патентных данных приспособлений, в случае фильмов - различия числа кинозвезд, обилия затрат на технику, используемого труда и декора-

ций, а также степени использования более свежих психологических формул. Единым мерилom качества является тут доза “conspicuous prouction”, выставленных напоказ инвестиций. Соответствующие лишь бюджету культуриндустрии стоимостные дифференциации вообще не имеют никакого отношения к различиям содержательным, к самому смыслу производимых продуктов. Равным образом и технические средства коммуникации без устали понуждаются к унификации. Телевидение стремится к синтезу радио и фильма, который не будет достигнут до тех пор, пока заинтересованные стороны не придут к договоренности, но чьи безграничные возможности обещают столь радикально обеднить используемый тут материал в эстетическом отношении, что завтра сегодня еще слегка замаскированная идентичность всех индустриальным методом производимых продуктов культуры может уже открыто восторжествовать - издевательски смехотворное исполнение вагнеровской мечты о синтетически-целостном произведении искусства. Здесь удастся достичь более совершенной гармонии слова, образа и музыки, чем в “Тристане”, потому, что все чувственно воспринимаемые элементы, в своей совокупности безотказно протоколирующие поверхностный слой социальной реальности, в принципе производятся ходом единого в техническом отношении производственного процесса, единство которого они и выражают в качестве своего подлинного содержания. В этот процесс интегрированы все элементы производства, начиная с заранее ориентирующейся на фильм романной концепции и кончая последним шумовым эффектом. Он знаменует собой триумф инвестированного капитала. Выжечь в сердцах обездоленных претендентов на рабочие места клеймо всесилья последнего как клеймо их подлинного господина - вот в чем состоит задача всякого фильма, независимо от сценария, который предусматривается руководителями производственного процесса в каждом отдельном случае.

Лишь на единство производственного процесса должен ориентироваться тот, кто располагает свободным временем. Ту функцию, исполнение которой все еще ожидалось кантовским схематизмом от субъекта, а именно функцию предваряющего приведения в соответствие

чувственного многообразия с фундаментальными понятиями, берет на себя сегодня вместо субъекта индустрия. Она практикует схематизм в качестве самой первой услуги клиенту. Кант полагал, что в душе человека действует тайный механизм, уже препарирующий все непосредственные чувственные данные таким образом, что они оказываются точно соответствующими системе чистого разума. В наши дни эта тайна наконец разгадана. В то время как планомерное функционирование этого механизма обеспечивается теми, кем вообще поставляется чувственно данное, а именно работниками культуриндустрии, а самой последней он навязывается гравитационным полем остающегося, несмотря на все попытки его рационализации иррациональным обществом, при прохождении через различные инстанции имеющего тут место производственного процесса эта злосчастная тенденция преобразуется в хитроумный замысел его исполнителей. Самим потребителям уже более не нужно классифицировать ничего из того, что оказывается предвосхищенным схематизмом процесса производства. Бескрылое искусство для народа заполняет собой место того мечтательного идеализма, который был явно не по размеру идеализму критическому. Все является продуктом сознания, у Мальбранша и Беркли - сознания Бога, в массовом искусстве - сознания вполне земного руководства производственного процесса. Не только циклически сменяющие друг друга типы шлягеров, звезд и мыльных опер выдерживают тут натиск времени в качестве закоснелых инвариантов, но даже само специфическое содержание развертывающейся тут игры, казалось бы самое что ни на есть изменчивое, оказывается производным от последних. Детали становятся взаимозаменяемыми. Короткие серии интервалов в шлягере, столь запечатлевающиеся в памяти, скоропреходящее посрамление главного героя, которое он умеет переносить шутя, идущая лишь на пользу трепка, задаваемая любовнице сильной рукой являющейся воплощением мужественности звезды, его суровая непреклонность в отношениях с избалованной наследницей - все это, как и прочие подробности, суть не что иное, как готовые клише, все равно здесь ли там ли употребляемые, и в каждом отдельном случае всецело определяющиеся целью, объединяющей их в схему. Доказать это на деле, став его составными

частями - вот в чем единственное оправдание их существования. Сплошь и рядом по началу фильма нетрудно угадать его концовку, кто будет вознагражден, кто наказан, а кто забыт, и уж тем более в области легкой музыки подготовленное ухо без труда угадывает по первым тактам шлягера его продолжение и чувствует себя счастливым, когда догадка действительно сбывается. Среднестатистическое число слов в новелле не допускает вольностей в обращении с собой. Даже сами импровизации, впечатляющие эффекты и остроты являются результатами калькуляции тут точно так же, как и скрепляющий их каркас. Они находятся в ведении особого рода специалистов, чье скудное разнообразие легко позволяет распределить их по офисам и бюро. Культуриндустрия развивалась под знаком превосходства эффекта, осязаемого достижения, технической детали над производением, некогда являвшимся носителем идеи и ликвидируемого совместно с последней. Вследствие эмансипации детали она становится неподатливой и берет на себя роль, в период от романтизма до экспрессионизма, выразителя необузданной экспрессии, носителя направленного против организации протеста. В музыке одиночному гармоничному эффекту удалось затушевать, оттеснить на второй план восприятие целостной формы произведения, в живописи отдельному цветовому пятну - композицию образа, в романе психологической убедительности - его архитектуру. Всему этому культуриндустрия кладет конец своей тотальностью. И в то время как она более не желает знать ничего, кроме эффектов, именно непокорность последних сокрушает она, подчиняя их формуле, подменяющей собой произведение. Одинаковая участь постигает тут и целое и части. Целое противопоставляется деталям неумолимо и совершенно к ним безотносительно, наподобие карьеры преуспевающего человека, где все подробности должны играть роль иллюстраций и документальных свидетельств, в то время как сама она есть не что иное, как сумма совершенно идиотских событий. Так называемая объемлющая идея подобна канцелярской папке, учреждающей порядок, но никак не связность. Ничуть друг другу не противореча и друг с другом не будучи связанными, целое и частность выказывают поразительное сходство. Их заранее гарантированная гармония является издевкой над гармонией, что дости-

галась в великих произведениях буржуазного искусства. В Германии кладбищенским покоем диктатуры отдавали уже самые что ни на есть развеселые фильмы демократической поры.

Весь мир становится пропущенным через фильтр культуриндустрии. Хорошо известное ощущение кинозрителя, воспринимающего улицу, на которой стоит кинотеатр, как продолжение только что закончившегося зрелища именно потому, что последнее всегда ориентировано на точное воспроизведение обыденного восприятия мира, становится путеводной нитью производственного процесса. Чем более плотным и сплошным оказывается осуществляемое его техниками удвоение эмпирической предметности, тем легче удается сегодня утвердиться иллюзии, что внешний мир является всего лишь непосредственным продолжением того, с которым сводят знакомство в кинотеатре. С момента произошедшего с молниеносной быстротой внедрения звукового кино механическое приумножение действительности целиком и полностью начинает обслуживать этот замысел. В соответствии с этой тенденцией реальной жизни уже более не допускается в чем-либо отличаться от звукового фильма. Благодаря тому, что он, далеко превосходя иллюзионизм театра, уже более не оставляет фантазии и мысли зрителей того измерения, в котором они, не теряя нити повествования, в рамках фильма и в то же время совершенно не подлежащим контролю образом могли бы отвлечься и дистанцироваться от его точной фактуры, учит он отданных ему на произвол самым непосредственным образом идентифицировать его с реальной действительностью. Захирение способности к воображению и спонтанной реакции у потребителей культуры сегодня уже не нужно сводить к действию определенных психологических механизмов. Ее продукты сами, и в первую очередь самый характернейший, звуковой фильм, парализуют какую бы то ни было возможность для них обладать такого рода способностями. Они построены таким образом, что, хотя для их адекватного восприятия и требуется схватывать все быстро и аккуратно, быть наблюдательным и сведущим, именно мыслительную активность воспрещают они тому зрителю, который не хочет ничего упустить из проносящегося перед его взором потока фактов. Хотя требующееся тут от зрителя напряжение

является столь хорошо рассчитанным, что в конкретных случаях не возникает необходимости в его актуализации, оно все же оказывается достаточным для того, чтобы вытеснить воображение. Того, кто поглощен космосом фильма до такой степени, что уже не способен дополнить его тем, благодаря чему он лишь и становится космосом, вовсе не обязательно должны в момент демонстрации фильма всецело занимать особенности его машинерии и достигнутые ею успехи. По все иным фильмам и прочим фабрикатам культуры, с которыми он должен быть знаком, ему уже настолько хорошо известна степень требуемого тут внимания, что она достигается автоматически. Могущество индустриального общества подчиняет себе человека раз и навсегда. Продукты культуриндустрии могут рассчитывать на то, что они будут проворно потреблены даже в состоянии предельного расстройтва. Ибо всякий человек является моделью гигантской экономической машинерии, изначально и постоянно, и в ситуации труда и в ситуации ему подобно-го отдыха удерживающей всех в напряжении. Из любого звукового фильма, из любой радиопередачи может быть почерпнуто то, что в качестве социального эффекта не может быть приписано никому в отдельности, но только всем вместе. Каждая отдельно взятая манифестация культуриндустрии безотказно воспроизводит человека как то, во что превратила она его в целом. Надзор за тем, чтобы процесс простого воспроизводства духа случайно не привел к расширенному его воспроизводству, осуществляется всеми ее агентами, от продюсера до женских союзов.

Жалобы искусствоведов и адвокатов культуры на угасание стилеобразующей энергии в западноевропейской культуре ужасающе необоснованны. Стереотипное претворение всего, даже того, что еще не успело стать мыслью, в схему механической репродуцируемости оставляет далеко позади себя по ригоризму и значимости любой из ныне действующих стилей, при помощи понятия которого поборникам образования удастся преобразить докапиталистическое прошлое в органическое. Никакому Палестрине не удавалось быть более пуристом в преследовании непредвиденного и неразрешимого диссонанса, чем джазовому аранжировщику в случае любого поворота, не укладываю-

щегося в рамки общепринятого жаргона. Когда последний подвергает джазовой обработке Моцарта, он видоизменяет его не просто там, где тот слишком труден или серьезен, но также и там, где тому удавалось достичь гармонии мелодии просто иначе, возможно более простым образом, чем принято сегодня. Никакой средневековый строитель не подвергал столь пристрастному досмотру сюжеты церковных витражей и скульптур, какому со стороны студийной иерархии подвергается материал романов Бальзака или Виктора Гюго, прежде чем быть одобренным в качестве ходового товара. Никакой капитул не был способен с такой же точностью определить степень испытываемых в полном соответствии с *ordo* всевышней любви адских мук осужденного, с какой руководством производственного процесса определяется степень мучений главного героя или предел, до которого может задраться юбка наклонившейся леди в литании Большого фильма. Эксплицированный и имплицитный, экзотерический и эзотерический каталог запрещенного и дозволенного распространяется на столь многое, что уже не только ограничивает собой сферу допустимого, но и всецело властвует в ней. В соответствии с ним обретают и меняют свою форму самые мельчайшие подробности. Подобно своему антагонисту, авангардистскому искусству, культуриндустрия путем запретов учреждает позитивным образом свой собственный язык, со своим собственным синтаксисом и вокабулярием. Перманентной погоней за новыми эффектами, тем не менее остающимися привязанными к старой схеме, лишь усиливается, в качестве дополнительного правила, власть стереотипа, из-под ярма которой стремится вырваться каждый отдельно взятый эффект. Все вновь появляющееся оказывается столь обстоятельно проштемпелеванным, что в конечном итоге уже более не может встретиться ничего такого, что с самого начала не несло бы на себе печать жаргона и не удостоверяло бы себя с первого взгляда в качестве апробированного. Как раз сами матадоры, осуществляющие процесс производства и воспроизводства, являются теми, кто с такой легкостью, свободой и удовольствием изъясняются на жаргоне, как если бы он был настоящим языком, который он на самом деле давным-давно заставил умолкнуть. Таков идеал естественности в данной отрасли. И он становится все более

и более навязчивым по мере того, как совершенствующейся технике все более и более удается свести на нет напряжение, существующее между искусственно созданным изображением и обыденной действительностью. Этот парадокс травестийно переодетой в естество рутины ощутим во всех проявлениях культуриндустрии, а во многих он становится прямо-таки осязаемым. Джазовый музыкант, исполняющий что-либо из серьезной музыки, скажем простейший менуэт Бетховена, синкопирует его произвольно и, снисходительно улыбаясь, позволяет себе все же соблюдать тактовый размер. Такой естественностью, усложняемой всегда самыми наисовременнейшими и себя самое утрирующими претензиями специфического медиума, порождается новый стиль, а именно "система некультуры, за которой можно было бы признать известного рода "единство стиля", если хоть какой бы то ни было смысл имело рассуждать о стилизованном варварстве"¹.

Общепринятая обязательность подобного рода стилизации способна даже выходить за рамки официозных предписаний и запретов; сегодня шлягеру скорее простится то, что он не придерживается ни тридцатидвухтактного ритма, ни размера ноны, чем содержащаяся в нем таинственнейшая деталь мелодии или гармонии, явно не соответствующая идиоме. Все нападки на принятые в коммерческой практике обычаи, предпринимаемые Орсоном Уэллсом, будут ему прощены, ибо, будучи заранее рассчитанными отклонениями, они усердно способствуют упрочению действенности системы. Принудительный характер обусловленной техникой идиомы, продуцируемой кинозвездами и режиссерами в качестве естественной, природной данности с тем, чтобы целые нации ассимилировали ее в качестве собственной природы, затрагивает столь тонкие нюансы, что они почти что достигают уровня изощренности средств, используемых произведением авангардистского искусства, посредством которых последнее в противоположность первой служит делу истины. Редкостная способность педантичного следования предписаниям идиомы естественности во всех отраслях культури-

¹ Nietzsche. "Unzeitgemäesse Betrachtungen". Werke. Grossoktavausgabe. Leipzig 1917. Band I, S.187.

дустрии становится критерием мастерства. Что и как говорится ими должно быть контролируемо на уровне обыденного языка, совсем как в логическом позитивизме. Продуценты выступают тут в роли экспертов. Идиома требует использования поразительной по величине производительной силы, ею поглощаемой и растрачиваемой. Самым что ни на есть сатанинским образом ей удалось преодолеть культурконсервативное различие между подлинным и искусственным, поддельным стилем. Искусственным можно было бы, пожалуй, назвать такой стиль, который извне навязывается тому противящейся конфигурации зарождающегося образа. В культур же индустрии вся материальная фактура вплоть до своих самых мельчайших элементов порождается той аппаратурой, что и жаргон, ее абсорбирующий. Споры, разгорающиеся между специалистами в области искусства и спонсорами либо цензорами по поводу уж сверх всякой меры невразумительного вранья, свидетельствуют не столько о наличии напряженности в эстетической сфере, сколько о дивергенции интересов. Репутация специалиста, в которой зачастую последним остаткам профессиональной автономии все еще удается обрести некое подобие прибежища, вступает в конфликт с бизнес-политикой церкви или концерна, товары культуры изготавливающего. Но тем не менее по самому своему существу предмет, о котором идет речь, оказывается превращенным в ходкий товар еще до того, как дело доходит до спора между инстанциями. Еще до того, как Занук заполучил ее в собственность, воссияла святая Бернадетта в поле зрения воспевавших ее поэтов в качестве рекламы, адресованной всем заинтересованным консорциумам. Таков оказался итог всех связанных с некогда зарождавшимся образом побуждений. Именно поэтому стиль культурииндустрии, которому уже более нет нужды испытывать себя на оказывающем сопротивление материале, является в то же время и отрицанием стиля. Примирению всеобщего с особенным, регулятивного правила со специфическими притязаниями предмета, лишь осуществляя которое обретает стиль свое собственное содержание, тут и вовсе нет места потому, что дело вообще уже более не доходит до возникновения напряжения между полярными полюсами: крайности, которые сходятся, становятся до такой степени уныло тождественными, что все-

общее обретает способность подменять собой особенное и наоборот.

И все же этот искаженный образ, эта карикатура на стиль проливает свет на некоторые особенности канувшего в прошлое подлинного стиля. В культуриндустрии понятие подлинного стиля зримо воспринимается в качестве эстетического эквивалента отношений господства. Представление о стиле как о чисто эстетической закономерности является обращенной в прошлое романтической фантазией. В единстве стиля не только христианского средневековья, но также и Ренессанса находит свое выражение в каждом из обоих случаев различная структура социального насилия, а не смутный опыт поработенных, всеобщее в себе содержащий. Великими художниками никогда не были те, кто являл собой безупречное и совершенное воплощение стиля, но те, кто вбирал в свои творения стиль в качестве твердыни, противостоящей хаотической экспрессии страдания, в качестве истины негативной. Благодаря стилю в их творениях выражаемое ими обретало ту силу, без которой мимо нас неслышно проносится поток бытия. Даже те из них, что именуются классическими, как например музыка Моцарта, содержали в себе объективные тенденции, репрезентировавшие собой нечто совсем иное, нежели тот стиль, воплощением которого они являлись. Вплоть до Шенберга и Пикассо большим художникам было присуще недоверие по отношению к стилю и в решающем они гораздо менее полагались на него, чем на логику самого дела. То, что полемически подразумевалось экспрессионистами и дадаистами, говорившими о неистинности стиля, сегодня триумфально утверждает себя в певческом жаргоне популярных исполнителей, в тщательно рассчитанной грации кинозвезды и даже в том мастерстве, которого удастся достичь в фотографическом снимке убогой хижины сельскохозяйственного рабочего. В любом произведении искусства его стиль представляет собой не что иное, как обещание. В силу того, что благодаря стилю им выражаемое приобщается к господствующим формам всеобщего, к музыкальному, живописному, вербальному языку, намечается перспектива его примирения с идеей правильной, настоящей всеобщности. Это обещание произведения искусства установить истину путем запечатлевания образа в социально признанных формах является столь же необ-

ходимым, сколь и лицемерным. Оно утверждает реальные формы существующего порядка вещей в качестве абсолютных тем, что внушает ложную надежду на исполнение чаемого в сфере эстетических дериватов. В этом отношении претензия искусства всегда также оказывается претензией идеологии. И никаким иным образом, кроме конфронтации с традицией, находящей свое выражение в стиле, искусство не способно обрести возможность передавать страдание. Тот момент в производстве искусства, благодаря которому ему удается выйти за пределы действительности, подняться над ней, и в самом деле неразрывно связан с его стилем; и тем не менее, он никоим образом не совпадает с достигаемой тут гармонией, с сомнительным единством формы и содержания, внутреннего и внешнего, индивидуума и общества, но проявляет себя в тех его чертах, в которых обнаруживает себя присущий ему разлад, в неизбежной неудаче страстного стремления к идентичности. Вместо того, чтобы признать себя обреченными на подобного рода поражение, в котором стиль великих произведений искусства с самых давних пор подвергался самоотрицанию, творения более слабые всегда предпочитали полагаться на свое сходство с другими, на суррогат идентичности. Культуриндустрия окончательно абсолютизирует имитацию. Не будучи не чем иным, как только стилем, она выдает самую сокровенную тайну последнего, тайну послушного повиновения общественной иерархии. Сегодня эстетическим варварством доводится до своего логического конца то, что угрожало творениям духа с тех самых пор, как их начали сводить воедино и подвергать нейтрализации в качестве культуры. Говорить о культуре всегда было делом, культуре противном. В качестве общего знаменателя термин “культура” виртуально уже включает в себя процедуры схематизации, каталогизации и классификации, приобщающие культуру к сфере администрирования. И лишь на уровне индустриальном, где происходит ее последовательное поглощение, достигается полное соответствие этому понятию культуры. Подчиняя одинаковым образом все отрасли духовного производства одной-единственной цели - скрепить все чувства человека с момента выхода его из здания фабрики и до момента прохождения контрольных часов там же на следующее утро печатью как раз того трудового про-

цесса, непрерывный ход которого он сам обязан поддерживать в течение рабочего дня, - эта ситуация самым издевательским образом воплощает то понятие единой культуры, которое было выдвинуто философами-персоналистами в противовес ее омассовлению.

Так доказывает себя культуриндустрия, самый непреклонный из всех стилей, в качестве конечной цели того либерализма, которому вменялось в вину отсутствие стиля. Не только ее категории и содержательные мотивы ведут свое происхождение от осуществлявшихся в либеральной сфере разработок, от доместицированного натурализма, оперетты и ревью: современные концерны в области культуры являются тем единственным местом в экономике, где до поры до времени наряду с соответствующим типом предпринимателя удастся выжить и фрагменту повсеместно упраздняемой операционной сферы. Здесь все еще может сделать карьеру тот, кто не только полностью погружен в интересы дела, но и выказывает некую отзывчивость. Все то, что способно оказывать сопротивление, имеет шанс выжить только приспособливаясь. Будучи хоть единожды зарегистрированным в своем отличии от культуриндустрии, оно уже становится составной частью ее подобно тому, как составной частью капитализма становится зачинатель аграрной реформы. Реально вполне оправданное бунтарство становится товарным знаком того, кому удалось снабдить производство новыми идеями. Гласность в современном обществе не дает делу дойти до сколько-нибудь внятных обвинений, когда же это происходит, по их тональности обладающему тонким слухом без труда удастся распознать те влиятельные круги, под эгидой которых совершается умиротворение бунтаря. Чем более непреодолимой становится пропасть между хором и главенствующей верхушкой, тем вернее гарантия, что место наверху будет предоставлено любому из тех, кто сумеет заявить о своем превосходстве посредством хорошо организованной демонстрации своей неординарности. Тем самым в пределах культуриндустрии удастся выжить тенденции либерализма открывать самую широкую дорогу своим наиболее даровитым представителям. Открывать путь знатокам своего дела сегодня все еще является функцией во всех остальных случаях уже ос-

новательно регулируемых рыночных отношений, свобода которых как во времена расцвета искусства, так и во все иные периоды была свободой для глупцов умирать с голоду. Далеко не случайно то обстоятельство, что система культуриндустрии первоначально возникает в либеральных индустриальных странах, равно как и то, что именно здесь успеха добиваются все характерные для нее медиа, в особенности кино, радио, джаз и иллюстрированные журналы. Само собой разумеется, что своим прогрессом они обязаны общим законам движения капитала. Гомон и Пате, Ульштайн и Хугенбер следовали, и не без успеха, уже имевшей интернациональный размах тенденции; экономическая зависимость европейского континента от США в послевоенный период и инфляция также внесли тут свою лепту. Убеждение, согласно которому варварство культуриндустрии является следствием "культурного запаздывания", несоответствия ментальности американцев уровню развития техники, совершенно иллюзорно. Отсталой по отношению к тенденции создания монополий в области культуры как раз была Европа в дофашистский период. Но именно этой отсталости должен был быть благодарен дух за последние остатки самостоятельности, а его последние носители - за то жалкое, но все же существование, которое позволено им было владеть. В Германии отсутствие пронизывающего все сферы жизни демократического контроля произвело к парадоксальным результатам. Много до сих пор исключено из зоны действия механизма рыночных отношений, получившего полную свободу действий в западных странах. Немецкая система образования, включая университеты, авторитетные в мире искусства театры, большие оркестры, музеи пользовались различного рода протекционистской поддержкой. Политические силы, на уровне государства и муниципальных общин, которым эти институты достались в наследство от абсолютизма, отчасти позволили им сохранить ту независимость от декларируемых рынком отношений господства, гарантом которой вплоть до девятнадцатого столетия выступали князья и прочие феодальные властители. Это обстоятельство усилило сопротивляемость искусства в поздней фазе его развития диктату механизма спроса и предложения и позволило ему возрасти до уровня, далеко превосходящего степень фактически ока-

зываемой ему протекции. На самом же рынке дань, воздаваемая не могущему быть использованным и не находящему спроса качеству, была транспонирована в покупательную способность: именно это позволило порядочным издателям в области литературы и музыки поддерживать таких авторов, единственной прибылью от которых было признание со стороны знатоков. Но полностью прибрать к рукам художника удавалось лишь неустанно сопровождаемому впечатляющими угрозами понуждению включиться в деловую жизнь в качестве эксперта в сфере эстетики. Некогда, подобно Канту и Юму, подписывались они в письмах “Ваш покорнейший слуга” и подрывали основы трона и алтаря. Сегодня они обращаются к главам правительств по имени и на ты и покорно следуют в любом из своих творческих порывов суждениям и оценкам своих безграмотных хозяев. Анализ, данный Токвилем сто лет тому назад, полностью оправдался. В условиях господства частной монополии на культуру действительно “тирания оставляет в покое тело и переходит к решительной атаке на душу. Властитель более уже не заявляет тут: ты должен думать, как я, или умереть. Он заявляет: ты волен думать не так, как я, твоя жизнь, твое имущество, все твое останется при тебе, но начиная с этого дня ты будешь чужаком среди нас”². То, что не выказывает своей конформности, обрекается на экономическое бессилие, находящее свое продолжение в духовной немощи оригинальничающего чудачества. Будучи исключенным из производственного процесса, подобного рода оригинал без труда превращается в неполноценного. В то время как сегодня в сфере материального производства наблюдается распад механизма спроса и предложения, он продолжает действовать в сфере надстройки в качестве механизма контроля, идущего на пользу правящим кругам. Потребителями являются рабочие и служащие, фермеры и представители мелкой буржуазии. Капиталистическому производству удастся настолько прочно закабалить их и телом и душой, что безо всякого сопротивления они становятся жертвой всего того, что им предлагается. Поскольку так уж повелось, что угнетенные всегда относились к заповедям морали, навязываемой им

²A. de Tocqueville. “De la Democratie en Amerique”. Paris 1864, Band II, S.151.

их повелителями, с большей серьезностью, чем сами последние, сегодня обманутые массы в гораздо большей степени чем те, кто преуспел, становятся жертвой мифа об успехе. Они ведь руководствуются своими собственными желаниями. И потому они непоколебимо отстаивают именно ту идеологию, посредством которой их обращают в рабство. Дурная любовь народа ко всему тому, что учиняют над ним, во многих случаях даже опережает изобретательность правящих инстанций. По своему ригоризму она далеко превосходит ригоризм Хейс-офиса, а в великие моменты истории оказывалась способной распалать еще больший ригоризм направленных против нее инстанций, а именно террор трибуналов. Ей требуется Мики Руни в противовес трагической Гарбо и Дональд Дак в противоположность Бетти Буп. Индустрия беспрекословно подчиняется ей же самой вынесенному вотуму. То, что в случае фирмы, которой иногда не удается полностью реализовать подписанный с заходящей звездой контракт, является накладными, смету превышающими расходами, в случае системы в целом становится легитимными издержками. Посредством откровенно наглого санкционирования потребности в хламе последней инаугурируется тотальная гармония. Компетентность и знание дела подвергаются опале в качестве ничем не оправданного самомнения тех, кто мнит себя лучше других, в то время как культура весьма демократична в распределении своих привилегий всем без остатка. В условиях подобного рода идеологического гражданского мира равным образом и конформизм покупателей и бесстыдство производства, которому они потакают, обретают покой с чистой совестью содеянного. Результатом чего становится постоянное воспроизводство одного и того же.

Всегда себе самой равной идентичностью регулируется также и отношение к прошлому. Новым в фазе массовой культуры по сравнению с фазой позднелиберальной является исключение новизны как таковой. Колеса машины вращаются на одном и том же месте. Определяя параметры потребления, она выбраковывает в то же время неапробированное в качестве рискованного. Недоверчиво косятся работники кино на любой сценарий, в основе которого не лежит успокоительным для всех образом очередной бестселлер. Именно поэтому можно постоян-

но слышать столько бесконечных разговоров об идеях, их новизне и неожиданности, т.е. о том, о чем все так хорошо осведомлены, но чего никогда не существовало в действительности. Свою лепту тут вносят также темп и динамика. Ничто не должно оставаться по-старому, все должно неустанно идти вперед, находиться в движении. Ибо только лишь универсальное торжество ритма механического производства и воспроизводства способно обещать, что ничего не изменится и ничто неуместное не возникнет. Вопрос о пополнении апробированного, уже зарекомендовавшего себя культурного инвентаря является слишком спекулятивным. Застывшие типичные формы, такие как скетч, новелла, проблемный фильм, шлягер, являются нормативно предписываемыми, грозно навязываемыми образцами вкусов среднего представителя позднелиберальной эпохи. Управленцами из культурагенств, ладящими друг с другом так, как способен ладить только менеджер с менеджером, независимо от того, является ли тот выходцем из торговли готовым платьем или выпускником колледжа, уже давным-давно осуществлена санация и рационализация объективного духа. Все выглядит так, как если бы некой вездесущей инстанцией был просмотрен и рассортирован весь имеющийся в наличии материал и составлен общеобязательный каталог культурных благ, лаконично перечисляющий все подлежащие отпуску потребителю серии. Идеи были начертаны на небосводе культуры, где, будучи сосчитанными еще Платоном и даже превратившись в сами числа, они и нашли конечное пристанище, не подлежа более ни умножению, ни изменению.

Практика развлечения, включавшая все элементы, используемые культуриндустрией, была известна задолго до возникновения последних. Теперь она управляется сверху и поставлена на современную ногу. Культуриндустрия может считать своей заслугой то, что в противоположность неоднократно предпринимавшимся в прошлом попыткам транспонирование искусства в сферу потребления было осуществлено ею самым энергичнейшим образом и даже возведено в принцип, что ей удалось освободить практики увеселения от отягощавшей их назойливой наивности и значительно улучшить методы изготовления товара. Чем тотальное она становится, чем безжалостней вынуждает она лю-

бого аутсайдера стать либо банкротом, либо членом синдиката, тем большую утонченность и возвышенность обретает она, достигая своего апогея в синтезе Бетховена и парижского казино. Победа, которую она одерживает, двояка: ту истину, что губит она вовне себя, может она на любой манер репродуцировать внутри себя в качестве лжи. “Облегченное” искусство, искусство развлекательное никоим образом не есть форма деградации. Те, кто обвиняют его в измене идеалам чистой экспрессии, питают иллюзии относительно общества. Чистота буржуазного искусства, гипостазирувавшего себя в качестве царства свободы в противовес миру материальной практики, с самого начала была куплена ценой отторжения низших классов, делу которых, делу подлинной всеобщности искусству удастся хранить верность именно благодаря его освобождению от целей, всеобщностью ложной ему навязываемых. В серьезном искусстве было отказано тем, кого тяготы и лишения повседневного существования заставляют глумиться над такой серьезностью, тем, кто бывают только рады, когда те немногие часы, что не стоят они у маховых колес, могут они использовать для того, чтобы позволить себе плыть по течению. Искусство легких жанров всегда сопровождает автономное как тень. Оно является социальной нечистой совестью серьезного искусства. То искажение истины, на которое было вынуждено идти последнее в силу навязываемых ему социумом условий, обеспечивает первому видимость существу дела соответствующей правоты. Это разделение само есть истина: в нем, по меньшей мере, находит свое выражение негативность культуры, из различных сфер складывающейся. Менее всего это противоречие может быть разрешено тем, что культура легкая поглощается серьезной или наоборот. Но именно это и пытается сделать культуриндустрия. Эксцентричность цирка, паноптикума и борделя ей столь же неприятна, как и эксцентричность Шенберга и Карла Крауса. Именно поэтому такой авторитет в мире джаза как Бени Гудмен, выступая совместно с будапештским струнным квартетом, ритмически ведет себя еще педантичнее, чем самый распоследний кларнетист из филармонии, в то время как к тому в придачу будапештцы играют так же вертикально гладко и слащаво, как Ги Ломбардо. Однако самым примечательным являются вовсе не от-

кровенная необразованность, глупость и неотесанность. Доставшийся в наследство от прежних времен хлам культуриндустрия ликвидирует путем собственного усовершенствования, налагая запрет на и доместицируя все, отмеченное печатью дилетантизма, несмотря на то, что ею самой же беспрестанно совершаются самые грубые ошибки, без которых вообще немислимо достижение высочайшего уровня. Новым тут, однако, является то, что друг с другом несогласующиеся элементы культуры, искусства и развлекательных практик посредством подчинения единой цели сводятся к одной-единственной ложной формуле: тотальности культуриндустрии. Сутью ее является повторение. То обстоятельство, что все характерные для нее нововведения сплошь и рядом сводятся к усовершенствованиям процесса массового воспроизводства, никоим образом не является внешним системе. Не без основания интерес бесчисленных потребителей оказывается направленным на используемую тут технику, а не на косно повторяемое, выхолощенное и наполовину уже дискредитированное содержание. Социальным силам, которым поклоняются зрители, удастся гораздо действеннее доказать свое могущество посредством техники навязываемого всевластия стереотипов, чем посредством прокисших идеологий, нести ответственность за которые приходится эфемерному содержанию.

И все же, несмотря на все это, культуриндустрия продолжает оставаться развлекательным бизнесом. На потребителя она воздействует и подчиняет своей власти опосредованно, развлекая его; не путем откровенного диктата, но благодаря использованию внутренне присущего развлечению принципа враждебности всему тому, что является чем-то большим, чем оно само, удается ей в конечном итоге расправиться с последним. В силу того, что претворение всех тенденций культуриндустрии в кровь и плоть ее аудитории осуществляется процессом социализации в целом, наличие пережитков рыночных отношений в данной отрасли является лишь способствующим ассимиляции этих тенденций обстоятельством. Здесь спрос пока еще не заменен просто повиновением. Хорошо известно, что крупнейшая реорганизация кинематографа, имевшая место незадолго до начала первой мировой войны и создавшая предпосылки для его экспансии, была связана именно с тем,

что им стали учитываться регистрируемые на кассовом уровне потребности публики, которые едва ли кому-либо могло прийти в голову принимать в расчет в самый ранний, пионерский период существования экранного шоу. Капитанам киноиндустрии, которые благоразумно подвергают опытной проверке всегда только испытанные образцы, более или менее феноменальные шлягеры и хиты, но никогда не отваживаются на подобное в случае чего-то противоположного, имеющего самое прямое отношение к истине, и по сей день представляется, что дело обстоит именно таким образом. Их идеологией является бизнес, и это достаточно правомерно постольку, поскольку могущество культуры индустрии обуславливается ее единством с производимой потребностью, а не просто ее антагонизмом последней, будь то даже антагонизм всеисилия и бессилия. - Развлечение становится пролонгацией труда в условиях позднего капитализма. Его ищет тот, кто стремится отвлечься от ритма механизированного процесса труда с тем, чтобы он сызнова оказался ему по силам. Но вместе с тем механизация обретает такую власть над человеческим досугом и благополучием, столь основательно определяет собой процесс производства служащих развлечению товаров, что в руки их потребителей не попадает уже ничего, что не было бы копией трудового процесса. Мнимое содержание является тут попросту блеклой авансценой, запоминающейся же оказывается автоматизированная последовательность нормированных операций. Отвлечься от трудового процесса на фабрике и в бюро можно только уподобившись ему на досуге. Этим неизлечимо больно всякое развлечение. Удовольствие превращается в скуку, потому что оно, для того чтобы оставаться удовольствием, не должно в свою очередь оплачиваться ценой усилия, и именно поэтому неукоснительно катится по заезженной колее ассоциаций. Зритель не должен иметь никакой потребности в собственной мысли: любая из возможных реакций является предусмотренной самим продуктом, предусмотренной не его содержательным контекстом - этот распадается в той мере, в какой требует мышления, - но системой сигналов. Любая логическая связка, предполагающая духовное усилие, старательно избегается. Действие, насколько это только возможно, должно развиваться исходя из непосредственно предшеству-

ющей ситуации, но никоим образом не ориентируясь на идею целого. Не найти тут и ничего такого, что оказалось бы способным устоять перед рвением сотрудников индустрии выжать из одной-единственной сцены все что только возможно. В конечном итоге даже сама общая схема начинает казаться опасной постольку, поскольку ею все же учреждается пусть скудная, но смысловая связь там, где приемлемой является одна только бессмыслица. Зачастую действию вероломно бывает отказано в дальнейшем ходе, которого настоятельно требуют как характеры, так и само существо происходящего в соответствии с прежней схематикой. Вместо этого следующим шагом становится каждый раз то, что представляется автору самой удачной и эффектной идеей в данной ситуации. Тупоумные, но мудреные сюрпризы врываются тогда в действие фильма. Тенденция подобного рода продукта доводить дело до полного абсурда, являющегося вполне легитимной составной частью народного искусства, фарса и клоунады вплоть до Чаплина и братьев Маркс, наиболее явственно проявляет себя в наименее претенциозных жанрах. И в то время как фильмы, снятые с участием таких звезд, как Грер Гарсон и Бет Дэвис, в силу единства социопсихологического прецедента все еще обнаруживают нечто подобное претензии на связанное действие, в тексте модной песенки, в криминальном фильме и мультипликации эта тенденция оказывается уже всецело доминирующей. Здесь, подобно тому, как это происходит с персонажами комедийных фильмов и фильмов ужасов, резня учиняется над раздираемой на куски самой мыслью как таковой. Популярность наимоднейших песенок всегда обеспечивалась издевкой над смыслом, сводимом ими, наряду с предшественниками и последователями психоанализа, к монотонии сексуальной символики. Сегодня зрителю криминального или приключенческого фильма уже более не дозволяется быть свидетелем заканчивающегося развязкой хода действия. Взамен продукция этого жанра, утратившая всякую ироничность, предлагает ему довольствоваться всеми ужасами уже более и кое-как меж собой не связанных ситуаций.

Трюковые и мультипликационные фильмы некогда были образчиками противостоящей рационализму фантазии. Они воздавали должное оживляемым их техникой зверям и вещам тем, что даровали вто-

рую жизнь этим изувеченным созданиям. Сегодня они служат только делу утверждения торжества технологического разума над истиной. Еще совсем недавно они обладали вполне консистентным сюжетом, связанное действие в них разваливалось лишь в последние минуты в эпизодах головокружительных погонь. В этом принятый в них образ действий был сходен с используемым в имеющим столь давнюю традицию фарсе. Но ныне наблюдается смешение этих временных соотношений. Прямо-таки самыми первыми эпизодами трюкового или мультипликационного фильма задается мотив развития действия, дабы в ходе фильма деструктивности было бы на чем проявить себя: под одобрительные ахи публики главную фигуру подобно отбросам швыряют то туда, то сюда. Так количество организованного развлечения переходит в качество организованной жестокости. Самоизбранные цензоры киноиндустрии, чье родство душ с последней несомненно, неусыпно следят за продолжительностью растянувшегося до размеров самой настоящей травли злодеяния. Забавность пресекает то удовольствие, которое предположительно могло бы доставить зрелище объятий, и откладывает момент исполнения желаний до дня погрома. В той мере, в какой наряду с приучением чувств к новому темпу трюковые и мультипликационные фильмы способны и еще кое на что, они вколачивают во все без исключения мозги ту старую истину, что непрерывная взбучка, подавление всякого индивидуального сопротивления есть условие существования в этом обществе. Мультипликационный Дональд Дак, равно как и неудачники в реальности получают свою порцию побоев для того, чтобы зрители смогли свыкнуться с теми, которые ожидают их самих.

Удовольствие, с которым воспринимается учиняемое над экранным персонажем насилие, превращается в насилие над самим зрителем, развлечение - в тяжкую повинность. Его утомленный взор не имеет права упустить ничего из того, что изобрели охочие до выдумок эксперты в качестве стимуляторов, ни на одно мгновение нельзя выказывать себя глупцом перед лицом хитроумной компоновки всего исполняемого, нужно поспевать за всем, везде и даже самому подавать пример того проворства, которое выставляется на всеобщее обозрение и пропагандируется экранным шоу. Тем самым становится проблематичным, действитель-

но ли культуриндустрия продолжает выполнять ту самую свою развлекательную функцию, которой она имеет обыкновение столь громогласно похвалиться. Если бы подавляющая часть радиостанций прекратила вещание, а большинство кинотеатров закрылось, судя по всему, потребители лишились бы не столь уж и многого. Шаг, ведущий с уличного тротуара в здание кинотеатра, и без того уже более не является шагом, ведущим в мир грез, а как только эти институции перестанут просто самим своим существованием понуждать к их использованию, вряд ли можно ожидать, что возникнет такое уж неудержимое стремление к пользованию ими. Подобного рода временную приостановку функционирования никоим образом нельзя рассматривать в качестве реакционного луддитства. Ни с чем всегда оставались не столько энтузиасты, сколько те, на ком вымещает свою жажду мести все кто угодно, отсталые. Домохозяйке темнота кинозала, вопреки всем тем фильмам, которые выполняют функцию ее дальнейшей интеграции, предоставляет некое подобие убежища, где она совершенно бесконтрольно может провести несколько часов аналогично тому, как некогда, когда еще существовали жилища и кануны праздников, имела она обыкновение делать сидя у окна. Безработные в больших городах находят прохладу летом и тепло зимой в местах с регулируемой температурой. В противном случае даже по меркам существующего порядка вещей вся эта распухшая от чванства аппаратура развлечений ни в чем не могла бы сделать жизнь человека хоть на йоту более его достойной. Идея об “эксплуатации вплоть до исчерпания” имеющихся налицо технических возможностей, полного использования мощностей в сфере эстетического массового потребления принадлежит экономической системе, отказывающейся от использования этих мощностей, когда дело идет об упразднении голода.

Культуриндустрия беспрестанно обманывает своих потребителей по поводу того, что она им беспрестанно обещает. Вексель на удовольствии, выдаваемый действием и его аранжировкой, пролонгируется тут до бесконечности: самым вероломным образом обещание, к которому, собственно говоря, и сводится все зрелище, лишь означает, что до дела так никогда и не дойдет, что удовлетворить свой аппетит посетителю

придется чтением меню. Вожделению, возбужденному всеми этими столь блистательными именами и образами, в конечном итоге подадут всего лишь рекламу унылой и серой обыденности, от которой оно так стремилось избавиться. Равным образом никогда не были предназначены произведения искусства для выставления напоказ сферы секса. Однако благодаря тому, что в них запрещение обретало форму чего-то негативного, удавалось им как бы отменить унижение импульса и спасти запретное опосредованным образом. Секрет эстетической сублимации состоит в том, что чаемое изображается тут как несостоявшееся. Культуриндустрии чужда сублимация, ей свойственна репрессия. Неустанно выставляя напоказ вождеемое, женскую грудь в облегающем свитере или обнаженный торс атлетически сложенного героя, она лишь попросту распалает несублимированную похоть, мазохистски исковерканную давней привычкой подчинения запрету. Не найдется ни одной эротической ситуации, которая не сочетала бы все свои намеки и возбуждающие сцены с совершенно определенным указанием на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах дело столь далеко не пойдет. Хэйс-офисом всего лишь ратифицируется тот ритуал, который и без того уже введен в обиход культуриндустрией: ритуал танталовых мук. Произведения искусства аскетичны и бесстыдны, культуриндустрия порнографична и чопорна. Именно таким образом сводит она любовь к любовной интрижке. И в редуцированном виде многое становится допустимым, даже сам либертинаж в качестве ходкой пикантности, в умеренных дозах и с товарным клеймом "daring". Серийное производство сексуальности автоматически приводит к ее подавлению. Кинозвезда, в которую надлежит влюбляться, в своей повсеместной распространенности с самого начала является не чем иным, как своей собственной копией. Голос любого тенора звучит так, как если бы это была пластинка Карузо, а лица девушек из Техаса уже совершенно естественным образом начинают походить на лица преуспевающих моделей, типажи которых поставляются Голливудом. Механическое воспроизводство красоты, которому чистосердечно служит реакционный культурфанатизм своим методичным обоготворением индивидуальности, уже более не оставляет места тому обожанию до беспамятства,

которое некогда было сопряжено с явлением красоты. Победу над красотой одерживает юмор, злорадство по поводу каждого удавшегося акта запрещения. Смеяться приходится над тем, что уже более не над чем смеяться. Смехом, как умиротворенным, так и испуганным, всегда сопровождается тот момент, когда проходит страх. Он извещает об избавлении, будь то от физической опасности, будь то от кlyкoв логики. Умиротворенный смех звучит эхом бытия-в-избавленности от власти, смех дурной преодолевает страх тем, что переходит на сторону инстанций, которых надлежит бояться. Он есть эхо власти, которой не избежать. Веселье - это железистая ванна. Ее прописывает нам индустрия удовольствий неустанно. В ней смех становится инструментом обмана в счастье. Моментам счастья он неизвестен, только в опереттах и впоследствии фильмах изображение секса сопровождается звучным хохотом. Бодлер столь же далек от юмора, как и Гельдерлин. В фальшивом обществе смех, подобно болезни, поражает счастье и втягивает последнее в мерзостную тотальность первого. Смех над чем-либо всегда является осмеянием, а жизнь, которая, согласно Бергсону, смехом прорывает все укрепления, на деле оказывается неудержимо вторгающимся варварством, самоутверждением, нагло отваживающимся при соответствующем общественном поводе открыто праздновать свое освобождение от каких бы то ни было угрызений совести. Коллектив насмешников пародирует собой человечество. Насмешники являются монадами, из которых каждая предается удовольствию за счет всякой другой, и в большинстве своем про запас готовыми на все. Подобная гармония являет собой карикатуру на солидарность. Демонизм фальшивого смеха состоит как раз в том, что сам он оказывается не чем иным, как принудительной пародией на наилучшее, на умиротворение. Но радость сурова: *res severa verum gaudium*. Идеология монастырей, в соответствии с которой не аскеза, но половой акт является свидетельством отказа от достижимого блаженства, негативным образом находит свое подтверждение в той серьезности влюбленного, с какой он, предчувствием исполнен, связывает свою жизнь с мимолетным мгновением. Культуриндустрия подменяет жизнерадостным отречением ту боль, что присутствует как в упоении, так и в аскезе. Высшим законом является

то, что ни за что на свете не получить им своего, и именно от этого, смеясь, обязаны они получать свое удовольствие. Перманентный запрет, налагаемый цивилизацией, совершенно недвусмысленным образом добавляется к воспринимаемому на любом из устраиваемых культуриндустрией шоу и наглядно демонстрируется. Кому-то что-либо предложить и лишить его этого суть одно и то же. Именно это и происходит в случае эротической продукции. Как раз потому, что ему не дадут никогда состояться, совокупление оказывается в центре всего происходящего. В художественном фильме на признание внебрачной связи, в которой виновных не постигло бы наказание, налагается гораздо более строгое табу, чем на участие будущего зятя миллионера в рабочем движении. По контрасту с либеральной эрой культура индустриальной эпохи, равно как и народная, может сколь угодно позволять себе возмущаться капитализмом; но она не может позволить себе не признавать нависшую над ней угрозу кастрации. Последняя составляет саму ее суть. Она наверняка переживет организованную порчу нравов, осуществляемую по отношению к носителям униформы в производимых для них развлекательных фильмах и, в конечном итоге, в самой реальности. Решающее значение сегодня имеет уже более не пуританство, несмотря ни на что, все еще пользующееся авторитетом под видом женских организаций, но самой системе присущая необходимость ни на мгновение не спускать глаз с потребителя, не дать у него зародиться подозрению, что сопротивление возможно. Этот принцип требует, чтобы, с одной стороны, все его потребности представлялись ему безусловно удовлетворяемыми культуриндустрией, но, с другой, чтобы эти потребности уже заранее были устроены таким образом, что себя самого в них он не мог бы воспринимать иначе, как только вечным потребителем, объектом культуриндустрии. Последняя не просто убеждает его в том, что ее обманом удовлетворяются его желания, но сверх того дает ему понять, что ни при каких обстоятельствах не придется ему удовлетворяться чем-то, кроме предложенного. С бегством от обыденности, которое обещает вся Культуриндустрия в целом, во всех ее отраслях, дело обстоит так же, как и с похищением дочери в американском юмористическом журнале: отец сам держит приставную лестницу

в темноте. В качестве рая культуриндустрия вновь преподносит все ту же опостылевшую обыденность. Предназначением как избавления, так и тайного побега с самого начала является возврат к исходной точке. Удовольствие способствует разочарованности, которой хотелось бы забыться в нем.

Развлечение, полностью освобожденное ото всех пут, являлось бы не просто антитезой искусству, но также и крайностью, с ним сходящейся. Абсурдность Марка Твена, с которой время от времени имеет обыкновение заигрывать американская культуриндустрия, вполне могла бы обозначить собой коррективу искусства. Чем серьезнее последнее настаивает на своей противоположности обыденному существованию, тем более уподобляется оно серьезности обыденного существования, своего антагониста; чем больше усилий прилагает оно к тому, что развивать себя исходя исключительно из своих собственных формальных законов, тем больших усилий, в свою очередь, требует оно для своего понимания, в то время как именно от этого бремени стремились избавиться оно последнее. Во многих фильмах в жанре ревю, прежде всего в гротесках и на страницах юмористических изданий, на мгновение просверкивает возможность подобного рода негации. Но до ее осуществления дело конечно же никогда не доходит. Чистому развлечению в его последовательном развитии, снимающей напряжение самоотдаче, пестрому потоку ассоциаций и благословенной бессмыслице кладет конец развлечение ходячее: оно пресекается суррогатом связанного смысла, на придании которого своей продукции столь упорно настаивает культуриндустрия, в то же время не моргнув глазом третируя его в качестве просто-напросто предлога для появления перед публикой различного рода звезд. Биографическими и прочими фабулами издранные в клочья остатки бессмыслицы сшиваются в ткань тупоумного действия. Отчетливо слышимое позвякивание издают при этом вовсе не бубенцы на дурацком колпаке шута, но связка ключей капиталистического разума, ухитряющегося даже в сам образ заточить свое неутолимое стремление к преуспеянию. Каждый поцелуй в фильме-ревю обязан способствовать карьере или боксера, или какого-нибудь иного эксперта по части шлягеров и хитов, чье восхождение к успеху тут про-

славляется. Обман, таким образом, состоит не в том, что культуриндустрия становится прислужницей развлечения, но в том, что всякое веселье она губит, заполняя его, в интересах дела, идеологическими клише себя самое ликвидирующей культуры. Этика и вкус противостоят безудержному развлечению как “наивному” - наивность считают тут столь же скверной, как и интеллектуализм - и даже оказывают сдерживающее воздействие на технический потенциал. Культуриндустрия порочна, однако не как вавилонское скопище всех грехов, но как собор, воздвигнутый во славу превозносимому до небес удовольствию. На всех его уступах, от Хемингуэя до Эмиля Людвига, от Миссис Минивер до Одинокого Рейнджера, от Тосканани до Ги Ломбардо, ложь прилипает к тому духовному содержанию, которое в готовом виде заимствуется из искусства и науки. Культуриндустрия хранит в себе следы чего-то лучшего в тех своих чертах, которые сближают ее с цирком, с самонадеянно покидающим пределы смысла мастерством наездников, акробатов и клоунов, с “защитой и оправданием искусства телесного в противоположность искусству духовному”³. Но последние прибежища черствого артистизма, наперекор социальному механизму представляющие интересы человеческого, подвергаются неумолимому преследованию со стороны одержимого планированием разума, от всего требующего доказать свое значение и эффективность. Результатом чего становится столь же радикальное исчезновение бессмысленного внизу, сколь и смысла произведения искусства наверху.

Происходящее сегодня с слияние культуры развлечением приводит не только к деградации культуры, но и в такой же мере к неизбежному одухотворению развлечения. Оно выражается в том, что последнее присутствует всего лишь в отраженном виде, как кинофотография или запись радиопередачи. В эпоху либеральной экспансии развлечение жило несокрушимой верой в будущее: все останется так, как оно есть, и даже будет лучше. Сегодня эта вера опять же одухотворяется, она становится настолько утонченной, что уже более не способна различить какую бы то ни было цель и сводится к упованию на некое золотое основание,

³Frank Wedekind. *Gesammelte Werke*. Muenchen 1921. Band IX, S.426.

проецируемое за пределы действительного. Она составлена из тех акцентированных значений, которыми, параллельно самой жизни, снабжаются в игровом действии отличный парень, инженер, дельная девица, надевшая на себя личину игрового характера бесцеремонность, спортивный интерес и, наконец, автомобили и сигареты даже тогда, когда развлечение проходит не по покрывающим издержки на рекламу счетам непосредственного производителя, но по таковым системы в целом. Развлечение само включается в число идеалов, оно занимает место тех высших благ, от которых оно полностью отучает массы тем, что неустанно повторяет их, превращая в стереотипы еще большие, чем оплачиваемые частным образом рекламные призывы. Внутреннее чувство, субъективно ограниченный образ истины, во все времена было подвластно внешним по отношению к нему властителям в гораздо большей степени, чем оно подозревало. Культуриндустрией оно преобразуется в откровенную ложь. Оно становится всего только нудным пустословием, добавляемым в качестве тягостно болезненно-приятной приправы в религиозные бестселлеры, психологические фильмы и женские сериалы для того, чтобы с тем большей уверенностью можно было подчинять своей власти самобытные человеческие побуждения. В этом смысле развлечение способствует очищению аффекта, выполняя ту функцию, которую уже Аристотель приписывал трагедии, а Мортимер Адлер - фильму. Как и в случае стиля, культуриндустрия содержит в себе истину о катарсисе.

Чем более прочными становятся позиции культуриндустрии, тем более суммарно начинает обращаться она с потребностями потребителей, их продуцируя, их направляя, их дисциплинируя, даже налагая запрет на само развлечение: культурный прогресс тут не знает границ. Данная тенденция, однако, является имманентно присущей самому принципу развлечения, просвещенческо-буржуазному по сути. Поскольку потребность в развлечении в значительной степени порождается индустрией, расхваливающей массам свои изделия посредством сюжета, олеографию посредством изображаемого ее средствами лакомого кусочка и, наоборот, сахарную пудру для пудинга посредством изобра-

жения пудинга, то по тому, что происходит в сфере развлечения, всегда уже видно то, что происходит в сфере бизнеса, внятно слышен гул sales talk, голос ярмарочных шарлатанов и зазывал. Но изначально сродство бизнеса и развлечения обнаруживает себя в специфическом предназначении последнего: в апологии общества. Быть удовлетворенным означает быть согласным. Это становится возможным только благодаря герметической изоляции от социального процесса в целом, оглуплению и прежде всего абсурдному отказу от неотъемлемо присущего любому, даже самому ничтожному произведению искусства притязания: быть в своей ограниченности рефлексией целого. Получать удовольствие всегда значило: не сметь ни о чем думать, забыть о страдании даже там и тогда, где и когда показывают его. В основе его лежит бессилие. Оно действительно является бегством, но не, как утверждает оно, бегством от скверной реальности, а от последней мысли о сопротивлении, все еще сопровождающей бегство от реальности. Освобождение, обещаемое развлечением, является освобождением от мышления равно как и от отрицания. Наглое бесстыдство риторического вопроса “Чего еще нужно людям!” заключается в том, что он адресован как мыслящим субъектам именно тем самым людям, отучить которых от субъективности является его специфической задачей. Даже там, где публика изредка позволяет себе противиться индустрии удовольствий, имеет место не что иное, как ставшее последовательным отсутствие сопротивления, самой индустрией удовольствий в публике воспитываемое. Но несмотря на все на это, ей все труднее становится удерживать последнюю под своим влиянием. Прогресс в деле оглупления не должен отставать от синхронного ему прогресса интеллектуального развития. В эпоху статистики массы слишком умудрены горьким опытом для того, чтобы идентифицировать себя с демонстрируемым им на экране миллионером, и слишком тупы, чтобы понимать закон больших чисел. Идеология прячет себя в расчетах теории вероятности. Не каждому однажды наверняка улыбнется счастье, но только тому, кто вытянет счастливый жребий, а скорее всего тому, кто намечен для этого высшей властью - по большей части самой индустрией удовольствий, изображаемой находящейся в неустанном поиске подобного рода счастливицков. Разыс-

канные охотниками за талантами и затем самым помпезным образом преподнесенные студиями фигуры являются идеальными типажамми нового зависимого среднего сословия. Начиная звезда в женском варианте обязана символизировать собой служащую, правда таким образом, что в отличие от служащей в действительности роскошное вечернее платье должно казаться прямо-таки предназначенным для нее. Тем самым утверждает себя не только возможность для зрительницы, что сама она могла бы быть показана на экране, но и более настоящим образом между ними существующая дистанция. Только одна может вытянуть счастливый жребий, только один является выдающимся, и даже если математически все имеют равные шансы, то для каждого в отдельности он оказывается столь минимальным, что лучше всего ему тотчас же отказаться от него и радоваться счастьем другого, которым с точно таким же успехом мог бы быть и он сам и все же никогда не будет. Там, где культуриндустрия все еще приглашает к наивной идентификации, последняя тотчас же вновь опровергается ею. Более уже никому не удастся забыться. Некогда свою собственную свадьбу зритель видел в свадьбах, показываемых в кино. Теперь счастливые на экране являются экземплярами того же подвида, что и любой из публики, однако подобного рода равенство свидетельствует лишь о непреодолимой разъединенности человеческих элементов. Совершеннейшее сходство есть абсолютное различие. Идентичность рода воспрещает такую индивидуальность случаев. Культуриндустрия злокозненно реализует человека в качестве родового существа. Каждый есть только то, посредством чего способен он заменить любого другого: взаимозаменяемое, экземпляр. Сам он, как индивидуум, есть нечто абсолютно заменяемое, чистое ничто, и именно это начинает чувствовать он, когда с течением времени утрачивает подобие. Тем самым изменяется внутренняя структура религии успеха, неукоснительно, впрочем, соблюдаемая. Место пути *per aspera ad astra*, предполагающего лишения и усилия, все более и более занимает выигрыш. Элемент слепой удачи при вынесении рутинного решения относительно того, какая из песен пригодна на то, чтобы стать шлягером, какая статистка на то, чтобы стать героиней, неустанно прославляется идеологией. В фильмах всячески

подчеркивается случайность. То обстоятельство, что всем их персонажам, за исключением негодяев, сущностная тождественность навязывается вплоть до изъятия тому сопротивляющихся физиономий, таких например, которым, как в случае Гарбо, не скажешь запросто “Привет сестренка”, поначалу весьма значительно облегчает жизнь кинозрителям. Их уверяют в том, что им вовсе и не нужно быть иными, чем они есть, и что все это точно с таким же успехом могло бы удаться и у них без того, чтобы от них потребовали бы чего-то такого, к чему считают они себя неспособными. Но одновременно им намекают и на то, что от усилия тут совсем не было бы проку, потому что буржуазное счастье уже более никак не связано с поддающимся вычислению результатом их собственного труда. Они понимают этот намек. По сути дела, все признают случайность, благодаря которой кое-кому удастся достичь своего счастья, в качестве обратной стороны планомерности. Как раз в силу того, что социальные силы являются развернутыми в сторону рациональности до такой степени, что буквально из любого может выйти либо инженер либо менеджер, совершенно иррациональным становится то, кому именно будут предназначены инвестиции общества, кто именно пройдет предварительную подготовку и будет облечен доверием для выполнения этих функций. Случайность и планомерность становятся идентичными друг другу, ибо ввиду равенства людей счастье или несчастье отдельного из них вплоть до самого верха утрачивает какое бы то ни было экономическое значение. Случай сам становится планируемым; не потому, что он выпадает тому или иному определенному лицу, но именно потому, что люди верят в его безраздельную власть. Планирующими он используется в качестве алиби, так как создает видимость, что то хитросплетение транзакций и мероприятий, в которое превратилась жизнь, все же оставляет место для спонтанных и непосредственных отношений между людьми. Подобного рода свобода символизируется в различных медиа культуриндустрии произвольной выборкой из числа среднестатистических случаев. В публикуемых журналами подробнейших отчетах об организованном этим журналом скромно-блестящем увеселительном путешествии счастливица, предпочтительно какой-нибудь стенографистки, вероятно выигравшей кон-

курс благодаря любовным интрижкам с локальными шишками, как в зеркале отражается беспомощность всех. Все они не более, чем просто материал, и до такой степени, что в любой момент им распоряжающиеся могут вознести одного из них до своих небес и вновь сбросить вниз: со своими правами и своим трудом может он идти куца подальше. Индустрия интересуется человеком исключительно лишь как своим клиентом и как своим служащим, и ей действительно удается свести как все человечество в целом, так и любой из составляющих его элементов к этой исчерпывающей формуле. В идеологии план или случай, техника или жизнь, цивилизация или природа акцентируются в зависимости от того, какой именно из аспектов в каждом отдельном случае является определяющим. Если они являются служащими, им напоминают о рациональной организации и приучают, в полном соответствии с требованиями здравого человеческого рассудка, свыкнуться с ней. Если же они клиенты, свобода выбора, очарование непопробованного демонстрируется им на примерах различных событий из частной человеческой жизни либо на киноэкране либо в публикуемых прессой материалах. Объектами они остаются и в том и в другом случае.

Чем более скудными становятся обещания культуриндустрии, чем менее способной становится она к осмысленному объяснению жизни, тем более пустопорожней с необходимостью становится идеология, ее распространению способствующая. Даже самые абстрактные идеалы социальной гармонии и общественного блага оказываются слишком конкретными в эпоху универсальности рекламы. Именно абстракцию научились уже идентифицировать со средством, используемым для привлечения клиентов. Язык, апеллирующий единственно лишь к истине, выбывает одно только раздражение и желание как можно быстрее добраться до сути дела, в действительности являющейся его целью. Слова, не являющиеся средством, кажутся бессмысленными, в других случаях - фикцией, чем-то лживым. Оценочные суждения воспринимаются либо в качестве рекламы, либо в качестве пустой болтовни. Тем самым превращаемая в нечто смутно необязательное идеология, тем не менее, не становится ни менее прозрачной, ни более расслабленной. Как раз ее неопределенность, почти что сциентистская нерасположен-

ность иметь дело с чем-либо, что не поддается верификации, функционирует тут в качестве инструмента утверждения господства. Она превращается в настойчивое и планомерное оглашение существующего порядка вещей. Культуриндустрии присуща тенденция превращать себя в совокупность протокольных предложений и как раз тем самым - в неоспоримого пророка существующего. С большим мастерством прокладывает она извилистый путь свой между рифами демонстративной дезинформации и очевидной истины тем, что достоверно и точно воспроизводит явление, чьей плотностью блокируется проникновение в его суть и в качестве идеала инсталлируется безупречно вездесущая видимость. Идеология расщепляется на фотографическое воспроизведение своенравного бытия и на ничем не прикрытую ложь о его смысле, не открыто высказываемую, но суггестивно внушаемую и вдалбливаемую в головы. Демонстрация божественности действительного осуществляется путем циничного его повторения. Подобного рода фотологическое доказательство является хоть и не убедительным, зато подавляющим. Тот, кого еще одолевают сомнения перед лицом этого всевластия монотонии, является попросту глупцом. Любые выдвигаемые против нее возражения культуриндустрия подавляет с таким же успехом, как и возражения против мира, ею тенденциозно удваиваемого. Единственный выбор, который предоставляется - это либо соучаствовать, либо остаться не у дел; провинциалы, которые в противовес кино и радио прибегают к вечной красоте и любительским подмосткам, политически оказываются уже там, куда загоняет своих адептов массовая культура. Она закалена достаточно для того, чтобы по мере надобности в виде идеологии либо высмеивать, либо использовать в качестве козырной карты все прежние мечты, идеал отцовства ничуть не в меньшей степени, чем непосредственное чувство. Своим предметом новая идеология имеет мир как таковой. Она находит применение культу факта тем, что ограничивается возвышением скверного в человеческом существовании, посредством как можно более точного его изображения. Благодаря подобного рода переложению само это существование становится суррогатом смысла и права. Все, что ни воспроизводила бы камера, прекрасно. Обманчивой надежде на то, что ты сам можешь ока-

заться тем служащим, которому достанется кругосветное путешествие, соответствуют вводящие в заблуждение виды аккуратно сфотографированных областей, по которым мог бы пролегать маршрут этого путешествия. Предлагается тут не Италия, но только видимость того, что она существует. Фильм может позволить себе показать Париж, в котором надеется утолить свои страстные желания юная американка, в виде безотрадной глуши для того, чтобы тем неумолимее толкнуть ее в объятия ловкого американского парня, познакомиться с которым она с таким же успехом могла бы и дома. То, что это продолжает происходить, то, что системой репродуцируется даже в ее самых юных фазах жизнь тех, из кого она состоит, вместо того, чтобы разделаться с ними, даже ставится ей в заслугу в качестве ее смысла. То, что это продолжает происходить и продолжает делаться, вообще служит делу оправдания дальнейшего существования системы, ее неизменности. Здорово то, что повторяется, кругооборот как в природе, так и в индустрии. Вечен оскал улыбающихся со страниц журналов все тех же самых младенцев, вечно и тяжкое уханье трамбовочной машины джаза. Несмотря на весь достигнутый прогресс в сфере техники изображения, в сфере регулирования и специализации, несмотря на всю неумность функционирования, хлеб, который скармливает культуриндустрия человеку, остается не чем иным, как камнем стереотипа. Она живет кругооборотом, вполне обоснованным удивлением перед тем, что, несмотря ни на что, матери все еще продолжают рожать детей и колеса все еще не прекращают своего движения. Именно этим подтверждается неизменность существующих отношений. Колышущиеся на ветру колосья в полях в конце чаплиновского фильма о Гитлере дезавуируют антифашистские речи о свободе. Они походят на развевающиеся на летнем ветру светлые пряди волос немецкой девушки, чью лагерную жизнь фотографируют специалисты из "Ufa". Именно в силу того, что механизмом социального господства природа рассматривается в качестве целительной противоположности обществу, втягивается она в неизлечимое и распродается по дешевке. Образными заверениями в том, что деревья зеленеют, небо голубое, а облака плывут, уже превращается она в криптограмму фабричных дымовых труб и бензозаправочных станций. И

напротив, колеса и части машин должны подчеркнута сиять, униженные до носителей души сил деревьев и облаков. Так мобилизуется природа и техника на борьбу с затхлостью, создавая фальсифицированный образ либерального общества, где все будто бы теснились в отделанных плюшем душевных комнатах вместо того, чтобы принимать асексуальные воздушные ванны, как это принято сегодня, или же попадали в аварию на доисторических бенцовских моделях вместо того, чтобы со скоростью ракеты перенестись оттуда, где все равно находишься, туда, где все обстоит точно так же. Победа концернов-гигантов над предпринимательской инициативой прославляется культуриндустрией как утверждающая вечность предпринимательской инициативы. Побеждают противника, уже потерпевшего поражение, мыслящий субъект. Воскрешение антибуржуазного “Ганса Зоннерштессера” в Германии и удовольствие от зрелища “Life with Father” имеют один и тот же смысл.

В одном, правда, эта выхолощенная идеология не допускает никаких шуток над собой: в деле заботы. “Никому не позволено страдать от голода и холода; а тот, кто будет в этом уличен, пусть отправляется в концентрационный лагерь”: этот образчик остроумия из гитлеровской Германии мог бы блистать в качестве максимы над всеми порталами культуриндустрии. Наивно-лукаво указывает она на то состояние, которым характеризуется новейшее общество: что оно отлично умеет выискивать своих приверженцев. Формально свобода гарантируется каждому. Никто не должен официально нести ответственности за то, что он думает. Взамен этого каждый обнаруживает себя с самых ранних лет заключенным в систему церковей, клубов, профессиональных союзов и прочих связей, представляющих собой чувствительнейший инструмент социального контроля. Тот, кто не желает своей гибели, должен заботиться о том, чтобы, будучи взвешенным на чаше весов этого аппарата, не оказаться слишком легковесным. В противном случае он отстанет от жизни и в конечном итоге неминуемо пойдет ко дну. То обстоятельство, что на любом поприще, но, в первую очередь, в сфере свободных профессий знание своего дела связано с предписываемым образом мыслей, легко может внушить иллюзию, что здесь вполне об-

ходятся одним только знанием своего дела. Поистине самой что ни на есть составной частью планомерности этого общества является то, что до известной степени оно воспроизводит жизнь только тех, кто ему верен. Градация жизненных стандартов находится в отношении точного соответствия со степенью связанности тех или иных слоев и индивидов с системой. На менеджера всегда можно положиться, внушающим доверие в придачу к тому является и мелкий служащий, Дагвуд, такой, каким он изображается на страницах юмористических изданий и каков он есть в действительности. Тот, кто голодает и замерзает, несмотря на то, что некогда имел хорошие перспективы, помечается клеймом. Он - аутсайдер, а помимо тяжких уголовных преступлений нет греха более смертного, чем быть аутсайдером. В фильме его в лучшем случае превращают в оригинала, в объект злобно-снисходительных насмешек; чаще же всего он оказывается злодеем, идентифицируемым в качестве такового уже с момента его первого появления, задолго до того, как это будет сделано развертывающимся действием фильма, с тем, чтобы ни у кого никогда даже на мгновение не возникло бы и тени заблуждения, что общество способно ополчиться против тех, кто исполнен добрых намерений. Воистину сегодня возникает своего рода государство всеобщего благоденствия более высокой градации. С целью упрочения своих позиций властями предержавными запускается в движение такая экономика, в которой из-за до предела высокоразвитой техники трудящиеся массы собственной страны в качестве производителей становятся уже излишними. Рабочие, подлинные кормильцы, переходят на содержание, как того хотелось бы идеологической видимости, управленцев от экономики, на их содержании находящихся. Тем самым отдельный человек попадает в весьма затруднительное положение. В эпоху либерализма бедняк считался лентяем, сегодня он автоматически становится подозрительной личностью. Тому, о ком не пекутся извне, место в концентрационном лагере, во всяком случае - в аду самой грязной работы и в трущобах. В культуриндустрии, однако, находит свое отражение как негативное, так и позитивное попечительство об административно управляемых в качестве выражения непосредственной солидарности всех людей в мире деловых и преуспеваю-

ших. Никто не будет забыт, везде найдутся соседи, работники сферы социального обеспечения, доктора Гиллеспи и доморощенные философы с сердцем там, где ему и надлежит быть, ухитряющиеся на фоне увековечиваемой обществом нищеты демонстрировать, посредством своего благодетельного, идущего от человека к человеку вмешательства, отдельные случаи исцеления, если они не встречают противодействия со стороны личной испорченности объекта своих усилий. Рекомендваемым наукой об управлении предприятием товарищеским попечением, о котором уже успела позаботиться любая из фабрик с целью повышения производительности труда, самые что ни на есть приватные побуждения ставятся под общественный контроль именно благодаря тому, что им создается видимость непосредственности отношений людей в процессе производства, что осуществляется их реприватизация. Подобного рода душевная “зимняя помощь” отбрасывает свою примиряющую тень на аудио- и визуальную продукцию культурииндустрии еще задолго до того, как последняя с фабрики тоталитарно распространяется на все общество в целом. Но великие помощники и благодетели человечества, чьи научные достижения пишущая братия обязана, ничуть не стесняясь, преподносить в виде милосердных деяний с тем, чтобы вызвать к ним фиктивный человеческий интерес, функционируют в качестве местоблюстителей вождей народов, способных в конечном итоге декретировать упразднение страдания как такового и предотвратить любую возможность заражения им после того, как будет истреблен последний паралитик.

Настойчивое акцентирование золотого сердца есть тот способ, каким общество сознается в причиненном им страдании; все знают, что в пределах системы они уже более не способны самим себе прийти на помощь, и это обязана принимать в расчет идеология. Будучи весьма далекой от того, чтобы попросту скрыть страдание под покровом импровизируемого товарищества, культурииндустрия особенно гордится тем, что способна мужественно взглянуть ему прямо в глаза и преподнести его с едва сдерживаемым хладнокровием. Пафосом самообладания оправдывается мир, делающий таковое необходимым. Такова жизнь, она так жестока, но именно поэтому так чудесна, так идет на пользу здоро-

вью. Ложь не испугать трагизмом. Точно так же, как тотальное общество, не упраздняющее страдание своих членов, но регистрирующее и планирующее его, поступает массовая культура и с трагизмом. Отсюда и ее столь настойчивые заимствования у искусства. Оно поставляет ей трагическую субстанцию, снабдить себя которой не способно чистое развлечение само по себе, но в которой оно все же нуждается, если хочет хоть в какой-то степени оставаться верным принципу точного удвоения явлений действительности. Трагизм, преобразуемый в тщательно рассчитанный и утверждаемый момент самого мира, становится для нее просто благословением. Он надежно защищает от упрека в неточном соответствии истине, присваиваемой в это время с циничной снисходительностью. Он делает блеклость подвергнутого цензуре счастья интересной и интересность - удобной для пользования. Тому потребителю, который знал и лучшие в культурном отношении дни, он предлагает суррогат давно уже упраздненной глубины, а регулярному зрителю - объедки образованности, которыми он обязан располагать в целях престижа. Всем и каждому дарует она утешительную мысль о том, что и трудная, подлинно человеческая судьба является все еще возможной, а ее откровенное изображение - неизбежным. Беспросветно замкнутое в своих пределах существование, делу создания двойника которого сегодня полностью посвящает себя идеология, производит впечатление тем более величественного, прекрасного и мощного, чем более основательно оказывается оно смешанным с неизбежным страданием. Оно обретает облик судьбы, неотвратимого рока. Трагизм сводится к угрозе уничтожить того, кому не по пути со всеми, в то время как его парадоксальный смысл некогда заключался именно в безнадежном сопротивлении мифологической угрозе. Трагическая судьба превращается в справедливое наказание, трансформировать в которое ее издавна страстно стремилась буржуазная эстетика. Мораль массовой культуры является упрощенной моралью детских книжек вчерашнего дня. В первоклассной продукции, к примеру, злодейка может выступать в облике истерички, пытающейся, что изображается с мнимой тщательностью клинического исследования, обманом разрушить жизненное счастье своей более соответствующей реальности сценической

соперницы, что приводит ее саму при этом к совершенно нетеатральной смерти. Столь наукообразно дело обстоит, однако, только на самом верху. Дальше вниз затраты становятся не такими значительными. Там трагизму крушат зубы, уже не прибегая к помощи какой-то там социальной психологии. Подобно тому, как всякая порядочная венгерско-венская оперетта обязана достичь своего трагического финала во втором акте, что не оставляет третьему акту ничего, кроме задачи выяснения недоразумений, культуриндустрия указывает трагизму положенное ему место в рутинном ходе событий. Одной лишь очевидности существования рецепта уже вполне хватает для того, чтобы унять любое беспокойство по поводу необузданности трагизма. Описание драматической формулы той самой домохозяйкой - "попасть в беду и вновь выпутаться из нее" - приложимо ко всей массовой культуре целиком, начиная со слабоумных дамских сериалов и кончая самыми высокими достижениями. Даже самая что ни на есть наихудшая развязка, некогда подразумевавшая кое-что получше, лишь способствует утверждению существующего порядка и коррумпирует трагизм, будь то в том случае, когда любящая наперекор всем предписаниям оплачивает свое короткое счастье смертью, будь то в том, когда печальный конец на экране позволяет лишь тем ярче вспыхнуть ощущению несокрушимости и неистощимости жизни реальной. Трагический фильм действительно становится улучшающей мораль институцией. Деморализованные существованием под непрерывным гнетом системы массы, выказывающие признаки цивилизованности лишь в судорожных попытках вести себя и поступать как положено, сквозь которые неизменно просвечивает их ярость и непокорство, самим видом безжалостной жизни и образцовым поведением персонажей должны быть призваны к порядку. С давних пор культура способствовала обузданию как революционных, так и варварских инстинктов. Культура же индустриализированная делает даже больше того, что тут требуется. Она прямо-таки упражняется в тех условиях, при которых эта безжалостная жизнь способна стать выносимой. Индивидууму надлежит использовать свое общее пресыщение в качестве той движущей силы, которая заставит его сдаться на милость как раз той коллективной власти, которой он и без того сыт по

горло. Перманентно отчаянные ситуации, изматывающие зрителя в обыденной жизни, при их воспроизведении средствами культуриндустрии превращаются, неизвестно каким образом, в обещание возможности дальнейшего существования. Нужно только полностью признать себя в своей собственной ничтожности, только расписаться в своем поражении, и сразу все станет на свои места. Общество является обществом отчаявшихся и потому добычей для рэкета. В некоторых из наиболее значительных немецких романов предфашистского периода, таких как "Берлин Александерплатц" и "Маленький человек, что теперь", эта тенденция обнаруживает себя столь же явственно, как и в самом заурядном фильме или механизме джаза. По сути дела речь при этом идет повсюду о самоосмеянии человека. Возможность стать экономическим субъектом, собственником, уже полностью ликвидирована. Вплоть до торгующих сыром лавчонок независимое предпринимательство, на руководстве которым и на унаследовании которого основывалась буржуазная семья и общественное положение ее главы, очутилось в безысходной зависимости. Все становятся служащими, а в цивилизации служащих утрачивает свое достоинство и без того сомнительный сан отца семейства. Поведение отдельного человека по отношению к рэкету, будь то в сфере бизнеса, профессиональной или партийной, будь то до или после допуска, жестика фюрера перед массами, влюбленного перед той, за кем он ухаживает, приобретает своеобразные мазохистские черты. Манера держать себя, которая навязывается каждому для того, чтобы позволить ему все вновь и вновь доказывать свою пригодность для этого общества, напоминает тех мальчиков, которые в ритуале приема в племя под ударами жрецов, стереотипно улыбаясь, двигаются по кругу. Существование в условиях позднего капитализма есть не что иное, как непрерывно длящийся обряд инициации. Каждый обязан демонстрировать, что он без остатка идентифицирует себя с властью, ударами его осыпающей. Это заложено в принципе синкопы в джазе, одновременно высмеивающем запинки и возводящем их в норму. Евнухоподобный голос исполнителя сентиментальных песенок на радио, привлекательной наружности поклонник наследницы, в смокинге падающий в плавательный бассейн - таковы образцы для подражания для тех людей,

которым самих себя надлежит превратить в то, чего добивается система, их ломая. Каждый может быть подобен всемогущему обществу, каждый может стать счастливым, если только капитулирует целиком и без остатка, поступится своим правом на счастье. В его слабости общество узнает свою силу и делится ею с ним. Его несопротивляемость квалифицирует его как благонадежного кантониста. Так упраздняется трагизм. Некогда антагонизм между отдельным человеком и обществом являлся субстанцией последнего. Им прославлялась “неустранимость и свобода чувства перед лицом могущественного врага, великого бедствия, вселяющей ужас проблемы”⁴. Сегодня трагизм растворился в пустоте той ложной идентичности общества и субъекта, весь ужас которой на мгновение все еще становится явным именно в пустопорожнем зрелище трагического. Но чудо интеграции, перманентный акт благоволения со стороны власть имущего, приемлющего несопротивляющегося, в корне подавляющего свое упрямство, подразумевает фашизм. Подобно зарнице сверкает он в той гуманности, с которой Деблин позволяет своему Биберкопфу найти убежище, равно как и в социально окрашенных фильмах. Сама эта способность находить лазейку и убежище, способность пережить свою собственную гибель, делающая устарелым трагизм, присуща новому поколению; они одинаково хороши на любой работе, потому что трудовой процесс не вызывает привязанности ни к какому труду. Все это напоминает собой унылую покорность возвращающегося домой солдата, не имевшего никакого касательства к войне, живущего случайным заработком рабочего, кончающего вступление в союзы и парамилитарные организации. Ликвидацией трагизма удостоверяется упразднение индивидуума.

В культуриндустрии индивидуум является иллюзорным не просто из-за стандартизации свойственного ей способа производства. Его терпят лишь до тех пор, пока его безоговорочная идентичность со всеобщим остается вне сомнения. Повсюду, начиная с нормированных импровизаций в джазе и кончая оригинальными киноперсонажами с обяза-

⁴Nietzsche. “Goetzendämmerung”. Werke, Band VIII, S. 136.

тельной свисающей на глаза прядью волос, царит псевдоиндивидуальность. Индивидуальное редуцируется до способности всеобщего столь основательно налагать свою печать на случайное, что последнее констатируется в качестве такового. Как раз такие выставляемые на всеобщее обозрение индивидуальные особенности, как упорная замкнутость или изысканность манер, производятся серийным способом подобно йельским замкам, друг от друга разнящимся лишь на долю миллиметра. Своеобразие самости является социально обусловленным монопольным продуктом, мошеннически выдаваемым за продукт естественный. Она сводится к усам, французскому акценту, низкому голосу прожигательницы жизни, любичскому штриху: к отпечаткам пальцев на во всем остальном одинаковых удостоверениях личности, в которые властью всеобщего превращаются жизнь и лицо всех без исключения отдельных людей, начиная с кинозвезды и кончая пожизненно заключенным. Псевдоиндивидуальность становится предпосылкой, необходимой для овладения трагизмом и его обеззараживания: лишь в силу того, что индивидуумы вовсе и не являются таковыми, но представляют собой узловые пункты пересечения тенденций всеобщего, становится возможным безо всяких препятствий вновь принять их во всеобщее. Тем самым массовая культура разоблачает тот фиктивный характер, который был присущ в буржуазную эпоху форме индивидуума с самых давних пор, и поступает неправомерно лишь тогда, когда чванится подобного рода мрачной гармонией всеобщего и особенного. Принцип индивидуальности был противоречивым с самого начала. Во-первых, собственно до индивидуации дело вообще так и не дошло. Классовым обликом самосохранения все были остановлены на ступени всего лишь родовых существ. В любом буржуазном характере, несмотря на все собственные ему отклонения и как раз именно в них свое выражение находило одно и то же: жестокость общества конкуренции. Отдельный человек, на которого опиралось общество, нес его изъян в себе; в своей мнимой свободе он являлся продуктом его экономического и социального аппарата. К господствующим соответственно каждому периоду властным отношениям власть апеллировала тогда, когда домогалась одобрения со стороны подвластных ей. В ходе своего развития буржу-

азным обществом был одновременно развит и индивидуум. Вопреки воле его правителей техника превратила людей из детей в личности. Но каждый такой успех в деле индивидуации происходил за счет индивидуальности, во имя которой он достигался, и ничего не оставлял после себя за исключением решимости не преследовать никаких иных целей, кроме своих собственных. Бюргер, чья жизнь расщеплена на сферу бизнеса и частной жизни, чья частная жизнь расщеплена на сферу репрезентированности в обществе и интимную, чья интимная жизнь расщеплена на утробное брачное сожителство и горькое утешение полного одиночества, разлада с самим собой и со всеми, виртуально уже является нацистом, одновременно и воодушевленным и все и вся поносящим, или же сегодняшним обитателем большого города, способным представить себе дружбу только в виде "социального контакта", общественного соприкосновения внутренне им незатронутых. Культуриндустрии удастся столь успешно обращаться с индивидуальностью только потому, что с самых давних пор в ней воспроизводила себя надломленность общества. В изготовляемых по выкройкам журнальных обложек лицах киногероев и частных лиц тает та иллюзия, в которую и без того уже никто не верит, и любовь к этим героическим моделям подпитывается тайным удовлетворением от того, что от усилий в деле индивидуации удастся, наконец, избавиться путем замены их на усилия в деле конечно же более дух захватывающего подражания. Тщетна надежда на то, что эта самопротиворечивая, распадающаяся личность не сможет выжить в течение поколений, что подобного рода психологический разлад неизбежно приведет к краху системы, что лживая подмена индивидуального стереотипом сама по себе должна стать невыносимой для людей. Единство личности было разгадано в качестве иллюзорной видимости еще во времена шекспировского Гамлета. В физиономиях сегодняшнего дня, изготовляемых синтетическим путем, полностью забвению предано то, что некогда вообще существовало понятие о человеческой жизни. В течение столетий подготавливало себя общество к Виктору Метью и Мики Руни. Разрушая, грядут они, чтобы исполнить чаемое.

Героизация посредственного входит в состав куклы дешевизны.

Самые высокооплачиваемые звезды уподобляются рекламным картинкам для неназываемых запатентованных товаров. Вовсе не случайно они нередко выбираются из толпы коммерческих моделей. Господствующий вкус заимствует свой идеал из рекламы, из расхожего образа красоты. Так по иронии судьбы в конечном итоге сбываются слова Сократа о том, что прекрасное есть полезное. Кино вербует клиентов для концерна культуры как тотальности, на радио товары, ради которых существуют продукты культуры, расхваливаются и поодиночке. За пятьдесят медяков смотрят стоящий миллионы фильм, за десять получают жевательную резинку, за которой стоит все богатство мира, ее сбытом умножаемое. *In absentia*, но все же на основе всеобщего голосования выясняют казну армий, не попустительствуя, правда, проституции в глубоком тылу. Лучшие капеллы мира, таковыми не являющиеся, бесплатно доставляются на дом. Все это столь же издевательски походит на страну с молочными реками и кисельными берегами, как и националистическая общность на человеческую. Всем и каждому будет в чем-нибудь да услужено. Констатация провинциального посетителя старого берлинского Метрополитен-театра, мол это просто удивительно, что за деньги люди позволяют себе все что угодно, давно уже подхвачена культуриндустрией и возведена ею в самую субстанцию выпускаемой продукции. Последняя не просто беспрестанно сопровождается триумфом по поводу того, что она возможна, она сама в значительной степени есть этот триумф. Шоу заставляет показывать все, все, что имеют и могут. Оно и сегодня все еще является ярмаркой, только неизлечимо заболевшей культурой. Подобно тому, как люди, привлеченные голосом ярмарочного зазывалы в лавку, справлялись со своим разочарованием, мужественно усмехаясь, поскольку с самого начала знали, что так оно и войдет, с полным пониманием к этой институции относится и кинозритель. Однако дешевизной серийных *de luxe*-продуктов и ее complements, универсальным надувательством, прокладывается путь изменениям в самом товарном характере искусства. Новым является не этот характер: лишь в том, что сегодня он открыто и намеренно признается, и в том, что искусство отрекается от своей собственной автономии, гордо встает в ряды товаров широкого потребления, состоит

прелесть новизны. Искусство как обособленная сфера с самых давних пор было возможно лишь в качестве буржуазного. Даже сама его свобода в качестве отрицания социальной целесообразности в том виде, в каком берет она верх над рынком, остается сущностно связанной с предпосылками товарной экономики. Чистые произведения искусства, отрицавшие товарный характер общества уже одним только тем, что следовали своему собственному закону, всегда были одновременно и товаром: поскольку, вплоть до восемнадцатого столетия, покровительство заказчиков защищало художников от рынка, они попадали взамен того в зависимость от заказчиков и их целей. Бесцельность новейшего великого произведения искусства всецело порождается анонимностью рынка. Его требования являются столь многократно опосредованными, что это избавляет художника от необходимости следовать определенным условиям, правда, только в известной мере, ибо его автономии, как всего только снисходительно терпимой, на протяжении всей буржуазной истории сопутствовал момент неистинности, в конечном итоге приведший к социальной ликвидации искусства. Смертельно больной Бетховен, отшвыривающий от себя роман Вальтера Скотта с возгласом “А ведь парень-то пишет ради денег”, и в то же время при реализации последних квартетов, этого предельного отказа от рынка, выказывающий себя в высшей степени опытным и настойчивым дельцом, являет собой самый замечательный пример единства противоположностей рынка и автономии в буржуазном искусстве. Добычей идеологии становятся как раз те, кто скрывают это противоречие вместо того, чтобы включить его в сознание собственной продукции, как то сделал Бетховен: он симпровизировал бешенство по поводу потерянных грошей и вывел то метафизическое *Сие Должно Быть*, которое стремится эстетически снять натиск мира тем, что принимает его на себя, из требования домовладелицы уплатить ежемесячную плату. Принцип идеалистической эстетики, целесообразность без цели, является вывернутой наизнанку схемой, которой социально следует буржуазное искусство: бесцельность ради целей, рынком декларируемых. В конечном итоге содержащейся в требовании развлекательности и разрядки целью поглощается царство бесцельности. Благодаря тому однако, что претен-

зия на реализуемость искусства становится тотальной, начинает обнаруживать себя некий сдвиг во внутренней экономической структуре культурных товаров. Польза, которую надеются извлечь люди в антагонистическом обществе из произведений искусства, в значительной степени есть само это существование безо всякой пользы, упраздняемое полным подчинением требованию выгоды. В силу того, что произведение искусства целиком и полностью уподобляет себя потребности, оно уже заранее мошеннически лишает людей как раз той возможности освободиться от принципа выгоды, которой оно должно способствовать. То, что можно было бы назвать потребительской стоимостью в восприятии продуктов культуры, заменяется их меновой стоимостью, место наслаждения занимает присутствие при сем и о сем осведомленность, место эрудированности - выгоды престижа. Потребитель становится идеологией индустрии развлечений, от чьих институций ему не удастся ускользнуть. Миссис Минивер нужно смотреть точно так же, как и иметь журналы "Life" и "Time". Все воспринимается только под тем углом зрения, что оно предназначается для чего-то другого независимо от того, насколько смутно видится это другое. Все имеет ценность лишь постольку, поскольку может быть обменено, но не потому, что оно само что-то представляет собой. Потребительскую стоимость искусства, его бытие, они считают фетишем, а фетиш, его общественная оценка, которую они ошибочно принимают за ранг произведения искусства, становится единственной для них потребительской стоимостью, тем единственным качеством, от которого они получают наслаждение. Так распадается товарный характер искусства из-за того, что полностью реализует себя. Искусство есть разновидность товара, выделанного, поставляемого, приравненного к индустриальной продукции, продающегося и заменимого, но именуемая искусством разновидность товара, всегда жившая тем, что этот товар продавался, в то же время оставаясь непроданным, полностью превращается в нечто лицемерно непроданное, как только бизнес оказывается тут уже не просто намерением, но единственным принципом. Трансляция выступления Тосканини по радио до известной степени является не подлежащей продаже. Ее слушают безвозмездно, и к каждому звуку симфонии тут

как бы примешивается еще и утонченная реклама того, что симфония не прерывается рекламой - "this concert is brought to you as a public service". Обмен, одновременно являющийся обманом, осуществляется здесь косвенно, через прибыль всех объединенных автомобильных и мощных фабрикантов, на средства которых содержатся радиостанции, и естественно через возросший оборот электроиндустрии как изготовительницы радиоприемников. Сплошь и рядом радиовещание, этот самый последний прогрессивный отпрыск массовой культуры, делает те выводы, в которых до поры до времени отказывает фильму его псевдорынок. Техническая структура коммерческой системы радиовещания делает его иммунным, невосприимчивым к либеральным отклонениям, каковые кинопромышленники все еще способны позволить себе в собственной сфере. Радиовещание является частным предприятием, уже репрезентирующим суверенное целое, и в этом кое в чем опередило прочие концерны. "Честерфилд" - это всего лишь сигареты нации, но радио - ее рупор. В процессе тотального вовлечения продуктов культуры в товарную сферу радио вообще отказывается от того, чтобы поставлять человеку свои культурные продукты собственно в качестве товаров. В Америке оно не взимает никакой платы с публики. Тем самым оно обретает обманчивый облик незаинтересованного, надпартийного авторитета, как нельзя лучше устраивающего фашизм. Там радио становится универсальным гласом фюрера; в уличных громкоговорителях звук его голоса переходит в вой возвещающих панику сирен, от которых современную пропаганду и без того трудно отличить. Национал-социалистам и самим было отлично известно, что радиовещание придает их делу такой же облик, какой был придан Реформации печатным прессом. Изобретенная социологией религии метафизическая харизма фюрера в конечном итоге оказалась всего лишь вездесущностью его радиоречей, сатанински пародирующей вездесущность духа божественного. Тот гигантский факт, что эти речи проникают повсюду, заменяет собой их содержание, подобно тому, как акт благодеяния, выразившийся в вышеупомянутой трансляции выступления Тосканини, замещает собой его содержание, симфонию. Их истинную смысловую связь уже более не способен воспринять ни один слушатель, при всем

при том, что речи фюрера и без того являются сплошной ложью. Абсолютизация человеческого слова, лживых заповедей - это тенденция, имманентно присущая радио. Рекомендация становится тут приказом. Рекламирование всегда одних и тех же товаров под различными именными ярлыками, научно обоснованное расхваливание слабительного слащавым голосом диктора в промежутках между увертюрами из "Травиаты" и "Риенци" уже по причине одной только своей пошлости и глупости не выдерживает никакой критики и является несостоятельным. Теперь, наконец-то, диктат продукции, затуманенный видимостью возможности выбора, обрел способность превращаться в открытые команды фюрера. В обществе фашистских воротил от рэкета, меж собой договорившихся о том, какая часть социального продукта должна быть выделена на нужды народов, было бы явным анахронизмом увещевать кого-либо пользоваться только вполне определенным видом мыльного порошка. Фюрер гораздо более современен, безо всяких там церемоний прямо приказывая либо пустить в ход механизм заклания жертв, либо покупать всяческий хлам.

Уже сегодня культуриндустрия скармливает противящейся публике произведения искусства, равно как и политические лозунги, соответствующим образом оформленные, по сниженной цене, наслаждение ими становится народу доступным, подобно паркам. Однако упразднение их врожденного товарного характера означает вовсе не то, что в жизни свободного общества они перестали бы существовать, но только то, что ныне пала даже последняя защита, предохранявшая их от низведения на уровень расхожего культуртовара. Ликвидация предоставляемых образованием привилегий посредством распродажи всего и вся вовсе не позволяет массам проникнуть в ту сферу, в которую прежде они не допускались, но способствует, при существующих социальных отношениях, как раз распаду образования, прогрессу варварской от культурного фона изолированности. Тот, кто в девятнадцатом и в начале двадцатого столетия платил деньги за то, чтобы увидеть драму или услышать концерт, относился к представлению, по меньшей мере, с таким же уважением, как и к заплаченным деньгам. Бюргер, который желал что-то с этого иметь, иногда даже мог пытаться вступить в ка-

кие-то взаимоотношения с произведением. Так называемая путеводная литература к вагнеровским музыкальным драмам, например, комментарии к “Фаусту”, являются тому свидетельством. Ими прежде всего обеспечивается наведение биографического глянца и тому подобного, чему сегодня неизбежно подвергается произведение искусства. Даже в эпоху юношеского расцвета этого бизнеса меновая стоимость не волочила стоимость потребительскую за собой в качестве всего только лишь своего аппендикса, но также и развивала ее в качестве своей собственной предпосылки, и это в социальном плане шло на пользу произведениям искусства. Бюргер все еще удерживался искусством в некоторых границах до тех пор, пока оно было дорогим. С этим теперь покончено. Его безграничная, никакими деньгами более не опосредованная близость к тем, кто отдан ему на произвол, доводит отчуждение до завершающей стадии и уподобляет одно другому под знаком торжествующей предметности. В культуриндустрии исчезают равным образом как критика, так и уважение: первой наследует механическая экспертиза, второму - забывчивый культ выдающихся деятелей. Для потребителей ничто уже более не является дорогим. При этом они все же догадываются о том, что оно достается им тем в меньшей мере, чем дешевле стоит. К двойному недоверию по отношению к традиционной культуре как идеологии примешивается недоверие к культуре индустриализированной как надувательству. Превращенные в простой довесок, подпорченные произведения искусства совместно с тем хламом, к которому приравняют их медиа, исподволь отвергаются счастливыми. Последним предоставляется возможность от души радоваться тому, что имеется так много всего и посмотреть и послушать. Собственно говоря, доступно все. Экранизации и водевили в кино, конкурсы музыкальных отгадаек, бесплатные брошюрки, награды и призы, достающиеся слушателям определенных радиопрограмм, являются не просто случайными акциденциями, но продолжением того, что происходит с самими продуктами культуры. Симфония становится премией за то, что вообще слушают радио, и будь на то воля техники, фильм бы уже доставлялся, по образу и подобию радио, прямо на дом. Курс держат на “коммерческую систему”. Телевидением намечается путь развития, спо-

способный достаточно легко оттеснить братьев Уорнер на несомненно нежелательную для них позицию камерных исполнителей и культурконсерваторов. Однако система премирования уже привилась среди потребителей. В силу того, что культура выставляет себя неожиданным подарком, выгодность которой и в личном плане и в социальном конечно же не подлежит сомнению, ее рецепция превращается в восприятие выпадающих шансов. Потребитель теснится, суетится, боясь, что могут что-то упустить. Что именно, совершенно неясно, но во всяком случае шанс имеет только тот, кто не исключает себя из игры. Ну а фашизм на то и надеется, что ему удастся реорганизовать натренированных культуриндустрией получателей даров в свою регулярную принудительную свиту.

Культура является парадоксальным товаром. Она настолько полностью подчинена закону обмена, что уже более не обменивается; настолько слепо поглощается она в ходе употребления, что уже более не может быть употреблена. Поэтому она сливается с рекламой. Чем более бессмысленной кажется последняя в условиях господства монополий, тем более всесильной она становится. Мотивы являются достаточно экономическими. Слишком несомненно то, что можно было бы прожить и без всей культуриндустрии в целом, слишком уж большое пресыщение и апатию должна порождать она среди потребителей. С этим сама по себе она мало что может поделать. Реклама есть ее жизненный эликсир. Но так как ее продуктом то наслаждение, которое он будучи товаром обещает, неизменно редуцируется к одному только обещанию, сам он в конечном итоге полностью совпадает с рекламой, в которой он нуждается из-за своей неупотребимости. В обществе конкуренции она выполняла социальную функцию ориентации покупателя в условиях рынка, она облегчала выбор и помогала более работоспособному, но неизвестному поставщику сбывать свои товары подходящему человеку. Она не просто чего-то стоила, но экономила рабочее время. Сегодня, когда свободный рынок идет к своему концу, свои редуты в ней возводит безраздельное господство системы. Благодаря ей становятся крепче те узы, которыми потребители приковываются к большим концернам. Лишь тот, кто способен непрерывно оплачивать непомерные, из

ряда вон выходящие налоги, взимаемые рекламными агентствами и в первую очередь самим радио, таким образом только тот, ко уже принят в дело или по решению банковского и индустриального капитала кооптируется в него, вообще имеет право выступать на этом псевдорынке в качестве продавца. Расходы на рекламу, в конечном итоге притекающие обратно в карманы концернов, избавляют от необходимости вступать в обременительную конкурентную борьбу с нежелательным аутсайдером, дабы его повергнуть; они гарантируют, что те, кто занимают руководящие позиции, так при своем и останутся; не так уж непохоже на те экономические решения, посредством которых в тоталитарном государстве контролируется процесс открытия промышленных предприятий и последующее управление ими. Реклама сегодня является негативным принципом, блокирующим устройством: все, что не несет на себе ее клеймо, является экономически подозрительным. Всеобъемлющая реклама никоим образом не является необходимой для того, чтобы знакомить людей с теми сортами товаров, предложение на которые так или иначе является ограниченным. Сбыту она способствует лишь косвенным образом. Отказ от расхожей рекламной практики для отдельной фирмы означает потерю престижа, по сути дела оказывается нарушением той дисциплины, к которой обязывает своих приспешников влиятельная клика. В военное время, попросту ради демонстрации индустриальной мощи, продолжает создаваться реклама тех товаров, которые уже более никем не поставляются. Субсидирование идеологических медиа становится тогда важнее простого повторения имен. Благодаря тому, что под нажимом системы любой продукт вынужден использовать рекламную технику, последняя победным маршем вторгается в идиому, в “стиль” культуриндустрии. Ее торжество столь окончательно, что в ключевых пунктах она даже более не бывает отчетливо выраженной: принадлежащие великим мира сего монументальные строения, это в свете прожекторов воплощаемая в камень реклама, свободны от наружной рекламы и разве что все еще выставляют на всеобщее обозрение на своих башнях лапидарно сверкающие, отрешенные от самовосхваления инициалы фирмы. И напротив, оставшиеся от девятнадцатого столетия дома, архитектура которых пристыжено свидетель-

ствуется о возможности их использования как предмета потребления, в качестве жилья, от первых этажей до самых крыш и даже выше буквально закрыта плакатами и транспарантами; ландшафт становится тут всего лишь фоном для вывесок и афиш. Реклама становится просто искусством, с которым прозорливо отождествил ее Геббельс, искусством для искусства, рекламой для самой себя, чистой демонстрацией социальной власти. Во влиятельных американских журналах "Life" и "Fortune" беглому взгляду уже едва ли удастся отличить рекламные образы и тексты от редакционных частей. Редакционным тут оказывается восторженный и неоплачиваемый фоторепортаж о жизненных привычках и личной гигиене какого-нибудь влиятельного лица, число его фанов пополняющий, в то время как на рекламных страницах упор до такой степени делается на объективные и жизненно правдивые фотографии и сведения, что они представляются прямо-таки идеалом информации, с которого редакционной части остается лишь брать пример. Каждый фильм оказывается шоу, предваряющим непосредственно за ним следующий, снова обещающий соединить ту же самую пару героев под тем же самым экзотическим солнцем: тот, кто пришел слишком поздно, так и остается в неведении, присутствует ли он на этом предварительном шоу или на демонстрации самого оригинала. Монтажный характер культуриндустрии, синтетический, дирижируемый способ изготовления ее продуктов, фабричный не только в киностудии, но виртуально также и при компилировании дешевых биографий, романов-репортажей и шлягеров, уже заранее является как нельзя более подходящим для рекламы: благодаря тому, что каждый отдельный момент становится тут отделяемым, взаимозаменяемым и даже технически отчуждаемым от любого смыслового контекста, он всецело предоставляет себя в распоряжение целей, внешних по отношению к данному произведению. Тот или иной эффект, трюк, изолированное и воспроизводимое единичное достижение с самых давних пор верой и правдой служили выставлению напоказ товаров в рекламных целях, а сегодня каждый снимок крупным планом какой-либо киноактрисы превращается в рекламу ее имени, каждый шлягер - в назойливую рекламу его мелодии. Как технически, так и экономически реклама и культу-

риндустрия сливаются друг с другом. Повсеместно как в первой, так и во второй наблюдаются одни и те же явления, а механическое повторение одного и того же культурпродукта уже есть повторение одного и того же пропагандистского лозунга. Как в первой, так и во второй под знаком эффективности происходит превращение техники в психотехнику, в средство манипуляции людьми. Как в первой, так и во второй действенными остаются нормы необычайного и все же хорошо знакомого, легковесного и все же запечатлевающегося в памяти, изошренного и все же безыскусного; дело-то ведь идет о покорении представляемого либо в качестве рассеянного, либо в качестве внутренне сопротивляющегося клиента.

Тем языком, на котором говорит клиент, он и сам вносит свою лепту в рекламный характер культуры. И действительно, чем полнее растворяется язык в сообщении, чем в большей степени превращаются слова из субстанциальных носителей смысла в бескачественные знаки, чем чище и прозрачнее опосредуется ими подразумеваемое, тем более непроницаемыми они в то же время становятся. Демифологизация языка, как элемент общего процесса Просвещения, отбрасывает нас назад к магии. При всем своем отличии друг от друга неразрывной связью были связаны между собой слово и содержание. Такие понятия, как печаль, история и даже жизнь постигались в слове, их выделявшем и сохранявшем. Его обликом они конституировались, в нем находя в то же время свое отражение. Решающий разрыв, объявляющий ход слова случайным, а подчинение предмету произвольным, кладет конец суверенному смешению слова и дела. То, что в строго установленной последовательности букв выходит за пределы их корреляции, изгоняется в качестве непонятного и вербальной метафизики. Но тем самым слово, которому положено всего только обозначать и уже более не дано ничего означать, до такой степени фиксирование привязывается к вещи, что превращается в застывшую формулу. В одинаковой степени это затрагивает и язык и предмет. Вместо того, чтобы сделать предмет доступным опыту, очищенное слово экспонирует его в качестве частного случая абстрактного момента, а все прочее, понуждением к безжалостной отчетливости лишаемое выразительности, которой более не существу-

ет, благодаря тому приходит в упадок также и в реальности. Слова “левый крайний нападающий” в футболе, “чернорубашечник”, “гитлерюгендовец” и им подобные не являются чем-то большим, чем то, что они означают. И если до своей рационализации слово освобождало от оков вместе со страстным желанием также и ложь, то став рационализированным, оно превратилось в смирительную рубашку для страстного желания еще в большей степени, чем для лжи. Слепота и немота тех данных, до которых редуцирует мир позитивизм, распространяется и на сам язык, ограничивающийся регистрацией этих данных. Сами обозначения становятся непроницаемыми, они обретают действительную силу, власть притягивать и отталкивать, уподобляющую их их крайней противоположности, заклинаниям. Они также используются в качестве своего рода приемов, будь то в случае, когда имя дивы комбинируется в студии на статистической основе, будь то в том, когда преследующее цели общественного благосостояния правительство предают анафеме посредством таких табуирующих наименований, как “бюрократы” и “интеллектуалы”, будь то в том, когда всякого рода швалью имена страны используются в качестве страховки. Вообще имя, с которым главным образом связывает себя магия, подлежит сегодня химическому изменению. Оно превращается в произвольное и удобное для манипулирования обозначение, эффект воздействия которого хотя отныне и поддается исчислению, но именно поэтому оказывается столь же деспотичным, как и эффект воздействия имени архаического. Имена собственные, этот архаический пережиток, приводятся в соответствие со стандартами нынешней эпохи либо путем их стилизации под рекламное тавро - у кинозвезд даже их фамилии являются именами - либо путем коллективной стандартизации. По сравнению с этим устарело звучит буржуазное фамильное имя, которое, вместо того, чтобы быть товарным знаком, индивидуализировало его носителя через связь с его собственной предысторией. У американцев оно вызывает своеобразное замешательство. Чтобы затушевать стеснительную дистанцию между отдельными людьми, они называют себя все Боб и Гарри, как взаимозаменяемые члены команд. Подобного рода норма поведения сводит отношения людей на уровень братства спортивных болельщиков, на-

дежно защищающего от подлинного. Сигнификация, как единственная дозволяемая семантикой слову функция, находит свое завершение в сигнале. Ее сигнальный характер усиливается благодаря тому проворству, с каким сверху запускаются в обращение языковые модели. И если народные песни по праву или неправомерно были названы деградировавшим культурным достоянием высших слоев, то во всяком случае их элементы свой популярный облик обрели лишь в ходе длительного, многократно опосредованного процесса апробирования их на опыте. В противоположность этому распространение популярных песен происходит с молниеносной быстротой. Американским выражением “fad” для носящей эпидемический характер моды - то есть разжигаемой экономическими силами высокой концентрации - этот феномен был обозначен еще задолго до того, как тоталитарные рекламные шефы приступили к проведению в жизнь соответствующих генеральных линий в области культуры. Когда немецкие фашисты в один прекрасный день через громкоговорители пускают в ход такое слово как “невыносимо”, на следующий день уже вся нация твердит “невыносимо”. По той же самой схеме включают его в свой жаргон и те нации, которые стали жертвами германского блицкрига. Повторение всеми наименований принимаемых властями мер делает эти меры как бы хорошо знакомыми наподобие того, как во времена свободного рынка бывшим у всех на устах названием товара повышался его сбыт. Слепое и стремительно распространяющееся повторение специально предназначенных к тому слов объединяет рекламу с тоталитарными лозунгами и призывами. Слой опыта, который превращал слова в слова людей, их произносивших, уже скрыт, и в ходе этой поспешной оккупации язык приобретает ту сухость и холодность, которая до сих пор была ему свойственна лишь в колонках для афиш и объявлений и рекламных разделах газет. Несть числа тем, кто употребляют слова и обороты речи, которые они либо вообще уже более не понимают, либо используют в соответствии с их бихевиористской значимостью и рангом, наподобие защитных знаков, которые, в конечном итоге, тем принудительное и прочнее прикрепляются к своим объектам, чем в меньшей степени постижимым оказывается их языковой смысл. Министр народного просвещения невежествен-

но рассуждает о динамических силах, а шлягеры неустанно распевают о *reverie* и *rhapsody*, будучи обязанными своей популярностью именно магии непонятого, как и трепету в ожидании жизни более возвышенной. Другие стереотипы, вроде памяти, все еще до некоторой степени понятны, но избегают того опыта, осуществлению которого могли бы способствовать. Подобно анклавам, высются они на равнине разговорного языка. На немецком радио Флеша и Гитлера их можно распознать по аффектированному верхненемецкому диктора, который, произнося “До следующей радиопередачи” или “Говорит Гитлерюгенд” и даже “Фюрер”, подсказывает нации интонацию, которая становится врожденным произношением миллионов. В подобного рода оборотах речи разорвана последняя связь между наслоениями опыта и языком, в диалектах девятнадцатого столетия все еще оказывавшая свое примиряющее воздействие. Зато под рукой редактора, которого податливость убеждений довела до места правщика немецкого литературного стиля, немецкие слова становятся косными, превращаясь в чужие. По каждому слову удастся распознать, сколь основательно было изувечено оно фашистским народным единством. Мало-помалу, однако, такой язык становится уже всеобъемлющим, тоталитарным. В словах уже более не удастся расслышать то насилие, которое выпадает на их долю. Радиодиктора никто и ничто не вынуждает говорить напыщенно; ведь он был бы попросту нестерпим, если бы его интонация по своей манере отличалась от интонации определенной ему группы слушателей. Но зато язык и жестика слушателей вплоть до таких нюансов, до каких прежде не удавалось добраться никакому из экспериментальных методов, пропитывается схемами культуриндустрии гораздо сильнее, чем когда бы то ни был. Сегодня она вступает во владение цивилизаторным наследием предпринимательской демократии и демократии пограничных регионов, чувствительность которой к духовным отклонениям также развивалась не в сторону излишней чуткости. Всем предоставлена свобода танцевать и развлекаться точно так же, как со времен исторической нейтрализации религии всем предоставлена свобода вступать в ту или иную из бесчисленных сект. Но свобода в выборе идеологии, всегда лучающаяся отраженным светом экономического принуждения, на

деле оказывается во всех сферах свободой выбора вечно тождественного. Та манера, в которой молодая девушка дает согласие и заканчивает обязательное свидание, интонация при телефонном разговоре и в самых доверительных ситуациях, подбор слов при беседе, даже разделяемая на части порядком понятий клонящейся к упадку глубинной психологии внутренняя жизнь в целом свидетельствуют о попытке превратить самого себя в адекватный успеху аппарат, вплоть до инстинктивных побуждений соответствующий предлагаемой культуриндустрией модели. Самые интимнейшие реакции людей им самим же вопреки настолько полностью овеществляются, что идее их собственного своеобразия удастся существовать лишь на уровне предельной абстрактности: личность едва ли характеризуется для них чем-либо иным, кроме ослепительной белизны зубов и полной свободы от запаха пота из подмышек и эмоций. Таков триумф рекламы в культуриндустрии, принудительный мимезис потребителей к в то же самое время видимым ими насквозь культуртоварам.

ЭЛЕМЕНТЫ АНТИСЕМИТИЗМА

Границы Просвещения

Антисемитизм сегодня одними рассматривается в качестве рокового для человечества вопроса, другими - в качестве одной лишь отговорки. Для фашистов евреи являются не меньшинством, но противорасой, негативным принципом как таковым; счастье этого мира ставят они в зависимость от их искоренения. Экстремально противоположным является тезис, согласно которому евреи, не обладающие национальными или расовыми признаками, образуют некую группу благодаря религиозным воззрениям и традиции, а не чему-либо еще. Еврейские отличительные признаки приписываются тут восточным евреям, во всяком случае тем, кто еще не подвергся полной ассимиляции. Обе доктрины являются одновременно и истинными и ложными.

Первая является истинной в том смысле, что ее сделал истинной фашизм. Евреи являются сегодня той группой, которая как на практике, так и в теории навлекает на себя волю к уничтожению, ложным общественным порядком из самого себя продуцируемую. Абсолютное зло клеймит их печатью абсолютного зла. Так на практике они оказываются избранным народом. В то время как уже более нет нужды в экономическом господстве, евреям суждено быть его абсолютным объектом, с которым так и надлежит обращаться. Рабочим, которым, в конечном итоге, все это, разумеется, и предназначено, никто, по вполне понятным причинам, не говорит это прямо в лицо; негры пусть себе остаются там, где им и место, но от евреев должна быть очищена зем-

ля, и призыв истребить их как вредных паразитов находит отклик в сердцах всех перспективных фашистов всех стран. В образе еврея, сооружаемом шовинистами на глазах у всего мира, находит свое выражение их собственная сущность. Их страстью является исключительное обладание, присвоение, власть без границ любой ценой. Евреев, на которых они сваливают свою вину, в качестве властителей осмеиваемых, пригвождают они к кресту, бесконечно возобновляя то жертвоприношение, в действенную силу которого они не могут верить.

Другой, либеральный, тезис истинен в качестве идеи. Он содержит в себе образ общества, в котором бешеная злоба более не репродуцирует себя и не ищет того, на чем она могла бы выместить себя. Однако в силу того, что либеральным тезисом единство людей рассматривается как в принципе уже осуществившееся, он способствует апологии существующего. Попытка предотвратить величайшую опасность при помощи политики меньшинства и демократической стратегии столь же двусмысленна, как и оборонительная позиция последних либеральных буржуа. Их бессилие привлекает врагов бессилия. Самим существованием и внешним видом евреев существующая всеобщность компрометируется в силу недостаточной приспособляемости. Неизменная приверженность евреев их собственному образу жизни привела к небезопасным взаимоотношениям с господствующим порядком. Они ожидали получить от него поддержку, не будучи его властителями. Их отношение к народам-хозяевам было отношением алчности и страха. Но во всех тех случаях, когда они поступались отличием от господствующих нравов, взамен преуспевшим доставался тот холодный, стоический характер, который навязывает общество человеку и по сегодняшний день. Диалектическое сплетение Просвещения и господства, двойственная связь прогресса с жестокостью и освобождением, которые евреям удалось почувствовать как у великих просветителей, так и в демократических национальных движениях, равным образом проявляют себя и в самом существе тех из них, кто подвергся ассимиляции. Просвещенное самообладание, с помощью которого приспособившиеся евреи старались избавиться себя от мучительных памятных отметин подчинения власти других, так сказать второго обрезания, безоговорочно ввело их,

заставив покинуть их собственное обветшалое сообщество, в среду нововременной буржуазии, уже неудержимо шествующей вперед, к рецидиву чистого угнетения и к своей реорганизации в стопроцентную по чистоте расу. Раса не является, как хотелось бы того шовинистам, непосредственно от природы данной особенностью. Скорее напротив, она представляет собой редукцию к природной данности, к неприкрытому насилию, будучи той косной партикулярностью, которая при существующем порядке вещей именно и оказывается всеобщим. Сегодня раса проявляет себя в виде самоутверждения буржуазного индивидуума, интегрированного в варварский коллектив. Общественную гармонию, приверженцами которой являлись либеральные евреи, в конце концов пришлось им испытать на самих себе в качестве гармонии националистического сообщества. Они полагали, что антисемитизм лишь извращается тот общественный порядок, который на самом деле вовсе не способен существовать без извращения людей. Преследование евреев, как и преследование вообще, неотделимо от подобного рода общественного порядка. Его сутью, сколь бы успешно ни скрывала она себя по временам, является насилие, сегодня открыто о себе заявляющее.

II

Антисемитизм как националистическое движение всегда был тем, в чем так любили упрекать его зачинщики социал-демократов: уравниловкой. Тем, кто не наделены властью подчинять, должно быть так же плохо, как и народу. От немецких чиновников до гарлемских негров его завистливые последыши в сущности всегда осознавали, что, в конечном итоге, сами они ничего с этого не будут иметь, кроме радости от того, что и другие не более иметь теперь будут. Аризация еврейской собственности, и без того по большей части пошедшая на пользу только верхам, едва ли принесла массам в третьем рейхе выгоду большую, чем казакам та жалкая добыча, что прихватывали они с собой из разоренных еврейских кварталов. Реальной выгодой была видимая лишь наполовину идеология. То обстоятельство, что демонстрация его эко-

номической бесполезности скорее усиливает, чем ослабляет привлекательность этого нацистского лечебного средства, указывает на его истинную природу: оно идет на пользу не человеку, но его склонности к уничтожению. Действительной выгодой, на которую рассчитывает нацгеноссе, оказывается тут санкционирование его бешеной злобы коллективом. Чем мизернее прочие результаты, тем более ожесточенной становится его приверженность движению вопреки рассудительности. Аргумент о недостаточной рентабельности антисемитизм не смущает. Для народа он - роскошь.

Его целесообразность для господства очевидна. Он используется в качестве отвлекающего средства, дешевого способа коррумпирования, наглядного террористического урока. Респектабельный рэкет поддерживает его, нереспектабельный его практикует. Но облик того духа, как общественного так и индивидуального, который находит свое выражение в антисемитизме, то доисторически-историческое стечение обстоятельств, во власти которого он оказывается, полностью сокрыт во мраке. Если за столь глубоко укоренившимся в цивилизации страданием не признается право быть познанным, не удастся его унять путем познания также и отдельному человеку, будь он даже до такой степени исполнен добрых намерений, как и сама жертвенность. Не способны на это и столь убедительные рациональные, экономические и политические объяснения и контраргументы - сколь бы справедливыми они ни были, - ибо неразрывно связанная с господством рациональность сама покоится на почве страдания. Как вслепую наносящие удары и вслепую их отражающие преследователь и жертва сопричастны одному и тому же кругу несчастья и зла. Антисемитские действия и поступки вызываются теми ситуациями, когда ослепленных, грабительски лишенных субъективности людей спускают с цепи в качестве субъектов. То что они делают, оказывается - для участников - не чем иным, как смертоносными и вместе с тем лишенными смысла реакциями, что и было установлено бихевиористами без какой бы то ни было их интерпретации. Антисемитизм является хорошо накатанной схемой, даже ритуалом цивилизации, а погромы представляют собой самые настоящие ритуальные убийства. Ими демонстрируется бессилие всего того,

что могло бы положить им конец, смысла, значения, в конце концов самой истины. В таком нелепом занятии, как убийство, находит свое подтверждение вся тупость жизни, которой покоряются.

Лишь слепота антисемитизма, его безинтенциональность придает долю истинности объяснению, что он-де является клапаном. Ярость обрушивается на того, чья беззащитность очевидна. И поскольку жертвы между собой всякий раз в зависимости от конъюнктуры взаимозаменяемы - бродяги, евреи, протестанты, католики, - каждый из них может занять место убийц, проникнуться той же самой слепой жадной убийства, стоит лишь последней ощутить свое могущество как норму. Не существует никакого генетического антисемитизма, как, конечно же, и антисемитизма врожденного. Взрослые, для которых призыв к еврейской крови стал второй натурой, столь же мало способны ответить на вопрос почему, как и молодежь, которой надлежит ее пролить. Правда, высокопоставленные заказчики, которые знают ответ, не испытывают ненависти к евреям и не любят свою свиту. Но последняя, остающаяся в накладе и экономически и сексуально, ненавидит бесконечно; она не потерпит никакого послабления, ибо никакое достижение чаемого ей не ведомо. Таким образом, на практике организованных разбойников-убийц воодушевляет своего рода динамический идеализм. Они выступают для того, чтобы грабить, и создают для этого высокопарную идеологию, неся вздор о спасении семьи, отечества, человечества. Но поскольку они при этом остаются в дураках, о чем они, правда, уже догадались, полностью отпадает, в конечном итоге, и их жалкий рациональный мотив, грабеж. Темный инстинкт, которому с самого начала была она более родственна, чем разуму, целиком и полностью овладевает ими. Его половодье затопляет островок рациональности, и эти отчаявшиеся предстают тогда единственно лишь в виде защитников истины, обновителей земли, которым надлежит также реформировать еще и последний ее уголок. Все живое становится материалом для выполнения их чудовищной задачи, помешать которой уже более не способны никакие симпатии и склонности. Действие воистину становится тут автономной самоцелью, оно умело маскирует свою собственную бесцельность. Антисемитизм всегда призывает довести дело до самого что

ни на есть конца. Между ним и тотальностью с самого начала существовала теснейшая внутренняя взаимосвязь. Ослепленность охватывает все, ибо не способна постичь ничего.

Либерализм предоставлял евреям имущественные права, но без какой бы то ни было командной власти. Это было смыслом прав человека - обещать счастье даже там, где отсутствует какая бы то ни было власть. Так как обманутые массы догадываются, что это обещание, будучи всеобщим, как правило, остается ложью до тех пор, пока существуют классы, оно возбуждает их ярость; они чувствуют, что над ними издеваются. Даже в качестве возможности, идеи они вынуждены все снова и снова вытеснять мысль об этом счастье, они отрицают ее тем яростнее, чем более актуальной она является. Во всех тех случаях, когда, несмотря на принципиальную невыполнимость, она кажется осуществившейся, они вынужденно воспроизводят то подавление, которое претерпело их собственное стремление. Все то, что становится поводом для такого воспроизведения, сколь бы несчастным оно ни было само - Ахасвер и Миньон, чужое, напоминающее о земле обетованной, красота, напоминающая о поле, отвратительное животное, напоминающее о промискуитете, - навлекает на себя всю страсть к разрушению тех цивилизованных особей, которым так никогда и не удалось пройти до конца мучительный процесс цивилизации. Для тех, кто ценой судорожных усилий добивается господства над естеством, оно, истязаемое, предстает в виде возбуждающего отраженного видения беспомощного счастья. Мысль о счастье без власти невыносима, потому что только тогда было бы оно вообще счастьем. Химерическая склонность к заговорам алчных еврейских банкиров, финансирующих большевизм, служит признаком их врожденного бессилия так же, как хорошая жизнь - признаком счастья. К этому присовокупляется и образ интеллектуала; он, по всей видимости, имеет возможность мыслить, чего не могут позволить себе другие, и не проливает пот тягостного труда и физического усилия. Банкир, как и интеллектуал, деньги и дух, эти экспоненты циркуляции являются недостижимым идеалом для изувеченных отношениями господства.

III

Сегодняшнее общество, в котором первобытные религиозные чувства и ренессансы наряду с наследием революции выставлены для рыночной продажи, в котором фашистские фюреры за закрытыми дверями ведут торг землями и жизнями нации, в то время как искушенная публика у радиоприемников предается подсчету цены, общество, в котором уже и слово, его разоблачающее, именно тем самым легитимизирует себя в качестве рекомендации для приема в ряды политического рэкета, это общество, в котором политика уже более не просто является бизнесом, но бизнес и есть вся политика, приходит в негодование от отсталых торгашеских манер еврея и объявляет его материалистом, спекулянтом, которому надлежит уступить место пламенному энтузиазму тех, кто возвел бизнес в ранг абсолюта.

Буржуазный антисемитизм имеет специфически экономическое основание: маскировку господства под производство. Если в предшествующие эпохи господство власть имущих было непосредственно репрессивным до такой степени, что не только обязанность трудиться уступали они исключительно низшим классам, но и объявляли этот труд позорным, каковым он всегда и был в условиях господства, то в эпоху меркантилизма абсолютный монарх превращается в крупнейшего владельца мануфактуры. Производство получает право доступа ко двору. Властители в качестве буржуа, наконец, полностью снимают с себя цветастую униформу и облачаются в гражданское. Труд не является постыдным, утверждали они, когда позволяет более рационально завладеть трудом других. Сами себя они зачисляли в ряды трудящихся, хотя оставались захватчиками и рвачами, как и прежде. Фабрикант рисковал и загребал деньги точно так же, как и коммерсант или банкир. Он рассчитывал, распоряжался, продавал и покупал. На рынке он конкурировал с ними ради прибыли. Только прибирал он к рукам не просто рынок, но первоисточник: как функционер своего класса заботился он о том, чтобы труд его рабочих не был ему в убыток. Рабочие должны были отдавать настолько много, насколько это только было возможно. Как самый настоящий Шейлок он настаивал на их долговых расписках.

Владея машинами и материалами, он принуждал других производить. Он называл себя продуцентом, но втайне он, как и всякий другой, знал истину. Продуктивный труд капиталиста независимо от того, служило ли оправданием его прибылей заработанное предпринимателем, как в эпоху либерализма, или оклад директора, как сегодня, всегда был идеологией, скрывающей подлинную суть трудового договора и хищническую природу экономической системы вообще.

Поэтому-то и кричат: держи вора!, а указывают при этом на еврея. Он и в самом деле является козлом отпущения, но не просто из-за отдельных маневров и махинаций, но во всеобъемлющем смысле, так как на него взваливается ответственность за экономическую несправедливость целого класса. Фабрикант не спускает глаз со своих должников, рабочих, на фабрике и контролирует выполнение ими своих обязательств, прежде чем выдать им деньги. То, что произошло в действительности, они начинают ощущать лишь тогда, когда видят, что они могут на это купить: даже самый незначительный магнат способен располагать таким количеством услуг и благ, как ни один из прежних властителей; трудящиеся же, однако, получают лишь так называемый культурный минимум. Мало того, что на рынке они узнают, сколь мало благ достается на их долю, в придачу к тому продавцом еще и рекламируется то, что они себе не могут позволить. Лишь в соотношении заработка и цен обнаруживает себя то, чего лишены трудящиеся. Получая зарплату, они соглашаются одновременно и с принципом расчета за их труд. Торговец предъявляет им тот вексель, который был подписан ими фабриканту. Он, таким образом, оказывается судебным исполнителем, представляющим интересы всей системы в целом, и принимает ненависть к другим на себя. Ответственность сферы обращения за эксплуатацию есть общественно необходимая видимость.

Сфера обращения занята не одними только евреями. Но они были заперты в ней слишком долго для того, чтобы ту ненависть, которую приходилось им сносить с давних пор, они бы не отражали через ее сущность. В противоположность их арийским коллегам доступ к источнику прибавочной стоимости был им по существу закрыт. До собственности на средства производства их допускали лишь с большим

трудом и запозданием. Правда, в истории Европы и даже германского кайзеровского рейха известны случаи, когда крещеным евреям удавалось достигнуть высокого положения в сфере управления и индустрии. Но они всегда должны были оправдывать его удвоенной преданностью, ревностным усердием, упорным самоотречением. Их допускали к нему только тогда, когда своим поведением они молчаливо примирялись с вердиктом относительно прочих евреев и добавочно подтверждали его правоту: таков был смысл крещения. Все великие деяния этих выдающихся личностей не повлекли за собой ассимиляцию еврея в состав народов Европы, ему не давали пустить корни и потому подвергали поношению из-за отсутствия корней. Он всегда оставался подзащитным евреем, зависимым от кайзеров, князей или абсолютистского государства. Все они некогда были более развитыми в экономическом отношении по сравнению с остальной, отсталой частью населения. В той мере, в какой они нуждались в евреях как в посреднике, они защищали его от масс, которым приходилось расплачиваться по счетам прогресса. Евреи были колонизаторами прогресса. С тех пор, как в качестве торговцев они помогли распространить римскую цивилизацию в родоплеменной Европе, они являлись, в полном соответствии со своей патриархальной религией, представителями городских, буржуазных, наконец, индустриальных общественных отношений. Они несли капиталистические формы существования на село и навлекали на себя ненависть тех, кому приходилось страдать под их ярмом. Ради того самого экономического прогресса, из-за которого сегодня они идут ко дну, у ремесленников и крестьян, деклассированных капитализмом, евреи с самого начала были бельмом на глазу. Его исключительный, особый характер они узнают теперь на собственном опыте. Те, кто всегда стремились быть первыми, остались далеко позади. Даже еврейский регент американского развлекательного треста при всем своем блеске живет в состоянии безысходной обороны. Кафтан был привидением-пережитком древнейшего бюргерского одеяния. Сегодня он свидетельствует о том, что его носители отброшены на обочину общества, которое, само будучи просвещенным, предается изгнанию призраков собственной предыстории. Те, кто пропагандировали индивидуализм, абстрактное

право, понятие личности, ныне деградировали до уровня биологической разновидности. Тех, кто так никогда и не смогли стать до конца обладателями гражданских прав, наделивших бы их человеческим достоинством, вновь называют всех без разбора "этим евреем". На союз с центральной властью еврей оставался обреченным даже в девятнадцатом столетии. Всеобщие, охраняемые государством права были залогом его безопасности, чрезвычайный закон - его кошмаром. Он оставался объектом, всецело отданным на милость других даже там, где он настаивал на своих правах. Торговля была не его профессией, она была его судьбой. Он был травмой рыцарей индустрии, вынужденных разыгрывать из себя творцов. В еврейском жаргоне удается ему слышать то, за что втайне презирает он себя: его антисемитизм является ненавистью к самому себе, нечистой совестью паразита.

IV

Националистический антисемитизм стремится отречься от религии. Он уверяет, что речь идет о чистоте расы и нации. Они принимают во внимание то, что люди уже давно отказались от заботы о вечном блаженстве. Средний верующий сегодня уже настолько лукав, как прежде был только кардинал. Более не удастся привести массы в движение, ставя евреям в вину то, что они являются закоренелыми неверующими. Но едва ли религиозная вражда, которая в течение двух тысяч лет побуждала к преследованию евреев, полностью утонула. Скорее напротив, то рвение, с которым антисемитизм отрицает свою собственную религиозную традицию, свидетельствует о том, что она ему присуща ничуть не менее, чем в прежние времена профанная идиосинкразия - религиозному фанатизму. Религия не была упразднена, а стала использоваться в качестве культуртовара. Союзом Просвещения и господства моменту содержащейся в ней истины был прегражден доступ к сознанию и законсервированы ее опредмеченные формы. И то и другое в конечном итоге идет на пользу фашизму: неподконтрольные страсти канализируются в националистический мятеж, потомки евангеличес-

ких фанатиков по модели вагнеровских рыцарей Грааля превращаются в участников заговора кровной общности и членов элитных гвардий, религия как институт частично сливается с системой, частично транспонируется в украшение массовой культуры и гала-демонстраций. Фанатическая вера, которой похваляются фюрер и его свита, не является иной, чем та озлобленная, что прежде держала под своим влиянием отчаявшихся, пропало лишь ее содержание. Лишь этим единственно живет ненависть против тех, кто эту веру не разделяет. От религии любви у немецких христиан не осталось ничего, кроме антисемитизма.

Христианство является не просто рецидивом предшествующего иудейству. При переходе от генотеистического к универсальному облику его богу так и не удалось полностью избавиться от черт природного демона. Ужас, ведущий свое происхождение от древнейших преанимистических времен, переходит с природы на понятие абсолютной самости, которая в качестве ее творца и повелителя совершенно подчиняет себе природу. При всей своей неопишуемой мощи и великолепии, которыми наделяет его такое отчуждение, оно все же доступно мысли, которая, именно соотносясь с высочайшим, трансцендентным, становится универсальной. Бог как дух противостоит природе в качестве иного принципа, который является не просто ручательством ее слепого кругооборота, как все мифические божества, но способен избавить от него. Но его абстрактностью и удаленностью в то же время лишь усиливается ужас перед несоизмеримым, и упорное словосочетание “я есть”, ничего, кроме себя, не терпящее, превосходит по части неизбежного насилия слепой, но потому именно и более неоднозначный приговор анонимной судьбы. Бог иудаизма требует то, что ему причитается, и рассчитывается с нерадивыми. Он опутывает свое творение паутиной провинностей и заслуг. В противоположность этому христианством подчеркивался момент милосердия, в самом иудаизме, правда, содержащийся в союзе Бога с человеком и в мессианских обещаниях. Это смягчило ужас перед абсолютном благодаря тому, что твари было дано вновь обрести самое себя в божестве: божественный посредник носит человеческое имя и умирает человеческой смертью. Его посланием было: отбросьте страх; закон ничто перед верой; превыше всего величия любовь, единственная заповедь.

Однако в силу тех же самых моментов, посредством которых христианство разрушает чары естественной религии, оно вновь порождает, хотя и в спиритуализированном облике, идолопоклонство. В той же самой степени, в какой абсолютное приближается к конечному, конечное абсолютизируется. Христос, ставший плотью дух, является обоженным магом. Человеческая саморефлексия в абсолютном, очеловечивание Бога посредством Христа есть *graton pseudos*. Прогресс по сравнению с иудаизмом оплачивается ценой утверждения, что человек Христос был Богом. Именно рефлексивный момент христианства, спиритуализация магии является причиной всех бед. За духовную сущность тут выдается как раз то, что, предшествуя духу, оказывается сущностью природной. Именно в развитии опровержений подобного рода притязаний со стороны конечного проявляет себя дух. Таким образом, нечистая совесть рекомендует в качестве символа фигуру пророка, в качестве метода претворения - магическую практику. Это делает христианство религией, в известном смысле единственной: интеллектуальной повязанностью интеллектуально подозрительной, особой культурной сферой. Как и великие азиатские системы, дохристианское иудейство едва ли в чем-либо расходилось с принципами национальной жизни, с всеобщим принципом самосохранения верой. Трансформация языческого ритуала жертвоприношения происходила не просто в области культа и не просто в области нравов, она определяла собой форму производственного процесса. В качестве его схемы жертвоприношение рационализируется. Табу превращается в рациональный регулятор процесса труда. Оно упорядочивает администрирование в периоды войны и мира, процессы сева и сбора урожая, приготовления пищи и забоя скота. И даже если эти правила возникают не из рациональных соображений, то, по меньшей мере, из них возникает рациональность. Стремление освободить себя от непосредственного страха создало у примитивных народов институт ритуала, в иудаизме он был превращен в священный ритм семейной и государственной жизни. Жрецы были назначены смотрителями над тем, чтобы обычаю следовали. Их властная функция в теократической практике была очевидной; христианство, однако, желало оставаться спиритуальным даже там, где оно стреми-

лось к господству. В идеологии оно порывает с принципом самосохранения посредством последней жертвы, жертвы Богочеловека, но как раз тем самым обрекает обесцененное существование на профанацию: Моисеев закон упраздняется, однако как кесарю, так и Богу воздается причитающееся. Мирская власть удостоверяется в правах либо узурпируется, христианская вера становится ведомством, обладающим концессией на благодать. Преодоление принципа самосохранения посредством подражания Христу возводится в ранг предписания. Так жертвенная любовь лишается своей наивности, отделяется от естественной и учитывается в качестве заслуги. Опосредованная знанием блага любовь должна при этом быть, тем не менее, непосредственной; природе и сверхъестественному надлежит достигнуть примирения в ней. В этом состоит ее неистинность: в ложно-утвердительном толковании самоотречения.

Толкование является ложным потому, что церковь, живущая тем, что люди в следовании ее учению, требующему от них дел, как в католической, или веры, как в протестантской версии, усматривают путь к спасению, все же не способна гарантировать достижение цели. То обстоятельство, что церковное обещание блаженства не имеет обязательной силы, этот иудейский и негативный момент в христианской доктрине, релятивизирующий магию и, в конечном итоге, саму церковь, втихомолку отбрасывается наивным верующим, для которого христианство, супернатурализм, становится магическим ритуалом, естественной религией. Он верует только благодаря тому, что забывает свою веру. Он внушает себе знание и уверенность, совсем как астрологи и спириты. Это не обязательно хуже спиритуализированной теологии. Итальянская старушка, в простоте веры своей ставящая свечку святому Геннаро за своего на войне находящегося внука, возможно более близка к истине, чем свободные от какого бы то ни было идолопоклонства папы и архипастыри, благословляющие оружие, против которого бессилена святой Геннаро. Но для простоты сама религия становится эрзацем самой себя. Предчувствие того сопутствовало христианству с самых первых дней, но только парадоксальные христиане, антиофициальные, от Паскаля через Лессинга и Кьеркегора вплоть до Барта, превратили его

в стержневой момент своей теологии. В этом осознании они были не только радикалами, но также и терпимыми. Однако другие, те, кто гнали от себя это подозрение и с нечистой совестью убеждали себя, что обладание христианством им гарантировано, с неизбежностью утверждали свое вечное блаженство за счет мирского несчастья тех, кто не совершал этой мрачной жертвы разумом. Таково религиозное происхождение антисемитизма. Приверженцы религии Бога-отца навлекают на себя ненависть приверженцев Сына Божьего за умничанье. Это вражда ставшего косным в обличье блага и святости духа против духа. Злоба для христианских юдофобов является той истиной, которая способна противостоять злу, его не рационализируя, и позволяет упорно держаться за идею незаслуженной благодати вопреки всему ходу вещей и самому порядку спасения, которому они будто бы призваны способствовать. Антисемитизм призван констатировать, что ритуал веры и истории оказывается прав в том, что выполняется над теми, кто отрицают такого рода правоту.

V

“Тебя я выносить не в состоянии - так уж легко не забывай о том”, говорит Зигфрид Миму, домогающемуся его любви. Стародавним ответом всех антисемитов является ссылка на идиосинкразию. От того, поддается ли содержание идиосинкразии понятийному осмыслению с тем, чтобы стала понятной сама его бессмысленность, зависит освобождение общества от антисемитизма. Идиосинкразия, однако, неразрывно связана с особенным. Естественным считается всеобщее, то, что соответствует контексту преследуемых обществом целей. Но природа, не пропущенная через каналы понятийного порядка и потому не облагороженная в нечто целесообразное - пронзительное скрежетание грифеля об аспидную доску, пронизывающее до мозга костей, *haut gout*, напоминающий о нечистотах и гниении, пот, виднеющийся на лбу старательного - все не вполне идет в ногу со временем или нарушает запреты, образующие собой отложения прогресса столетий, производит

пронзительно-отталкивающее впечатление и вызывает неизбежное отращение.

Мотивы, на которые притязает идиосинкразия, напоминают о происхождении вида. Они воскрешают моменты биологической праистории: знаки опасности, при звуке которых волосы вставали дыбом и замирало сердце. При идиосинкразии отдельные органы вновь перестают подчиняться власти субъекта; они совершенно самостоятельно повинуются фундаментальным биологическим стимулам. Я, испытывающее такие реакции, как оцепенение кожи, мускула, сустава, более не владеет ими полностью. На мгновения происходит тут уподобление их окружающей невозмутимой природе. Однако благодаря тому, что взволнованное, более развитая жизнь, сближается с бесстрастным, просто природой, оно отчуждает себя от нее, ибо равнодушная природа, которой, подобно Дафне, живое жаждет стать в моменты крайнего возбуждения, способна единственно лишь к самым внешним пространственным отношениям. Пространство есть абсолютное отчуждение. Там, где человеческое стремится уподобиться природе, оно ожесточается против нее. Защита ужасом является одной из форм мимикрии. Реакции оцепенения в человеке, о которых выше шла речь, являются архаическими схемами самосохранения: жизнь платит дань за свое продолжение тем, что уподобляется мертвому.

Цивилизацией органическое подлаживание под другое, собственно миметическое поведение было заменено первоначально в магической фазе организованным манипулированием мимезисом, а в конечном итоге, в фазе исторической, рациональной практикой, трудом. Неконтролируемый мимезис был объявлен вне закона. Ангел с огненным мечом, изгоняющий человека из рая на путь технического прогресса, сам является аллегорией такого прогресса. Суровость, с которой в течение тысячелетий правители как своей собственной смене, так и подвластным массам отказывали в возврате к миметическим формам существования, начиная с религиозного запрета на изображение через социальные гонения на актеров и цыган и вплоть до педагогики, отучающей детей быть детьми, является необходимым условием цивилизации. Общественным и индивидуальным воспитанием в людях утверждает-

ся объективированный образ действий трудящихся и им же они предохраняются от возможности повторного растворения в череде взлетов и падений окружающей природы. Всякое отклонение и даже всякое самоотречение имеет оттенок мимикрии. В ожесточенном противостоянии этому ковалось человеческое Я. Посредством его конституирования осуществляется переход от рефлекторного мимезиса к контролируемой рефлексии. Место телесного уподобления природе занимает “распознавание в понятии”, подведение различного под тождественное. Но та ситуация, при которой устанавливается тождество, как непосредственное мимезиса, так и опосредованное синтеза, при которой происходит как уподобление вещи в ходе слепого процесса жизни так и сравнение овеществленного в ходе научного образования понятия, остается все той же ситуацией ужаса. Общество продолжает собой угрожающую природу в качестве непрерывного, организованного принуждения, которое, репродуцируясь в индивидах в качестве неуклонного следования принципу самосохранения, наносит ответный удар природе в качестве социального господства над ней. Наука есть повторение, усовершенствованное до наблюдаемой регулярности и сохраняемое стереотипами. Математическая формула является сознательно манипулируемой регрессией, чем уже был магический ритуал; она есть самое сублимированное проявление мимикрии. Подлаживание под мертвое в угоду самосохранению осуществляется техникой уже более не как в магии, путем телесного подражания внешней природе, но посредством автоматизации духовных процессов, путем преобразования их в слепые циклы. С ее триумфом все человеческие проявления становятся равным образом как контролируемые, так и принудительными. От уподобления природе остается одно только ожесточение против нее. Сегодня защитной и призванной вселять ужас окраской является слепое властвование над природой, идентичное с преследующей свою выгоду дальновидностью.

В буржуазном способе производства неизгладимое миметическое наследие всякой практики передается забвению. Беспощадный запрет на рецидив сам приобретает облик неотвратимой участи, отказ является настолько тотальным, что уже более не осуществляется сознатель-

ным образом. Для ослепленных цивилизацией опыт их собственных табуированных миметических черт становится доступным лишь в тех различных жестах и особенностях поведения, которые встречаются им у других и бросаются в глаза в качестве изолированных остатков, постыдных пережитков в окружающем рационализированном мире. То, что отталкивает в качестве чуждого, на деле слишком хорошо знакомо.¹ Это заразительная жестика подавленной цивилизацией непосредственности: прикосновение, ласкание, успокаивание, уговаривание. Отталкивающим сегодня является несвоевременность этих побуждений. Они кажутся вновь переводящими уже давно овеществленные человеческие взаимосвязи обратно в личностные властные отношения тем, что пытаются смягчить покупателя лестью, должника - угрозами, кредитора - мольбой. Неприятное впечатление производит в конечном итоге любой порыв вообще, меньше - возбуждение. Всякая не манипулируемая экспрессия представляется гримасой, которой манипулируемая - в кино, на суде линча, в речи фюрера - была всегда. Недисциплинированная мимика, однако, является тавром прежнего господства, запечатленным на живой субстанции поработанного и в силу присущего раннему детству каждого процесса бессознательного подражания, наследуемым из поколения в поколение всеми, от еврея-старьевщика до банкира. Такая мимика вызывает ярость, потому что перед лицом новых производственных отношений она выставляет напоказ прежний страх, который для того, чтобы в их условиях выжить, надлежало забыть. К моменту принуждения, к ярости мучителя и мучимого, которые вновь являются нераздельно слитыми в гримасе, апеллирует собственная ярость в цивилизованном человеке. Ответом беспомощной видимости становится смертоносная действительность, игре - самая что ни на есть серьезность.

Гримаса производит впечатление наигранной, потому что вместо серьезного отношения к труду она скорее изображает неохоту к нему. Она кажется избегающей серьезности существования тем, что необузданно сознается в ней: поэтому-то она и фальшива. Но выразитель-

¹Ср. Freud. Das Unheimliche. Gesammelte Werke, Band XII, S.254, 259 и др.

ность есть исполненный боли отзвук превосходящей силы, насилия, становящийся внятными в стенании. Она всегда является утрированной, сколь бы искренней ни была, ибо, как и всякое произведение искусства, любой жалобный звук содержит в себе весь мир. Уместным тут является только действие. Только оно, а не мимезис, способно положить конец страданию. Но его следствием оказывается бесстрастный и равнодушный лик, к концу эпохи - младенческое лицо людей дела, политиков, священников, генеральных директоров и рэкетиров. Завывающий голос фашистских глашатаев травли и лагерных надзирателей демонстрирует обратную сторону того же самого общественного положения вещей. Рев так же холоден, как и бизнес. Они экспроприируют у природы ее звуки боли и превращают их в элемент своей техники. Их рычание во время погрома является тем же, чем для немецких авиабомб являлось специальное шумовое устройство: включается ужасный крик, наводящий ужас. От горестного причитания жертвы, в котором насилие сначала называлось по имени, и даже просто от слова, обозначающего жертвы - француз, негр, еврей - они умышленно позволяют себе впасть в отчаяние преследуемых, которым надлежит нанести ответный удар. Они представляют собой лживую имитацию пугливого мимезиса. Они воспроизводят в себе ненасытную жажду той самой власти, которой они так страшатся. Все должно быть пущено в дело, все должно принадлежать им. Само существование других является вызовом. Всякий другой "задается" и должен быть поставлен на место, место безмерного ужаса. То, что ищет лазейку, не должно ее найти; тем, кто взывают к тому, к чему страстно стремятся все, к миру, родине, свободе - этим номадам и фиглярам с самых давних пор было отказано в правах гражданства. Кто чего боится, то и учиняется над ним. Даже последний покой не должен быть таковым. Разорение кладбищ никоим образом не является эксцессом антисемитизма, оно есть сам он. Гонимые с необходимостью пробуждают страсть к гонению. От знаков, на них насилием оставленных, разгорается новое насилие. Все то, что хотело бы влачить всего только жалкое существование, должно заплатить за это. В хаотически-упорядоченных реакциях бегства низших животных, в образуемых кишашей толпой фигурах, в конвульсивных жестах

истязаемых проявляет себя то, что, несмотря ни на что, так до конца и не удастся обуздать в скудной жизни: миметический импульс. В агонии тварного существа, на этом предельно противоположном полюсе свободы, неотвратимо проблескивает свобода как идущее всему наперекор определение материи. Именно этому противится идиосинкразия, выдаваемая антисемитизмом за мотив.

Душевная энергия, которую впрягает в работу политический антисемитизм, является не чем иным, как такого рода рационализированной идиосинкразией. Все предлоги, относительно которых так единодушны фюрер и его приспешники, указывают на то, что и без явного попраения принципа реальности, так сказать с честью, можно идти на уступки миметическому соблазну. Они терпеть не могут еврея и беспрестанно имитируют его. Нет такого антисемита, у которого в крови не было бы потребности подражать всему тому, что для него означает еврей. Этим всегда оказываются сами миметические шифры: убедительные движения руки, распевная интонация, набрасывающая независимо от смысла суждений живую и трогательную картину предмета и чувства, нос, этот физиогномический *principium individuationis*, так сказать письменный знак, посредством которого индивидууму прямо на лицо записывается особое свойство. В многообразных вариациях пристрастия к запахам продолжает жить тоска по низменному, по непосредственному единению с окружающей природой, землей и грязью. Среди всех чувств именно акт обоняния, которое пленяет не опредмечивая, самым чувственным образом свидетельствует о стремлении утратить себя в другом и стать ему тождественным. Поэтому обоняние запаха, как восприятие, так и воспринимаемое - и то и другое становятся одним этом акте - более, чем прочие чувства, является экспрессией. В видении остаются тем, кем являются, в обонянии перестают быть собой, в нем растворяются. Потому-то запах и считается цивилизацией постыдным, признаком низших социальных слоев, неполноценных рас и грязных животных. Для цивилизованного человека приверженность подобного рода страсти позволительна только тогда, когда запрет на нее временно приостанавливается благодаря рациональной аргументации в пользу действительных или мнимых практических целей. Зап-

ретному влечению можно предаваться тогда, когда нет сомнения в том, что это служит его искоренению. Это - явление порядка шутки или забавы. Оно представляет собой жалкую пародию на исполнение желания. Как презираемой, себя самое презирающей миметической функцией наслаждаются тогда люди, лукава. Тот, кто развивает в себе чутье к запахам для того, чтобы их искоренять, к запахам "дурным", от всей души подражает вынюхиванию, испытывает от запаха нерационализированное удовольствие. В силу того, что цивилизованный человек дезинфицирует запретное побуждение посредством своей безусловной идентификации с запрещающей инстанцией, это побуждение подвергается фильтрации. Если оно переходит допустимый порог, раздражается хохот. Такова схема антисемитского типа реакций. Для того, чтобы отпраздновать момент авторизованного разрешения запрещенного, антисемиты собираются вместе, лишь он превращает их в коллектив, конституирует общность сотоварищей по породе. Издаваемый ими гул является не чем иным, как организованным хохотом. Чем страшнее тут обвинения и угрозы, чем сильнее ярость, тем неизбежнее в то же самое время и насмешка. Ярость, насмешка и отравленное злобой подражание есть, собственно говоря, одно и то же. Смыслом фашистских формул, ритуальной дисциплины, униформ и всего мнимо иррационального аппарата в целом является содействие миметическому способу поведения. Надуманные символы, свойственные всякому контрреволюционному движению, черепа и переодевания, варварский бой барабана, монотонное повторение слов и жестов равным образом являются организованным подражанием магическим практикам, мимезисом мимезиса. Возглавляет хоровод фюрер с балаганным лицом и с харизмой включаемой по желанию истерии. Его спектакль репрезентирует и собой и в образах то, что в реальности запрещено всем другим. Гитлер может себе позволить жестикулировать, как клоун, Муссолини - смело брать фальшивую ноту подобно провинциальному тенору, Геббельс - говорить так же бегло, как и сионистский агент, которых он советует убивать, Кафлин - проповедовать любовь в духе Спасителя, распятие которого он олицетворяет собой для того, чтобы неизменно вновь и вновь проливалась кровь. Фашизм тоталитарен еще и в том, что стремится

сделать непосредственно полезным для господства бунт угнетенной природы против господства.

Этому механизму требуются евреи. Их искусственно усиленная заметность действует на законного сына родоплеменной цивилизации подобно, так сказать, магнитному полю. Благодаря тому, что укорененный в своем отличии от еврея обнаруживает и тождественность с ним, общечеловеческое, в нем индуцируется чувство противоположности, чуждости ему. Так табуированные, господствующим формам труда противоречащие побуждения преобразуются в конформистские идиосинкразии. Экономическое положение евреев, этих последних обманувшихся обманщиков либералистской идеологии, не предоставляет им никакой надежной защиты от этого. Поскольку они хорошо приспособлены к генерированию такого рода психических индукционных токов, они и используются в этой функции. Они разделяют участь бунтующей природы, взамен которой использует их фашизм: ими пользуются слепо и прозорливо. При этом не так уж и важно, обладают ли действительно евреи как индивиды теми миметическими чертами, которыми вызывается инфекция злобы, или же они им по мере надобности только приписываются. Доведись властителям экономики однажды преодолеть свой страх перед привлечением адвокатов фашизма, в противовес евреям автоматически установилась бы полная гармония национального единства. Господство отрекается от них, когда в силу прогрессирующего отчуждения от природы оно откатывается на чисто природный уровень. Евреям в целом предъявляется упрек в запретной магии, в кровавых ритуалах. Лишь переодетое в обвинение, подпороговое стремление аборигена вновь вернуться к миметической практике жертвоприношения празднует свое пасхальное воскресение из мертвых в собственном сознании. Когда весь цивилизаторно ликвидированный ужас первобытных времен реабилитируется путем проекции на евреев, то никакого удержу уже более не существует. Он может быть осуществлен реально, и осуществленное зло даже превосходит собой зло содержания проекции. Шовинистские фантазии по поводу преступлений евреев, детоубийства и садистских эксцессов, отравления наций и международного заговора являются точной дефиницией антисемитской мечты

и не идут ни в какое сравнение с ее реализацией в действительности. Когда дело зашло так далеко, даже само слово “еврей” начинает казаться кровавой гримасой, изображение которой развевается на знаменах со свастикой - черепом мертвеца и крестом для колесования в одном; то, что некто называется евреем, действует как приглашение изувечить его так, чтобы он стал схож этим образом.

Цивилизация является победой общества над природой, все в просто природу превращающей. Евреи сами в течение тысячелетий принимали в этом участие, своим просветительством ничуть не менее, чем цинизмом. Как представители древнейшего из доживших до наших дней патриархата, воплощения монотеизма, они преобразовывали табу в цивилизаторные максимы еще тогда, когда другие по-прежнему придерживались магии. Евреи, судя по всему, преуспели в том, над чем безуспешно трудилось христианство: в лишении магии власти ее собственными силами, в виде богослужения против самих же себя оборачивающимися. Ими уподобление природе было не столько искоренено, сколько снято в чистых требованиях ритуала. Тем самым им удалось сохранить примиряющее воспоминание о нем, не впадая при этом посредством символов обратно в мифологию. Поэтому-то прогрессирующей цивилизацией они и считались одновременно и отсталыми и слишком уж ее обогнавшими, похожими и непохожими, умными и глупыми. Их обвиняли в том, с чем они, как первые бюргеры, порывали в себе прежде всех: в соблазненности низменным, в тяге к животным и земле, в иконопоклонничестве. Так как они изобрели понятие кошерного, их преследовали как свиней. Антисемиты превращают себя в исполнителей заповедей Ветхого Завета: они заботятся о том, чтобы евреи обратились в прах за то, что вкусили от дерева познания.

VI

Антисемитизм основывается на ложной проекции. Она является противоположностью мимезиса подлинного, в высшей степени родственной вытесненному, и даже, пожалуй, той самой патологической

характерной чертой, в которой последний проявляет себя. Если в мимезисе происходит уподобление окружающему миру, то ложная проекция уподобляет окружающий мир себе. Если для первого внешнее становится моделью, под которую подлаживается внутреннее, а чуждое - интимно близким, то ложная проекция перемещает держащееся наготове внутреннее наружу и клеймит даже интимно знакомое как врага. Побуждения, которые не признаются субъектом в качестве его собственных и, тем не менее, являются ему присущими, приписываются объекту: перспективной жертве. Обычный параноик не свободен в ее выборе, в нем он повинуется законам своей болезни. В фашизме этот образ действий политизируется, объект болезненной мании определяется соответственно требованиям реальности, система безумия трансформируется в самую что ни на есть разумную на свете норму, отклонение от нее - в невроз. Механизм, услугами которого пользуется тоталитарный порядок, так же стар, как и сама цивилизация. Все те же половые влечения, очеловеченным полом подавленные, как в случае отдельных людей, так и целых народов, во все времена умели путем воображаемого преобразования окружающего мира в дьявольскую систему сохранить себя и добиться своего. Ослепленный жаждой убийства всегда видел в жертве преследователя, к отчаянной самозащите от которого приходилось ему принуждать себя, а могущественнейшие государства даже самого слабого соседа воспринимали в качестве непереносимой угрозы, прежде чем обрушиться на него. Рационализация была уловкой, впрочем неизбежной. Избранный в качестве врага уже воспринимался как враг. Аберрация вызывается тут неспособностью субъекта провести различие между своей собственной и чуждой долей соучастия в проецируемом материале.

В известном смысле всякое восприятие есть проецирование. Проекция чувственных впечатлений является наследием нашего животного прошлого, механизмом в целях защиты и прокорма, удлинненным органом готовности к бою, с которой высшие виды животных, с охотой или неохотой, реагировали на всякое движение независимо от намерений объекта. Проекция в человеке является автоматической подобно прочим реакциям защиты и нападения, ставшим рефлексам. Так кон-

стигуируется его предметный мир, будучи продуктом того “потанного в глупинах челоуеческой души искусства, истинные приемы которого нам едва ли когда-нибудь удастся выведать у природы и открыто предложить людскому взору”². Система вещей, устойчивый универсум, чисто абстрактным выражением которого является наука, представляет собой, если рассматривать кантовскую критику познания в антропологическом ключе, бессознательно возникающий продукт деятельности используемого животным в борьбе за жизнь орудия, вышеупомянутой автоматической проекции. Однако в челоуеческом обществе, где с образованием индивидуума происходит дифференциация жизни аффективной и интеллектуальной, отдельный его представитель нуждается во все возрастающем контроле над проекцией, он вынужден учиться одновременно и совершенствоваться и сдерживать ее. Именно благодаря тому, что под постоянным экономическим нажимом он обучается проводить различие между чужими и своими собственными мыслями и чувствами, возникает различие внешнего и внутреннего, возможность дистанцирования и идентификации, самосознание и совесть. Для понимания взятой под контроль проекции и процесса вырождения ее в ложную, имеющую отношение к самому существу антисемитизма, требуется более подробное рассмотрение.

Физиологическое учение о восприятии, презираемое философами со времен кантианства в качестве наивно реалистического и содержащего порочный круг, объявляет воспринимаемый мир управляемым интеллектом отражением данных, получаемых мозгом от реально существующих предметов. Согласно этому воззрению, упорядочивание воспринятых пунктирных признаков, впечатлений производится рассудком. Сколько бы ни настаивали гештальтисты на том, что физиологической субстанцией воспринимаются не просто отдельные моменты, но уже и структура, Шопенгауэр и Гельмгольц, несмотря на порочный круг или как раз из-за него, все же лучше понимали ограниченность субъект-объектного отношения, чем официальные доктрины школ, будь то неофизиологов или неокантианцев: воспринимаемый образ действи-

²Kant. Kritik der reinen Vernunft. 2. Auflage, Werke, Band III, S.180 f.

тельно содержит в себе понятия и суждения. Между действительным предметом и бесспорными данными чувств, между внутренним и внешним зияет пропасть, которую субъект вынужден преодолевать на свой собственный страх и риск. Чтобы отобразить вещь такой, какой она есть, субъекту приходится вернуть ей больше того, что он от нее получает. Субъект повторно создает мир вне себя из тех следов, которые мир оставляет в его чувствах: единство вещи в ее многообразных свойствах и состояниях; и вместе с тем, в качестве ответного действия он конституирует Я тем, что научается придавать форму синтетического единства уже не просто внешним, но и от них постепенно обособляющимся внутренним впечатлениям. Идентичное Я является самым поздним константным продуктом проекции. В ходе исторического процесса, осуществление которого стало возможным лишь на основе уже развившихся сил человеческой физиологической конституции, оно развивается в функцию, одновременно и учреждающую единство, и эксцентрическую. Даже в качестве самостоятельно объективированного оно является, однако, только тем, чем оказывается для него объектный мир. Ни в чем ином, как только в хрупкости и богатстве внешнего воспринимаемого мира, состоит внутренняя глубина субъекта. Когда это скрещивание прерывается, Я застывает. Если оно, на позитивистский манер, всецело предается регистрации данного, само ничего не давая взамен, оно сокращается до размеров точки, а если, на идеалистический манер, оно порождает мир на беспочвенной основе самого себя, оно исчерпывает себя в монотонном повторении. В обоих случаях оно отрекается от духа. Только в опосредовании, при котором пустячные чувственные данные порождают всю ту продуктивность мысли, на какую она только способна, и, с другой стороны, мысль безоговорочно отдает себя во власть захватывающему впечатлению, преодолевается то патологическое одиночество, которым охвачена вся природа в целом. Не в незараженной мыслью очевидности, не в допонятийном единстве восприятия и предмета, но в их рефлексивной противоположности заявляет о себе возможность примирения. Различение происходит в субъекте, обладающем внешним миром в своем собственном сознании и, тем не менее, познающем его в качестве чего-то иного. Потому-то и

осуществляется вышеупомянутое рефлексирование, жизнь разума, в форме осознанной проекции.

Патологическим в антисемитизме является не проективный образ действий как таковой, но выпадение из него рефлексии. В силу того, что субъект оказывается уже более не способным возратить объекту то, что он получил от него, сам он становится несколько не богаче, но беднее. Он утрачивает рефлексию в обоих направлениях: так как он уже более не рефлексивирует предмет, не рефлексивирует он уже более и самого себя и таким образом утрачивает способность к дифференциации. Вместо голоса совести он внимает иным голосам; вместо того, чтобы уйти в себя с тем, чтобы составить протокол своей собственной ненасытной жажды власти, он приписывает протоколы сионских мудрецов другим. Он переполняется до краев и хиреет одновременно. Безоглядно жалуется он внешнему миру то, что есть в нем, но то, чем он жалуется его, оказывается совершенно ничтожным, непомерно раздутым связями, махинациями, невежественной практикой без перспективы на мысль. Само господство, которое, даже будучи абсолютным, по самому смыслу своему всегда есть только средство, в безудержной проекции становится одновременно и собственной и чужой целью, целью вообще. При заболевании индивидуума изошрившийся интеллектуальный аппарат человека вновь начинает действовать против человека как слепое орудие вражды животных праисторических времен, в качестве какового на уровне рода никогда не переставал он функционировать по отношению ко все прочей природе. Точно так же, как со времен своего возникновения биологический вид человек всегда демонстрировал себя всем остальным в качестве эволюционно самого развитого и потому как самую страшную разрушительную силу, как в пределах уже собственно человеческой истории относились более продвинувшиеся по пути прогресса расы к более примитивным, технически лучше оснащенные народы к более медлительным, одержимый болезнью единственный противостоит другому единичному в своей мании как величия, так и преследования. В обоих случаях в центре находится субъект, мир является всего лишь поводом для его безумия; он становится или беспомощной, или всемогущей совокупностью всего того, что на него про-

ещируется. Сопротивление, на которое на каждом шагу без разбора жалуется параноик, является следствием отсутствия какого бы то ни было сопротивления, той пустоты, которую создает вокруг себя ослепляющий. Остановиться он не может. Идея, не находящая себе твердой опоры в реальности, становится навязчивой, идефиксом.

Благодаря тому, что параноик перцептивно воспринимает внешний мир лишь в той мере, в какой тот соответствует его слепым целям, он способен только к тому, чтобы во всех случаях воспроизводить одну лишь свою выродившуюся в абстрактную манию самость. Обнаженной схемой власти, равным образом подавляющей все, включая собственное распадающееся Я, охватывается все, что попадает параноику, и вплетается, совершенно безотносительно к его своеобразию, в ее мифическую паутину. Замкнутый круг вечнотожественного становится суррогатом всевластия. Все выглядит так, как если бы змию, предрекавшему первым людям: и будете вы Богу подобны, - удалось сдержать свое обещание в случае параноика. Он творит все по своему образу и подобию. Он, судя по всему, не нуждается ни в одном живом существе и в то же время требует, чтобы все они служили ему. Его воля пронизывает собой всю вселенную, ничто не смеет обойтись без соотнесения с ним. В его системах нет пробелов. Как астролог наделяет он звезды силой, навлекающей гибель на беспечных, будь то в доклинической стадии чужого, будь то в клинической собственного Я. Как философ превращает он мировую историю в исполнительницу неизбежных катастроф и крушений. Как совершенно сумасшедший или абсолютно рациональный уничтожает он меченых либо путем индивидуального теракта, либо - хорошо продуманной стратегии искоренения. Так добивается он успеха. Подобно обожающим непреклонного параноидального мужчину женщины народы опускаются перед тоталитарным фашизмом на колени. В этих самоотрекающихся параноидальное взывает к параноику как к чудовищу, страх перед совестью - к совести лишенному, которому они за то только благодарны. Они следуют за тем, кто взирает на них, их не видя, кто не считает их субъектами, но предоставляет возможность быть использованными во многих целях. Во всем мире эти фемины превратили захват и больших и малых влас-

тных позиций в свою религию, а себя самих - в злобных тварей, на которых общество ставит соответствующее клеймо. Так что тот взгляд, который напоминает им о свободе, должен поражать их как взгляд слишком уж наивного соблазнителя. Их мир вывернут наизнанку. Вместе с тем, они, подобно древним богам, опасавшимся взгляда в них веровавших, знают, что за завесой обитает смерть. Не параноидальный, доверительный взгляд заставляет их вспомнить о том духе, который умер в них потому, что во всем вонне себя они усматривают средство своего самосохранения. Такого рода соприкосновение пробуждает в них стыд и ярость. Безумному все же не удастся добраться до них даже тогда, когда он, подобно фюреру, смотрит им прямо в лицо. Он просто воспламеняет их. Вошедший в поговорку взгляд прямо в глаза не позволяет, подобно взгляду свободному, сохранить индивидуальность. Он фиксирует. Он понуждает других к односторонней преданности тем, что замыкает их в пределах не имеющей окон монады их собственной личности. Он не пробуждает совесть, но сразу же привлекает к ответственности. Пронизывающий и умышленно не замечающий взгляд, гипнотический и презрительный - это вещи одного порядка, и в том и в другом гасится субъект. Так как в таких взглядах отсутствует рефлексия, это электризует тех, кто рефлексии лишен. Их предают: женщин вышвыривают вон, нации выжигают. Так тот, кто замкнут в своем безумии, оказывается карикатурой на божественное могущество. Точно так же, как при всех ужимках у него совершенно отсутствует способность к творчеству в реальности, ему, как и дьяволу, отказано в атрибутах того принципа, который он узурпирует: в памятной любви и в себе самой покоящейся свободе. Он зол, движим понуждением и так же слаб, как и его сила. Если, как говорят, божественное всемогущество возвышает до себя творение, то сатанинское, воображаемое низвергает все в бездну своего бессилия. Такова тайна их господства. Проецирующая по принуждению самость не способна проецировать ничего, кроме своего собственного несчастья, от в ней же самой обитающей причины которого отсекается она своим полным отсутствием рефлексии. Поэтому продукты ложной проекции, стереотипные схемы мысли и реальности, оказываются продуктами и схемами зла. Для Я, погружающегося в ли-

шенную смысла бездну самого себя, предметы становятся аллегориями гибели, таящими в себе смысл своего собственного крушения.

Психоаналитическая теория патологической проекции считает ее субстанцией перенос социально табуированных побуждений субъекта на объект. Под давлением Сверх-Я проецирует Я от Оно исходящие, благодаря их мощи для него самого опасные агрессивные желания в качестве злонамеренных интенций на внешний мир и тем самым добивается того, что избавляется от них, становящихся реакцией на подобного рода внешнее, будь то в фантазии посредством идентификации с мнимым злодеем, будь то в действительности посредством мнимой самозащиты. Преобразуемое в агрессию запрещенное в большинстве случаев гомосексуально по природе. Из страха перед кастрацией послушание отцу доводится до ее предвосхищения в уподоблении сознательной эмоциональной жизни маленькой девочке, а ненависть к отцу в качестве навечно затаенной злобы вытесняется. В паранойе эта ненависть пробуждает желание кастрации в качестве всеобщей жажды разрушения. Больной регрессирует на стадию архаической недифференцированности любви и овладения. Для него речь идет о физической близости, захвате, наконец, связи любой ценой. Так как он не смеет признаться себе в своем вожделении, он набрасывается на других в роли завистника и преследователя подобно тому, как это делает по отношению к животному содомит, вытесняющий свой импульс в роли охотника или погонщика. Влечение возникает из слишком основательной связи или устанавливается с первого взгляда, оно может исходить от людей значительных, как в случае кляузников и убийц президентов, или от самых бедных, как в случае еврейского погрома. Объекты фиксации заменяема подобно фигурам отца в детстве; где оно к месту, там ему и место; безумие соотносительности хватается безотносительно к чему бы то ни было за все, что угодно, вокруг себя. Патологическая проекция является отчаянной мерой Я, чья защищенность от возбуждения, согласно Фрейд, оказывается бесконечно более слабой по отношению к внутреннему, чем по отношению к внешнему: под давлением скопившихся агрессивных гомосексуальных импульсов психический механизм забывает о своем филогенетически самом позднем достижении, о са-

мовосприятии, и переживает эту агрессию как врага в мире с тем, чтобы ни в чем более последнему уже не уступить.

Это давление, однако, ложится тяжким бременем и на здоровый познавательный процесс в качестве момента им нерефлектируемой и к насилию побуждающей наивности. Повсюду там, где интеллектуальная энергия намеренно оказывается сконцентрированной на внешнем, таким образом везде, где дело идет о следовании, констатации, схватывании, о тех функциях, которые из примитивных способов преодоления животного духовно преобразились в научные методы овладения природой, при схематизации легко упускается из виду субъективный процесс, а система утверждает себя в качестве вещи самой по себе. Определенное мышление, точно так же как и больное, содержит в себе произвол самой вещи, совершенно чуждой субъективной цели, оно предает забвению саму вещь и именно тем самым уже учиняет над ней то насилие, которое совершается над ней в практике. Безоговорочный реализм цивилизованного человечества, достигающий своей кульминации в фашизме, представляет собой специальный случай параноидального бреда, обесчеловечивающего природу и, в конечном итоге, сами народы. В той бездне неуверенности, которую вынужден преодолевать всякий объективирующий акт, гнездится паранойя. Так как не существует абсолютно убедительного аргумента против материально ложных суждений, искаженное восприятие, по которому они блуждают призраками, не поддается излечению. Всякое восприятие содержит в себе бессознательно понятийные - как и всякое суждение, непрояственно феноменологические - элементы. Так как сопричастной истине оказывается и продуктивная сила воображения, то ущербному в ней постоянно может казаться, что истина фантастична, а его иллюзия и есть истина. Ущербный живет за счет имманентно присущего самой истине элемента воображения благодаря тому, что неустанно выставляет его напоказ. Демократично настаивать на равноправии для своего бреда ему удастся лишь потому, что истина и в самом деле не обладает обязательным характером. Когда бюргер соглашается с тем, что антисемит не прав, ему, по меньшей мере, хочется, чтобы и жертва была виновна. Так Гитлер требует жизненных прав для массового убийства

во имя национально-правового принципа суверенитета, позволяющего любое насильственное действие в чужой стране. Как всякий параноик, он извлекает выгоду из лицемерной идентификации истины с софистикой; их различие для него настолько же мало обязательно, насколько строгим, тем не менее, оно остается. Восприятие возможно лишь в той мере, в какой вещь воспринимается как уже определенная, например как случай того или иного вида. Оно является опосредованной непосредственностью, мыслью в обольстительной мощи чувственности. Субъективное слепо привносится им в кажущуюся самоданность объекта. Одна только самое себя осознающая работа мысли способна не поддаться влиянию действующих тут галлюцинаторных факторов, согласно лейбницеvскому и гегелеvского идеализму - философия. Тем, что в ходе познания мысль идентифицирует непосредственно содержащиеся в восприятии и потому принудительные моменты в качестве понятийных, она последовательно возвращает их обратно в субъект и срывает с них покров насильственности наглядного. В подобного рода процессе каждая более ранняя стадия, даже стадия науки, оказывается по сравнению с философией все еще как бы восприятием, отчужденным феноменом, пронизанным непознанными интеллектуальными элементами; останавливаться на этом, без последующей негации, есть признак патологии познания. Наивно абсолютизирующий, сколь бы универсально действующим он к тому же ни был, остается жертвой все того же недуга, он подвержен ослепляющей власти ложной непосредственности.

Такое ослепление, однако, является конститутивным элементом всякого суждения, необходимой видимостью. Любое суждение, даже негативное, является уверяющим в чем-либо. Сколь бы ни подчеркивалась суждением в целях самокоррекции собственная изолированность и относительность, свое собственное, хотя бы даже и осмотрительно сформулированное содержание оно вынуждено утверждать не в качестве просто изолированного и относительного. В этом-то и состоит сущность суждения, в клаузуле свои позиции упрочивает притязание. В отличие от вероятности истина не имеет степени. Отрицающий шаг за пределы отдельного суждения, его истину спасающий, возможен лишь

постольку, поскольку оно само считало себя истинным и так сказать было параноидальным. Настоящее безумие заключается именно в непоколебимой устойчивости, неспособности мысли к такого рода негативности, в которой, в противовес утвердившемуся суждению, собственно и настаивает мышление на своей правоте. Параноидальная сверхпоследовательность, дурная бесконечность вечно самому себе тождественного суждения, есть не что иное, как отсутствие последовательности в мышлении; вместо того, чтобы усилием мысли способствовать краху претензии на абсолютность и тем самым продолжить дальнейшее определение своего суждения, параноик намертво вцепляется в эту претензию, приводящую мышление к краху. Вместо того, чтобы продвигаться дальше, вникая в существо вещи, мышление целиком посвящает себя безнадежному делу обслуживания партикулярного суждения. Неоспоримость партикулярного суждения совпадает тогда с его несокрушимой позитивностью, а болезненная слабость параноика - с болезненной слабостью самой мысли. Ибо то размышление, которым у здорового сокрушается власть непосредственности, никогда не бывает столь принудительным, как та видимость, которую оно разоблачает. Будучи негативным, рефлексивным, не прямолинейно направленным движением, оно лишено той брутальности, которая присуща позитивности. Если психическая энергия паранойи берет свое начало в той либидонозной динамике, которую обнажает психоанализ, то ее объективная несокрушимость имеет своим основанием ту многозначность, которая вообще является неотторжимой от опредмечивающего акта; его галлюцинаторная сила была бы тут даже изначально решающей. На языке теории селекции для ясности можно было бы сказать, что в течение периода становления человеческого сенсорного аппарата выжить удалось тем индивидам, у которых мощь проективных механизмов больше всего затрагивала область рудиментарных логических способностей или же меньше всего ослаблялась слишком ранними попытками рефлексии. Подобно тому, как еще и сегодня для плодотворных в практическом отношении научных начинаний требуется вполне здравая способность к дефиниции, способность приостанавливать движение мысли на социальной потребностью обозначенном месте, ограничивать

поле, которое затем исследуется вдоль и поперек вплоть до мельчайших подробностей без какой бы то ни было попытки выйти за его пределы, его трансцендировать, не способен и параноик перешагнуть за пределы его физиологической участью обозначенного комплекса интересов. Его пронизательность впустую расточает себя, двигаясь по очерченному навязчивой идеей замкнутому кругу, подобно тому, как ликвидирует самое себя изобретательность человечества, подпавшего под чары технической цивилизации. Паранойя является тенью, неизменно сопутствующей познанию.

Роковая готовность к ложной проекции до такой степени является свойственной духу, что она, эта изолированная схема самосохранения, угрожает подчинить себе все, что выходит за пределы последнего: всю культуру. Ложная проекция является узурпатором царства свободы, равно как и образования; паранойя есть симптом полуобразованного. У него все слова становятся частью безумной системы, попытки завладеть посредством духа всем тем, что остается недоступным его собственному опыту, насильственно навязать миру смысл, делающий сам этот мир бессмысленным, но в то же время и диффамировать тот дух и опыт, доступ к которым ему закрыт, и взвалить на них ту вину, которую несет на себе общество, ему к ним доступ преграждающее. Полуобразованность, гипостазирующая в противоположность просто необразованности ограниченное знание в качестве истины, не терпит усиленного до степени совершенно невыносимого разрыва между внутренним и внешним, между индивидуальной судьбой и социальным законом, между явлением и сущностью. Этот недуг, правда, содержит в себе элемент истины по сравнению с просто принятием данного, которому присягнула на верность высокомерная разумность. И тем не менее, полуобразованность в страхе совершенно стереотипно хватается за свойственную ей формулу, то для того, чтобы обосновать уже случившееся несчастье, то для того, чтобы предсказать грядущую, временами переодетую в регенерацию, катастрофу. Объяснение, в котором собственное желание выступает в виде объективной силы, всегда является столь же показным и лишенным смысла, как и само изолированное событие, нелепым и зловещим в одно и то же время. Обскурантистские системы

сегодня выполняют ту же функцию, какую для человека средних веков имел миф дьявола официальной религии: произвольной оккупации внешнего мира смыслом, осуществляемой промышленным в одиночку параноиком в соответствии с его приватной, никем более не разделяемой и потому именно и являющейся собственно сумасшедшей схемой. От этого избавляют фатальные эзотерические практики и панaceи, разыгрывающие научность и отсекающие мысль: теософия, нумерология, лечение природными факторами, эвритмия, трезвенничество, йога и бесчисленные прочие секты, меж собой конкурирующие и взаимозаменяемые, все со своими академиями, иерархиями и специальными языками, с фетишизированными формулами науки и религии. Некогда перед лицом образования они были апокрифичны и нереспектабельны. Но сегодня, когда по экономическим причинам образование вообще отмирает, для паранойи масс в небывалом масштабе задаются новые условия. Сеть систем верований прошлых времен, воспринимавшихся народами в качестве замкнутых параноидных форм, имела более широкие ячейки. Именно вследствие их рациональной структурированности и определенности они предоставляли, по крайней мере для верхов, место образованию и духу, понятие которых было их собственной средой. Известным образом они даже противодействовали паранойе. Фрейд называет неврозы, здесь даже по праву, “асоциальными образованиями”; “они стремятся приватными средствами достичь того, что в обществе возникло благодаря коллективной работе”.³ Системы верований содержат в себе нечто от той коллективности, которая предохраняет индивидов от заболевания. Последнее социализируется: в упоении объединяющего экстаза общины, ослепление становится связью, а параноидальный механизм - подконтрольным, чем никоим образом не устранился ужас. Пожалуй, это было одним из самых величайших вкладов религии в дело самосохранения вида. Параноидные формы сознания тяготеют к образованию союзов, фронд и рэкета. Их члены страшатся в одиночку верить в свое безумие. Проецируя его, они видят везде заговоры и происки прозелитов. Образовавшаяся группа

³Freud. Totem und Tabu. Gesammelte Werke, Band IX, S.91.

всегда относится к другим параноидально; огромные государства и даже организованное человечество в целом ни в чем не уступают тут охотникам за черепами. Те, кто были отлучены от человечества против собственной воли, равно как и те, кто, будучи радателями человечества, сами отлучили себя от него, всегда знали: гонениями на них лишь усиливается их болезненная сплоченность. Однако нормальный член общества избавляется от своей паранойи соучастием в коллективной и пылко примыкает к объективированным, коллективным, утвердившимся формам безумия. *Notog vasu!*, печатью которого скрепляют они свои союзы, намертво сплачивает их и придает им почти несокрушимую силу.

Одновременно с буржуазной собственностью получило распространение и образование. Им паранойя была оттеснена в темные закоулки общества и души. Но так как просвещению духа одновременно не сопутствовала реальная эмансипация человека, болезнь поразила и само образование. Чем в меньшей степени удавалось социальной действительности сократить разрыв между ней и образованным сознанием, тем в большей степени становилось оно подверженным процессу овеществления. Культура полностью становится товаром, распространяемым в виде информации, не проникая в тех, кто усваивает ее. Мышление становится астматичным и ограничивается постижением изолированных фактов. Мыслительные контексты отвергаются в качестве неудобной и ненужной нагрузки. Момент развития в мысли, все генетическое и интенсивное в ней, предается забвению и нивелируется до уровня непосредственно присутствующего, экстенсивного. Сегодняшний порядок жизни не предоставляет Я никакого простора для последовательного духовного роста. Редуцированная к знанию мысль нейтрализуется и используется попросту в качестве квалификации на специфических рынках труда, равно как и для повышения товарной стоимости личности. Так гибнет то самосознание духа, которое оказывает противодействие паранойе. В конечном итоге, в условиях позднего капитализма полуобразованность становится объективным духом. В своей тоталитарной фазе господство вновь обращается к провинциальным шарлатанам от политики и вместе с ними к выступающей как *ultima ratio* системе безумия и посредством крупной индустрии и культуриндуст-

рии навязывает ее и без того уже присмирившему большинству подданных. Абсурдность господства сегодня столь легко может быть разгадана здоровым сознанием, что для того, чтобы удержаться в жизни, оно нуждается в сознании больном. Только одержимые манией преследования способны мириться с преследованиями, к которым неизбежно переходит господство, благодаря тому, что теперь дозволено им преследовать других.

В фашизме, где с большим трудом воспитанная буржуазной цивилизацией ответственность за жену и детей вновь заслоняется непрерывной самоориентацией всякого отдельного человека на установленные правила, и без того уже ликвидирована совесть. Она заключалась - иначе чем это представлялось Достоевскому и немецким апостолам внутренней духовной жизни - в самоотверженном жертвовании Я себя самого субстанциальному вне его, в способности делать истинные интересы других своими собственными. Эта способность является способностью к рефлексии как взаимопроникновению рецептивности и продуктивной силы воображения. В силу того, что крупная индустрия посредством упразднения независимого экономического субъекта, частично путем ассимиляции самостоятельных предпринимателей, частично путем трансформации рабочих в объекты деятельности профсоюзов, неудержимо лишает экономической почвы моральное решение, неизбежно угасает также и рефлексия. Душа, как возможность по отношению к самому себе искреннего чувства вины, распадается. Совесть становится беспредметной, ибо место ответственности индивидуума за самого себя и своих близких занимает, хотя бы даже и под прежним титулом морали, просто-напросто его работа на аппарат. Дело уже более не доходит до разрешения конфликта с собственными влечениями, в ходе которого формируется инстанция совести. Вместо интериоризации социальной заповеди, делающей ее не только более обязательной и вместе с тем более открытой, но и позволяющей эмансипировать ее от общества и даже обратить против него, происходит поспешная, непосредственная идентификация со стереотипной шкалой ценностей. Образцовая немецкая женщина, считающая себя непререкаемым авторитетом по части женственности, и настоящий немецкий мужчина, счи-

тающий себя таковым по части мужественности, подобно прочим их версиям являются типажам асоциальных конформистов. Несмотря на свою очевидную низость и вследствие нее, господство стало столь могущественным, что в своем бессилии всякий единичный, слепо покаясь, способен лишь только заклинать свою судьбу.

В условиях такой власти направляемому партией случаю предоставлено решать, на что именно отчаянное самосохранение спроецирует вину за свой ужас. Евреи предопределены направить такую проекцию на себя. Сфера обращения, в которой они занимали экономические властные позиции, непрерывно сокращается. Либералистской формой предпринимательства расплывленным состояниям все еще предоставлялась некая возможность политического влияния. Теперь именно тех, кто эмансипировался первыми, отдадут на произвол слившихся с государственным аппаратом, не подвластных конкуренции сил капитала. Совершенно безотносительно к тому, какими свойствами обладают сами по себе евреи, их образ, будучи образом побежденного, несет на себе черты, неизбежно делающие его заклятым врагом ставшего тоталитарным господства: черты счастья без власти, заработка без труда, родины без пограничных столбов, религии без мифа. Эти черты осуждаемы господством потому, что поработанные втайне страстно хотят ими обладать. Господство способно существовать лишь до тех пор, пока поработанные сами превращают страстно желаемое в ненавистное. Это удастся им при помощи патологической проекции, ибо и ненависть ведет к единению с объектом - в разрушении. Она является негативом примирения. Примирение же есть высшее понятие иудаизма, а весь его смысл сводится к ожиданию; неспособностью к таковому порождается параноидная форма реакции. Антисемитам свойственно собственными силами претворять в действительность их негативный абсолюте, они превращают мир в ад, каковым он всегда им уже виделся. Успех или неуспех этого превращения зависит от того, сумеют ли перед лицом абсолютного безумия поработанные совладать с самими собой и положить ему конец. В освобождении мысли от господства, в упразднении насилия могла бы впервые быть реализована та идея, которая до сих пор оставалась неверной, а именно та, что еврей есть человек. Это

было бы шагом за пределы антисемитского общества, загоняющего в болезнь как евреев, так и всех остальных, шагом к человеческому обществу. Благодаря такому шагу сбылась бы в то же самое время и фашистская ложь, в качестве собственного ее опровержения: еврейский вопрос оказался бы и в самом деле поворотным пунктом истории. С преодолением болезни духа, буйно расцветающей на питательной почве не сломленного рефлексией самоутверждения, человечество, осознавая свой собственный образ, превратилось бы из всеобщей антирасы в вид, который, будучи природой, все же был бы чем-то большим, чем просто природа. Индивидуальная и социальная эмансипация от господства является противонаправленным ложной проекции движением, и никакой еврей, научись он только когда-нибудь укрощать последнюю в себе, не был бы подобием того зла, что бессмысленно обрушивается как на него, так и на всех гонимых, людей или животных.

VII

Но антисемитов больше нет. В последний раз ими были либералы, желавшие открыто выразить свои антилиберальные взгляды. Давняя консервативная склонность аристократии и офицерского корпуса дистанцироваться от евреев на исходе девятнадцатого столетия стала реакционной. Духу времени отвечали Аальвардты и Кнюппелькунцы. Их непосредственная свита состояла из уже готового для фюрера человеческого материала, но поддержку находили они среди злобных нравом и упрямых по всей стране. Стань антисемитское умонастроение тогда гласным, оно чувствовало бы себя и буржуазным и вышедшим из повиновения в одно и то же время. Но шовинистская брань все еще была нарушением гражданских свобод. Трактирной политикой антисемитов была раскрыта вся ложь немецкого либерализма, ее питавшего, которому она приутопляла конец. Даже если по отношению к евреям они и считали свою собственную посредственность грамотой, дающей право на их избиение, уже чреватое универсальным убийством, то все же в экономическом отношении они были достаточно осмотрительными для

того, чтобы до поры до времени продолжать взвешивать риск Третьего Рейха против преимуществ враждебной терпимости. Антисемитизм все еще был одним из конкурирующих мотивов в сфере субъективного выбора. Решение связывалось с ним специфическим образом. Принятие народного тезиса, правда, уже предполагало использование шовинистического вокабулярия во всей его полноте. С самых давних пор антисемитские суждения свидетельствовали о стереотипности мышления. Место антисемитской психологии отныне занимает простое Да фашистскому мандату, лозунговому инвентарю воинствующей крупной индустрии. Подобно тому, как в избирательных бюллетенях массовых партий избирателю партийной машиной навязываются имена тех, кто выпадает из поля его опыта и кого он может избрать только оптом, ключевые идеологические моменты кодифицированы в нескольких списках. Чтобы проголосовать за один из них, приходится голосовать за все скопом, если избиратель не хочет, чтобы его собственные убеждения оказались столь же тщетными, как и единичные голоса против в день выборов по сравнению с гигантскими цифрами статистических подсчетов. Антисемитизм едва ли уже является автономным побуждением, но становится пунктом политической платформы: тот, кто предоставляет хоть какой-нибудь шанс фашизму, ставит свою подпись под разгромом профсоюзов и крестовым походом против большевизма, и автоматически - под истреблением евреев. Сколь бы лживыми ни были убеждения антисемита, они преобразуются в предрешенные рефлексы бессубъектного экспонирования их политического местоположения. Когда массы принимают реакционную политическую платформу, содержащую пункт относительно евреев, они повинуются социальным механизмам, для которых единичный опыт общения с евреями не играет никакой роли. Факты свидетельствуют о том, что в местностях, где нет евреев, антисемитизм имеет ничуть не меньшие шансы, чем в самом Голливуде. Место собственного опыта занимает клише, место активно действующей фантазии - прилежная рецепция. Под угрозой скорой гибели представителям каждого из социальных слоев предписывается вы зубрить свой урок по ориентации. Ориентированными должны быть они как в смысле знания новейших образцов самолетов, так и в

смысле присоединения к одной из предзаданных инстанций власти.

В мире серийного производства его схема, стереотипия, заменяет собой категорию труда. Основанием суждения служит уже более не действительно осуществляемый процесс синтеза, но слепое подведение под категорию. Если на исторически более ранней стадии суждения бывало возникали вследствие поспешно проведенного различия, тотчас же приводившего в движение ядовитую стрелу, то с тех пор обмен и судопроизводство сделали свое дело. Процесс образования суждения проходил через стадию взвешивания, чем субъекту суждения гарантировалась хоть какая-то защита от брутальной идентификации с предикатом. В позднеиндустриальном обществе происходит регрессия к выполнению нерассуждающего суждения. Когда при фашизме обстоятельное судебное разбирательство в уголовном процессе было заменено ускоренной процедурой, современники экономически были к тому уже подготовлены; они уже умели бессознательно видеть вещи сквозь мыслительные модели, сквозь те *termini tecnici*, которые являются неприкосновенным запасом в ситуации распада языка. Воспринимающий уже более не присутствует в процессе восприятия. Ему уже более не свойственна действенная пассивность познания, в которой происходит оформление категориальных элементов из конвенционально преоформленного “данного” и новое, корректное оформление последнего на основе первых, так что, в конечном итоге, воспринятому предмету воздается должное. В сфере социальных наук, равно как и в мире переживаний отдельно взятого человека, слепое созерцание и пустые понятия косно и неопосредованно сводятся воедино. В эпоху трех сотен основных слов исчезает способность к усилию по образованию суждения и, тем самым, отличию между истинным и ложным. Поскольку не мышление в предельно специализированной форме образует во многих сферах разделения труда часть профессиональной экипировки, оно, как старомодная роскошь, становится сомнительным: тем, что называют “*armchair thinking*”. Все обязаны что-то уметь делать. Чем более развитие техники делает излишним физический труд, тем усерднее возводится он в образец для труда умственного, которому не следует поддаваться искушению сделать из этого соответствующие выводы. Такова

тайна того оглупления, из которого извлекает выгоду антисемитизм. Если даже в самой логике с понятием особенного обходятся как с всего лишь чем-то показным, то уж тем более в обществе должно содрогаться все, что репрезентирует собой отличие. Ярлыки приклеены: каждый становится либо другом, либо врагом. Отсутствие уважения к субъекту облегчает дело администрации. Целые группы народов переселяются в иные широты, индивиды с клеймом “еврей” отправляются в газовую камеру

Безразличие к индивидууму, находящее свое выражение в логике, учитывает происходящие в экономике процессы. Индивидуум стал помехой производству. Асинхронность технического и человеческого развития, тот “cultural lag”, по поводу которого так возмущались социологи, начинает исчезать. Экономической рациональностью, хваленым принципом минимальных затрат неустанно преобразуются последние из оставшихся элементов хозяйственной жизни: равным образом и предприятия и люди. Более прогрессивная в каждом отдельном случае форма становится господствующей. Некогда универсальные магазины поглотили специализированные торговые заведения старого стиля. Выйдя из под власти меркантилистского регулирования, они сосредотачивали в себе инициативу, распорядительность, организацию и сами становились, подобно тому, как прежние мельницы и кузницы превращались в маленькие фабрики, свободными субъектами предпринимательства. В них дело велось обстоятельно, убыточно, с риском. Поэтому и была введена затем конкуренцией более продуктивная централизованная форма магазина розничной торговли, а именно универсальный магазин. С психологическим малым предприятием, с индивидуумом, дело обстоит Ничуть не иначе. Он возник как силовая ячейка экономической активности. Эмансипировавшись от опеки на более ранних экономических стадиях, он заботился только о себе одном: как пролетарий - путем найма на рынке труда и постоянного приспособления к новым техническим условиям, как предприниматель - путем неустанного осуществления в действительности идеального типа homo oeconomicus. Психоанализ изображает это внутреннее малое предприятие, таким вот образом возникшее, в виде сложной динамики бессознательного и со-

знательного. Оно, Я и Сверх-Я. В постоянном споре со Сверх-Я, социально-контролирующей инстанцией в индивидууме, Я удерживает свои влечения в границах самосохранения. Вызывающие трения грани являются тут обширными, а неврозы, эти *faux frais* такого рода экономии влечения, неминуемы. Тем не менее, чреватый столь многими затруднениями психический аппарат до известной степени допускал свободное взаимодействие субъектов, к которому собственно и сводилась рыночная экономика. В эру гигантских концернов и мировых войн опосредование социальных процессов бесчисленным множеством монад становится ретроградным. Субъекты экономии влечения психологически экспроприируются, а сама она эксплуатируется обществом более рациональным образом. Отдельно взятому человеку уже более не нужно ломать голову над тем, как ему поступить в том или ином случае, прибегая к мучительной внутренней диалектике совести, самосохранения и инстинктивного влечения. За человека как трудящегося все уже решено иерархией союзов вплоть до национальной администрации, в сфере приватной - схемой массовой культуры, полностью завладевающей последними остатками внутренних побуждений своих потребителей поневоле. Роль Я и Сверх-Я играют тут комиссии и звезды, и массы, лишенные даже видимости личности, поддаются формированию в соответствии с лозунгами и моделями с гораздо меньшими трениями, чем некогда инстинкты под давлением внутренней цензуры. Если в эпоху либерализма индивидуация части населения была нужна для приспособления общества в целом к уровню развития техники, то сегодня функционирование хозяйственного аппарата требует управления массами без какого бы то ни было вмешательства со стороны индивидуации. Определяемая экономикой направленность общества в целом, с давних пор пронизывающая собой духовную и телесную конституцию человека, атрофирует в единичном те органы, которые способствовали автономной организации его существования. С тех пор как мышление превратилось во всего лишь один из секторов системы разделения труда, планы компетентных экспертов и фюреров сделали излишними планы свое собственное счастье планирующих индивидов. Иррациональность безропотного и усердного приспособления к реальности оказы-

вается для единичного человека более разумной, чем разум. Если прежде бюргеры были вынуждены интроецировать принуждение в качестве долга совести и самим себе и трудящимся, то с тех пор весь человек в целом превратился в субъект-объект репрессии. Прогрессом индустриального общества, которому, судя по всему, волшебным образом удалось справиться с им же самим выявленным законом обнищания, ныне позорно извращается то понятие, при помощи которого оправдывалось все и вся: понятие человека как личности, как носителя разума. Диалектика Просвещения объективно оборачивается безумием.

Это безумие в то же время является и безумием политической реальности. Превратившись в густую сеть современных коммуникаций мир стал настолько единым, что различия в дипломатических завтраках в Думбартоне и Персии приходится рассматривать в качестве национальных черт, а национальное своеобразие распознается преимущественно на примере голодающих без риса миллионов, попавшихся в прочную ловушку этой сети. В то время как изобилие благ, которые могли бы быть произведены одновременно повсюду, делает анахронизмом борьбу за источники сырья и рынки сбыта, тем не менее, человечество разделено на небольшое число вооруженных блоков. Они конкурируют между собой беспощаднее, чем некогда фирмы в эпоху анархического товарного производства, и стремятся к взаимному уничтожению друг друга. Чем безрассуднее тут антагонизм, тем прочнее блоки. Только по той причине, что обитающим на их громадных пространствах тотальная идентификация с этими чудовищами власти навязывается в качестве второй их природы, что ведет к полной закупорке всех пор сознания, массы ввергаются в состояние абсолютной апатии, наделяющей их способностью к фантастическим деяниям. Поскольку право принимать решения кажется предоставленным единичному человеку, по существу своему все они уже предрешены. Растрезвенная политиками противостоящих лагерей непримиримость идеологий сама является всего-навсего идеологией слепой констелляции власти. Мышление в рамках политических платформ, этот продукт индустриализации и ее рекламы, приравнивает к себе международные отношения. Примкнет ли бюргер к коммунистической или к фашистской платфор-

ме зависит уже от того, чему удастся навязать ему себя - Красной Армии или лабораториям Запада. Овеществление, в силу которого ставшая возможной исключительно из-за пассивности масс структура власти противостоит им в качестве незыблемой действительности, стало настолько плотным, что любая спонтанность, даже просто представление об истинном положении вещей неизбежно превращается в зарвавшуюся утопию, в раскольническое сектантство. Видимость достигла такого уровня концентрации, что попытка разоблачить ее объективно приобретает характер галлюцинации. Напротив, выбор какой-либо политической платформы означает приспособление к окаменевшей в действительность видимости, беспредельно репродуцирующейся благодаря такого рода приспособлению. Именно поэтому колеблющийся подвергается гонениям как дезертир. Со времен Гамлета нерешительность была для модернистов признаком мышления и гуманности. Растраченное зря время репрезентировало и одновременно опосредовало дистанцию между индивидуальным и всеобщим точно так же, как сфера обращения в экономике репрезентировала и одновременно опосредовала дистанцию между потреблением и производством. Сегодня индивиды получают свои политические платформы уже готовыми от властей точно так же, как потребители - свои автомобили от торговых филиалов фабрик-производителей. Соответствие реальности, приспособление к власти, более не является результатом процесса диалектического взаимодействия между субъектом и реальностью, но непосредственно производится зубчатым механизмом индустрии. Этот процесс является процессом ликвидации, а не снятия, формальной, а не определяющей негации. Не благодаря тому, что они смогли удовлетворить все его потребности, не знаящим никакого удержу колоссам производства удалось одолеть индивидуума, но только потому, что они сумели элиминировать его как субъекта. Именно в этом и состоит их достигшая степени совершенства рациональность, с их безумием совпадающая. Доведенной до крайности диспропорцией между коллективом и отдельным человеком устраняется существующее тут напряжение, но безмятежное согласие между всевластием и бессилием само является непосредственным противоречием, абсолютной противоположностью примирения.

Таким образом, психологические детерминанты, с давних пор являвшиеся внутривидовыми агентами ложного общества, не исчезли вместе с индивидуумом. Характерные типы находят сейчас свое точное место в структуре механизма власти. Коэффициент их полезного действия, равно как и таковой вызываемых ими трений, точно рассчитывается. Политическая платформа сама является приводной шестерней. Все то, что с самых давних пор было принудительным, подневольным и иррациональным в психологическом механизме, тщательно подверстывается сюда. Реакционная политическая платформа, включающая в себя антисемитизм, в точности соответствует деструктивно-конвенциональному синдрому. Реакция не является изначально направленной против евреев, скорее происходит тут такая переориентация инстинкта, при которой политической платформой задается адекватный объект преследования. Основанные на опыте “элементы антисемитизма”, действенность которых аннулируется той утратой способности к опыту, свидетельством которой является мышление в рамках политической платформы, вновь ею мобилизуются. Они порождают в нео-антисемитах нечистую совесть и ненасытную жажду зла. Именно потому, что и сама психология индивидуального человека и ее содержание могут быть созданы только при помощи все еще поставляемых обществом синтетических схем, сущность современного антисемитизма обретает ничего не значащий, непроницаемый характер. Еврейский посредник лишь тогда полностью становится образом дьявола, когда собственно экономически он уже более не существует; это делает победу легкой и к тому же превращает антисемитски настроенного отца семейства в безответственного наблюдателя неудержимо развертывающейся Исторической тенденции, который вмешивается только тогда, когда того требует его роль партийного работника или работника производящих “циклон” фабрик. Администрация тоталитарных государств, подвергающаяся искоренению не отвечающую требованиям современности часть нации, является попросту тем палачом, которым приводятся в исполнение давным-давно вынесенные экономические вердикты. Занятые в других сферах разделения труда способны взирать на это с таким же равнодушием, какое не оставляет читателя газет при виде

сообщения о восстановительных работах на месте вчерашней катастрофы. Ибо и само своеобразие, из-за которого поплатились своей жизнью жертвы, также стерлось давным-давно. Людей, попадающих под декрет в качестве евреев, приходится путем подробнейшего анкетирования еще только разыскивать, под нивелирующим нажимом позднеиндустриального общества враждебные религии, некогда конституировавшие различие, успешной ассимиляцией были превращены в обычные культурные товары. Сами еврейские массы столь же не способны выйти за пределы мышления политической платформы, как, пожалуй, только какие-нибудь враждебные им молодежные союзы. Фашистский антисемитизм в известной степени должен сначала изобрести свой объект. Параноя преследует свою цель уже более не на основе индивидуальной истории болезни преследователя; став общественным экзистенциалом, она должна, напротив, сама определить эту цель в приводящем к полному ослеплению контексте войн и политических конъюнктур.

То обстоятельство, что антисемитизм оказывается всего только статьей в заменимой политической программе, является неопровержимой основой надежды на его конец. Со временем евреи будут истреблены, и тогда фюреры получают возможность так же легко заменить антисемитский пункт программы другим, как и переключить своих последователей с одного средоточия насквозь рационализованного процесса производства на другое. Базисом того процесса развития, которое приводит к мышлению в рамках политической платформы, является универсальная редукция всякой специфической энергии к единственной, абстрактной форме труда, одной и той же повсеместно, начиная с поля битвы и кончая студией. Переход от подобного рода условий существования к человеческому состоянию, однако, не может произойти по той причине, что добро постигает та же участь, что и зло. От свободного выбора прогрессивной политической платформы структуры политической власти, от которых зависят прогрессивные решения, столь же далеки, как и химический трест - от юдофобства. Хотя первая и оказывается привлекательной для тех, кто психологически более гуманен, тем не менее, даже сторонников прогрессивной политической платформы

ширяющаяся утрата способности к опыту превращает во врагов отличия. Антисемитской является не только антисемитская политическая платформа, но и ограниченная рамками политической платформы ментальность вообще. Та самая ярость в отношении всякого отличия, которая ей телеологически присуща, будучи не чем иным, как злопамятством поработанных субъектов поработения природы, всегда готова обратиться против естественного меньшинства даже там, где ему первому грозит опасность со стороны общества. Социально ответственная элита с гораздо большим трудом поддается фиксации, чем прочие меньшинства. В тумане отношений собственности, имущественного владения, постановлений и менеджмента она успешно уклоняется от теоретического определения. В расовой идеологии и классовой действительности равным образом проявляется одно только абстрактное отличие от большинства. Но когда прогрессивная политическая платформа устремляется к чему-то худшему, чем ее собственное содержание, содержание фашистской политической платформы оказывается столь ничтожным, что в качестве эрзаца чего-то лучшего оно способно удержаться на плаву только благодаря отчаянным усилиям обманутых. Весь ее ужас является ужасом очевидной и, тем не менее, продолжающейся лжи. В то время как ею не допускается никакая истина, с которой она могла бы быть соразмерена, в самой непосредственной близости оказывается та безумная истина, от которой следует удерживать на расстоянии лишенных способности суждения. Самим собой овладевшее, ставшее насилием Просвещение способно само преступать границы Просвещения.

ЗАРИСОВКИ И НАБРОСКИ ПРОТИВ ВСЕЗНАЙСТВА

К числу преподанных эпохой Гитлера уроков относится урок о глупости умничанья. К каким только хорошо обоснованным доводам не прибегали евреи, оспаривая его шансы прийти к власти, когда то, что это произойдет, было ясно как день. Мне вспоминается один разговор, в ходе которого некий национал-эконом, исходя из интересов баварского пивоварения, доказывал невозможность унификации Германии. Затем, согласно экспертам, фашизм был невозможен на Западе. Обо всем осведомленные умники всегда и везде облегчали дело варварам, потому что такие уж они глупцы. Именно ориентирующиеся в ситуации, дальновидные суждения, основанные на статистике и опытных данных прогнозы, констатации, начинающиеся с “в конце концов уж в этом-то я хорошо разбираюсь”, именно все подводящие черту и веские statements суть те, которым отказано в праве на истинность.

Гитлер был враждебен духу и противочеловечен. Но есть еще и дух, являющийся противочеловечным: признак его - хорошо ориентирующаяся во всем превосходство.

Дополнение

То, что умничанье становится глупостью, обусловлено исторической тенденцией. Разумность в том смысле, каким руководствовался Чемберлен, во времена, Годесберга назвавший требования Гитлера “unreasonable”, означает ни больше ни меньше как то, что эквивалент-

ность даваемого и взимаемого должна быть соблюдена. Такой разум образуется в ходе обмена. Цели должны достигаться только опосредованно, в известной мере через рынок, путем мелких выгод, которые способна извлечь признающая правила игры власть, получая одну концессию взамен другой. Всякая рассудительность становится шаткой, как только власть перестает следовать правилам игры и приступает к непосредственной апроприации. Жизненная среда традиционного буржуазного интеллекта, дискуссия, разрушается. Индивиды уже более не способны беседовать друг с другом и знают это: поэтому они превратили игру в некую серьезную и требующую ответственности инстанцию, все силы отнимающую, так что дело более не доходит ни до разговоров, ни до того, чтобы попробовать умолкнуть. В большом все обстоит, в конечном итоге, точно так же. По-хорошему фашиста не убедить. Когда кто-то другой берет слово, он воспринимает это как наглое вмешательство. Ему недоступен разум, потому что он усматривает его лишь в уступке со стороны другого.

Глупость быть умным есть необходимое противоречие. Ибо буржуазное рации вынуждено одновременно и претендовать на универсальность и развиваться в направлении ее ограничения. Подобно тому, как в ходе обмена каждый получает ему причитающееся и при этом все-таки имеет место социальная несправедливость, и форма рефлексии менового хозяйства оказывается справедливой, всеобщей и, тем не менее, партикуляристской, инструментом привилегированности в условиях равенства. Ей-то и предьявляет счет фашист. Он открыто представляет от лица партикулярных интересов и тем самым разоблачает само рации, напрасно кичащееся своей всеобщностью. То обстоятельство, что умные сразу же оказываются в дураках, уличает разум в его собственном неразумии.

Но даже и фашист производит противоречие. Ибо буржуазный разум на самом деле является не только просто партикулярным, но и всеобщим, и его всеобщность настигает фашизм в силу того, что отрицается им. Те, кто пришли к власти в Германии, были умнее либералов и глупее их. Прогресс в направлении учреждения нового порядка в широкой мере поддерживался теми, чье сознание не поспевало за прогрессом, банкротами, сектантами, дураками. Они застрахованы от оши-

бок до тех пор, пока всякая конкуренция предотвращается их властью. Но в условиях конкуренции государств фашисты не только совершают ошибки, но из-за близорукости, упрямства, незнания экономических сил и, прежде всего, в силу неспособности видеть негативное и принимать его в расчет при оценке положения в целом субъективно ведут дело к той катастрофе, которую в глубине души они всегда ожидали.

ДВА МИРА

Здесь, в Америке, не существует никакого различия между самим человеком и его экономической участью. Никто не является чем бы то ни было иным, кроме как своим состоянием, своим доходом, своим положением, своими шансами. Маска экономического положения и то, что находится под ней, совпадают в сознании людей, включая и тех, о ком идет речь, вплоть до мельчайшей морщинки. Каждый стоит ровно столько, сколько он зарабатывает, каждый зарабатывает ровно столько, чего он стоит. То, чем он является, он узнает, испытывая превратности своего экономического существования. И иначе знать себя ему не дано. Если материалистическая критика общества в противоположность идеализму утверждала, что не сознание определяет бытие, но, напротив, бытие - сознание, что истину об обществе следует искать не в его идеалистических представлениях о самом себе, но в его экономике, то современное самосознание уже отбросило подобного рода идеализм. Его носители судят о своей собственной самости по ее рыночной стоимости и учатся тому, что представляют они из себя, претерпевая все то, что случается с ними в условиях капиталистической системы хозяйствования. Их участь, будь она даже самой трагичной, не есть что-то внешнее им, она принимается ими. Прощаясь, китаец

“Угасшим голосом изрек: мой друг
Ко мне не благосклонно счастье в мире этом.
Куда иду я? В горы побреду
Ищу покоя сердцу одинокому.”

I am a failure, - сказал бы американец. - And that is that.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ИДЕИ В ГОСПОДСТВО

Иногда в истории древнейших экзотических времен неожиданно обнаруживаются тенденции истории самой новейшей и ближайшей, становясь особенно отчетливыми благодаря наличной тут дистанции.

В своем комментарии к Иша-Упанишадам Дейссен¹ указывает на то, что тот шаг, который был сделан индийским мышлением за пределы мышления более раннего, подобен тому, который был сделан и, согласно Евангелию от Матфея², Иисусом по отношению к Иоанну Крестителю, и стойками по отношению к киникам. Замечание это, правда, исторически однобоко, потому что бескомпромиссные идеи Иоанна Крестителя и киников, ничуть не в меньшей степени, чем те воззрения, по сравнению с которыми должны знаменовать собой прогресс эти первые строфы Иша-Упанишад³, скорее кажутся присущими левым, от могущественных клик и партий отколовшимся раскольническим течением, чем совпадающими с генеральной линией тех исторических движений, ответвлениями которых впоследствии явились европейская философия, христианство и столь жизнеспособная ведическая религия. К тому же и в индийских сборниках, как о том сообщает сам Дейссен, Иша-Упанишады обычно располагаются в самом начале, таким образом намного опережая все то, преодолением чего они должны быть. И все же этой первой части, о которой идет речь, действительно свойственно нечто от предательства по отношению к ювенильному радикализму, по отношению к революционной оппозиционности господствующей действительности.

Шаг к способным на организацию ведантизму, стоицизму и христианству вводится к участию в общественной деятельности, к построению единой теоретической системы. Посредником тут выступает учение, согласно которому активная роль в жизни не наносит ущерба спа-

¹ Paul Deussen. Sechzig Upanischad's des Veda. Leipzig, 1905, S.524.

² II. Kapitel. Vers 17-19.

³ В первую очередь Брихадараньяка-Упанишады. 3, 5, 1 и 4, 4, 22. Deussen. Op. Cit., S.436 f. и 479 f.

сению души, если только придерживаться правильных убеждений. Так далеко зайти христианству, правда, удалось лишь во времена Св. Павла. Дистанцирующаяся от существующего идея переходит в религию. Бескомпромиссные подвергаются осуждению. Они отрекались “от потребности в детях, от потребности в имуществе, от потребности жить в миру и бродили окрест нищими. Ибо потребность в детях есть потребность в имуществе, а потребность в имуществе есть потребность жить в миру; ибо первое, как и второе есть желание суетное.”⁴ Тот, кто говорит так, возможно, и изрекает с точки зрения цивилизатора истину, но не идет в ногу с ходом общественной Жизни. Поэтому они становились сумасбродами. На самом деле они были похожи на Иоанна Крестителя. Он “был облачен в одеяние из верблюжьей шерсти, опоясывал чресла кожаным кушаком и питался кузнечиками и диким медом.”⁵ “Киники”, говорит Гегель, “обладали слабой философской подготовкой и не довели дело до системы, до науки; позднее оно лишь благодаря стоикам стало философской дисциплиной.”⁶ “Свинскими, наглыми нищими”⁷ называет он их последователей.

Те бескомпромиссные, о которых вообще сообщает история, не были полностью лишены всякого организованного сопровождения, в противном случае их имена никогда бы не дошли до современности. По меньшей мере, им удалось разработать хотя бы часть систематического учения или правил поведения. Даже те из вышеупомянутых более радикальных Упанишад были не чем иным, как строфами и жертвенными заклинаниями гильдий жрецов⁸, Иоанн не стал основателем религии, зато стал основателем ордена.⁹ Киники создали философскую школу; ее основатель Антисфен даже очертил контуры некой теории

⁴ Ibid.. S.436.

⁵ Evang. Marci. Kapitel 1, Vers 6.

⁶ Vorlesungen ueber die Geschichte der Philosophie. 2.Band. Werke, Band XIV, S.159 f.

⁷ Ibid., S.168.

⁸ Cp. Deussen. Op. cit., S.373.

⁹ Cp. Eduard Meyer. Ursprung und Anfaenge des Christentums. Stuttgart und Berlin, 1921, Band I, S.90

государства.¹⁰ Теоретические и практические системы подобного рода аутсайдеров истории не были, однако, так уж строги и централизованы, они отличались от добившихся успеха моментом анархии. Идея и индивидуальность значили для них больше, нежели администрация и коллектив. Тем самым они вызывали ярость. Именно киников имел в виду вельможа Платон, когда горячо протестовал против приравнивания должности царя к должности простого пастуха и против свободно организованного человечества без национальных границ, уподоблявая его державе свиней.¹¹ Бескомпромиссные могли быть готовы к объединению и кооперации, но к серьезному строительству нисходящей иерархии они все же не были приспособлены. Ни в их теории, которой недоставало единства и последовательности, ни в их практике, которой недоставало ударной силы сосредоточенности, их собственное бытие не отражало мир таким, каким он в действительности являлся.

Таково было формальное различие радикальных и конформистских движений в религии и философии, оно заключалось не в самом по себе изолированном содержании. Никоим образом, к примеру, не отличались они друг от друга идеей аскезы. Секта аскета Готамы завоевала азиатский мир. При жизни он обнаруживал большой организаторский талант. Даже если он и не отказывал, подобно реформатору Канкаре, низшим слоям в сообщении учения¹², то все же совершенно недвусмысленно признавал право собственности на других людей и хвастался “сынами знатных родов”, вступившими в его орден, в котором парии “если были вообще, то уж, по всей видимости, были лишь редким исключением”.¹³ Послушники с самого начала подразделялись по брахманистскому образцу.¹⁴ Калекам, большим, преступникам и многим другим было отказано в приеме. Нет ли у тебя, так спрашивалось при при-

¹⁰ Diogenes Laertius. IV, 15.

¹¹ Cp. Politeia. 372; Politikos. 267 ff. и Eduard Zeiler. Die Philosophie der Griechen. Leipzig, 1922, 2. Teil, I. Abt., S. 325 f., Anm.

¹² Cp. Deussen. Das System des Vedanta. Leipzig, 1906, 2. Aufl., S. 63 ff.

¹³ Hermann Oldenberg. Buddha. Stuttgart und Berlin, 1914, S. 174 f.

¹⁴ Cp. Ibid., S. 386.

еме,¹⁵ “проказы, золотухи, чахотки, падучей? Человек ли ты? Мужчина ли ты? Хозяин ли ты самому себе? Нет ли у тебя долгов? Не состоишь ли ты на царской службе?” и т.д. В соответствии с устоями брутального индийского патриархата женщины неохотно допускались прабуддистским орденом в качестве послушниц. Они должны были подчиняться мужчинам, на деле оставаясь зависимыми.¹⁶ Орден в целом пользовался благосклонностью правителей, превосходно вписывался в индийский образ жизни.

Аскеза и материализм, противоположности, равным образом являются двусмысленными. Аскеза как отказ от соучастия в дурном существующем перед лицом угнетения совпадает с материальными требованиями масс, тогда как, напротив, аскеза в качестве средства дисциплины, навязываемой кликами, преследует цель приспособления к несправедливости. Материалистическая обустроенность в существующем, партикулярный эгоизм с самых давних пор были связаны с воздержанием, в то время как взор небуржуазного фанатика уносится за пределы существующего, в страну молочных рек и кисельных берегов. В подлинном материализме аскеза оказывается снятой, равно как и в подлинной аскезе снятым оказывается материализм. А история вышеупомянутых древних религий и школ точно так же, как и история современных партий и движений способна научить тому, что ценой выживания является практическое соучастие, превращение идеи в господство.

К ТЕОРИИ ПРИЗРАКОВ

Фрейдовская теория о том, что вера в призраков ведет свое происхождение от злых мыслей живых по отношению к умершим, от воспоминаний о прежнем желании смерти, является слишком плоской. Ненависть по отношению к умершим является ревностью ничуть не в меньшей степени, чем чувство вины. Оставшийся в живых чувствует

¹⁵ Ibid., S.393 f.

¹⁶ Cp. Ibid., S.184 ff. и S.424 ff.

себя покинутым, он ставит свою боль в вину мертвому, ее причинившему. На тех ступенях развития человечества, на которых смерть еще казалась непосредственным продолжением существования, ситуация покинутости в смерти неизбежно производила впечатление предательства, и даже в просвещенном индивиде прежняя вера обыкновенно не полностью угасла. Сознанию не свойственно мыслить смерть как абсолютное ничто, абсолютное ничто невысказуемо. И когда затем бремя жизни вновь ложилось тяжким грузом на родственников покойного, положение умершего легко могло казаться им лучшим состоянием. Тот способ, каким многие родственники умершего после смерти их родича вновь организуют свою жизнь, возникающие тут активный культ мертвого или, напротив, тактично рационализированное забвение являются современным подобием веры в привидения, которая, несублимированно, продолжает буйно разрастаться в спиритизме. Лишь ставшим полностью осознанным ужасом перед уничтожением устанавливается верное отношение к мертвым: единство с ними, потому что мы, как и они, являемся жертвами одних и тех же обстоятельств, одних и тех же несбывшихся надежд.

Дополнение

Нарушенное отношение к мертвым - их забывают и бальзамируют - один из симптомов нездорового опыта. Можно сказать, что стало несостоятельным понятие самой человеческой жизни как единства истории того или иного человека: жизнь единичного человека определяется ее прямой противоположностью, уничтожением, а всякая согласованность, всякая континуальность сознательного воспоминания и непроизвольной памяти утратила смысл. Индивиды редуцируются к простой последовательности точечных современностей, не оставляющих после себя никаких следов или скорее: чей след как иррациональный, излишний, в наибоквальнойшем смысле устаревший они ненавидят. Подобно тому, как подозрительна всякая давно вышедшая в свет книга, всякая мысль об истории, не укладывающаяся в рамки специальной отрасли исторической науки, прошедшее в человеке вызывает его не-

рвозность и приводит в ярость. То, чем некто был прежде и что довелось ему испытать, совершенно аннулируется по сравнению с тем, чем он является теперь, чем владеет, для чего, в крайнем случае, может быть использован. Частенько даваемый эмигрантам доброжелательно-угрожающий совет забыть все, что было, так как, конечно же, невозможно использовать ничего из прошлого опыта, и без промедления начать новую жизнь, способен сообщить незваному гостю, на которого смотрят как на привидение, лишь то, что он сам давным-давно уже научился учинять над собой. Историю вытесняют в себе и других из страха перед тем, что она могла бы напомнить о распаде собственного существования, который сам в значительной степени состоит в вытеснении истории. То, что происходит с чувствами, бойкот всего того, что не обладает рыночной стоимостью, самым жесточайшим образом происходит и с тем, из чего никогда не извлечь психологического восстановления рабочей силы, - с трауром. Он становится рубцом цивилизации, асоциальной сентиментальностью, предательски свидетельствующей о том, что еще не до конца удалось заставить людей присягнуть на верность царству целей. Поэтому траур более всего прочего оскверняется, сознательно превращается в общественную формальность, каковой для очерстневших душой милый сердцу мертвец в значительной мере всегда уже был. Во funeral home и крематории, где покойники перерабатываются в транспортабельный прах, в тягостную собственность, и в самом деле неуместно давать волю чувствам, а та девушка, которая, с гордостью описывая погребение своей бабушки по первому классу, добавила: "a pity that daddy lost control", потому что последний пролил пару слез, совершенно точно воспроизводит положение вещей. Воистину над покойниками учиняется то, что древними иудеями считалось самым страшным проклятьем: чтоб о них даже и не вспомнили. На мертвых люди вымещают свое отчаяние, поскольку им более не удастся вспомнить о самих себе.

QUAND MÊME

К преодолению собственной гравитации, к производству материальных и духовных продуктов люди пришли благодаря давлению извне. В этом мыслители, начиная с Демокрита и кончая Фрейдом, не ошибались. Сопротивление внешней природы, к которому, в конечном счете, сводится это давление, внутри общества находит свое продолжение благодаря классам и воздействует на каждого индивидуума с самого детства как черствость ближних его. Люди податливы, когда хотят чего-то от более сильных, и непреклонны, когда за тем же обращается к ним более слабый. Таков был до сих пор ключ к пониманию сущности личности в обществе.

Сделанный консерваторами вывод о том, что страх и цивилизация неразделимы, вполне обоснован. Что еще, как не с усилием осуществляемое собственное развитие, разжигаемое внешним сопротивлением, могло заставить людей развить в себе способность позитивно справляться со сложнейшими комплексами раздражителей? Первоначально это побудительное сопротивление находит свое воплощение в фигуре отца, позднее обзаводится оно тысячько голов: учитель, начальник, клиент, конкурент, представители социальных и государственных властей. Их брутальность стимулирует индивидуальную спонтанность.

То, что в будущем суровость могла бы стать дозированной, что те кровавые наказания, посредством которых укрощалось человечество в течение тысячелетий, удастся заменить сооружением санаториев, судя по всему, является несбыточной мечтой. Наигранное принуждение бесцельно. Под знаком палача происходило развитие культуры; Книга Бытия, повествующая об изгнании из рая, и "Soirees de Petersbourg" в том единокорны. Под знаком палача предаются труду и наслаждению. Противоречить этому означает идти наперекор всей науке, всей логике. Нельзя упразднить страх и сохранить цивилизацию. Ослабление первого уже означает начало распада. Из этого могут быть сделаны самые различные выводы: начиная от поклонения фашистскому варварству и вплоть до поиска прибежища в кругах ада. Есть и еще один: пренебречь логикой, когда она направлена против человечности.

ПСИХОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

Большой пес, переходя шоссе, попадает под автомобиль. Его миролюбивое выражение свидетельствует о том, что с ним обычно обращались лучше, что он домашнее животное, которому не причиняли никакого зла. А сыны высших слоев буржуазии, которым не причиняли никакого зла, обладают ли они миролюбивым выражением лица? С ними обычно обращались не хуже, чем с собакой, которая теперь попала под автомобиль.

ЗА ВОЛЬТЕРА

Твой разум однобок, нашептывает однобокий разум, ты поступил несправедливо по отношению к власти. О постыдности тирании трубил ты патетически, плаксиво, саркастически, громогласно; но о добре, что творит власть, ты умалчиваешь. Без тех гарантий безопасности, которые может дать только власть, добру бы никогда не существовать. Под сенью власти бурлят, играя, жизнь и любовь, им удалось вырвать у враждебной природы и твою долю счастья. - Внушаемое апологетикой является одновременно и истинным, и ложным. При всех великих достижениях власти только она одна способна совершать несправедливость, ибо несправедливым бывает только приговор, за которым следует приведение его в исполнение, а не речь адвоката, которой не внемлют. Только в том случае, когда эта речь сама нацелена на угнетение и защищает силу вместо слабости, соучаствует она во всеобщей несправедливости. - Но власть, продолжает нашептывать однобокий разум, представлена людьми. Компрометируя ее, ты их делаешь мишенью. И те, кто придут после них, возможно, окажутся еще хуже. - Эта ложь говорит правду. Когда фашистские убийцы ждут своего часа, не следует натравливать народ на слабое правительство. Но даже союз с менее brutальными силами не обязательно имеет своим логическим следствием замалчивание подлостей. Шансы на то, что благодаря разоблачению несправедливости, кого-либо от дьявола защищающей, пострадает благое дело, всегда были гораздо меньшими, чем то преимущество, которое полу-

чал дьявол, когда ему предоставлялось право разоблачать несправедливость. Как же далеко должно было зайти общество, в котором одни только негодяи все еще говорят правду и о весело продолжающемся линчевании твердит без устали Геббельс. Не добро, но зло является предметом теории. Ею воспроизводство жизни предполагается во всякий раз уже определенных формах. Ее стихией является свобода, ее темой - угнетение. Там, где язык становится апологетичным, он уже коррумпирован, по самой сути своей не способен он быть ни нейтральным, ни практическим. - Неужели ты не можешь обратить внимание на хорошие стороны и провозгласить первопринципом любовь взамен бесконечной горечи! - Существует только один способ выражения истины: мысль, отрицающая несправедливость. Если подчеркивание хороших сторон не снимается в негативном целом, то оно прославляет собственную противоположность: насилие. При помощи слов я могу интриговать, пропагандировать, суггестивно внушать, и это та их особенность, благодаря которой они, как и всякое действие, включаются в действительность, и которая понятна лжи. Ею создается впечатление, что и противоречие существующему происходит в угоду забрезжившим формам насилия, конкурирующим бюрократиям и властителям. В своем неопишемом страхе она способна и желает видеть только то, что есть она сама. Все, что входит в ее медиум, язык как инструмент, становится идентичным ложь, как становятся идентичными между собой вещи в темноте. Но сколь бы верно ни было то, что не существует такого слова, которым не могла бы в конечном счете воспользоваться ложь, все же не благодаря ей, но исключительно в жестком противостоянии мысли власти становится явственным приносимое ею благо. Бескомпромиссна ненависть к террору, осуществляемому по отношению к самой что ни на есть распоследней твари, вызывает законную благодарность со стороны пощаженного. Зывание к солнцу есть идолопоклонство. Вид от зноя засохшего дерева рождает предчувствие величественности дневного света, который не должен в то же время опалить озаряемый мир.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Всеобщими понятиями, образуемыми частными науками путем абстракции или аксиоматически, формируется материал для наглядного представления, равно как и имена для единичных явлений. Борьба против всеобщих понятий бессмысленна. Но этим еще никоим образом окончательно не решается вопрос о достоинстве всеобщего. То, что является общим многим единичным явлениям или то, что постоянно повторяется в одном из них, далеко не обязано быть чем-то более стабильным, более вечным, более глубоким, чем особенное. Шкала родов и видов не является одновременно и шкалой значительности. Именно это было ошибкой элеатов и всех тех, кто следовал им, с Платоном и Аристотелем во главе.

Мир неповторим. Простое повторение моментов, все вновь и вновь навязывающих себя в качестве одних и тех же, скорее походит на тщетную и подневольную литанию, чем на спасительное слово. Классификация есть условие познания, но не оно само, а познание в свою очередь разрушает классификацию.

ЛАВИНА

В современности нет более места поворотам. Поворот в положении вещей всегда является поворотом к лучшему. Но когда в такие времена, как нынешнее, бедствование достигает своего предела, небеса разверзаются и обрушивают всю свою огневую мощь на тех, кто и без того уже все потерял.

То, что обычно причисляли к области социального, политического, способствует этому впечатлению в первую очередь. Первые полосы ежедневных газет, некогда казавшихся благополучным женщинам и детям чуждыми и вульгарными - газета отдавала трактиром и бахвальством, - в конечном итоге, жирной печатью своих заголовков вошли в дом реальной угрозой. Гонка вооружений, заокеанские события, напряженность в Средиземноморье, бог знает что за кичливые понятия, в

конце концов, действительно нагнали на людей страха перед первой мировой войной. Затем пришла, с ее все более и более головокружительными цифрами, инфляция. Когда она остановилась в своем беге, это не означало поворота, но явилось лишь еще большим бедствием, рационализированием и спадом. Когда цифры отданных за Гитлера голосов стали сначала скромно, но уверенно расти, стало ясно, что лавина пришла в движение. Цифры отданных на выборах голосов вообще являются характерными для этого феномена. Когда к вечеру еще предфашистского дня выборов начинали поступать результаты из различных частей страны, одной восьмой, одной шестнадцатой частью голосов уже предreshался общий итог. Если десять или двадцать округов en masse избирали какое-либо направление, то остальные сто оказывались не против. Так давал о себе знать дух унификации. Сущность мира совпадает со статистическим законом, посредством которого подвергается классификации его внешняя сторона.

В Германии фашизм победил с помощью вопиюще ксенофобской, враждебной культуре коллективистской идеологии. Теперь, когда он опустошает планету, народы вынуждены бороться против него, ибо не остается никакого иного выхода. Но когда все уже будет позади, дух свободы вовсе не обязательно начнет распространяться по всей Европе, ее нации, возможно, станут такими же ксенофобскими, враждебными культуре и псевдоколлективистскими, каким был фашизм, от которого они были вынуждены обороняться. Движение лавины не прервет с необходимостью даже поражение фашизма.

Основным принципом либеральной философии был принцип “и-и”. В современности, судя по всему, более в ходу “или-или”, однако таким образом, как если бы всякий раз решение было уже принято в пользу дурной стороны.

ИЗОЛЯЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОММУНИКАЦИИ

То, что средство сообщения изолирует, справедливо не только применительно к духовной сфере. Ныне не только лживый язык диктора на радио прочно отпечатывается в мозгу в качестве имиджа языка и препятствует общению людей между собой, не только реклама пепси-колы заглушает рекламу разрушения континентов, не только призрачная модель киногероев предвосхищает объятия подростков и адюльтер. Прогресс буквально разлучает людей. Маленькое окошко в вокзальной кассе или банке предоставляло служащему возможность пошептаться с коллегой и поделиться с ним убогими секретами; стеклянные окна современных бюро, огромные залы, в которых вместе располагаются бесчисленные служащие и где так легко за ними наблюдать как публике, так и менеджеру, более не допускают ни частных бесед, ни идиллий. И в учреждениях налогоплательщик защищен теперь от бесполезной траты его времени теми, кому платят тут жалованье. Ныне они изолированы в коллективе. Но средство сообщения разобщает людей также и физически. Железной дороге пришел на смену автомобиль. Благодаря собственной автомашине уменьшается число дорожных знакомств со всегда несколько опасными hitchhikers. На резиновых шинах люди путешествуют строго изолированно друг от друга. Зато в каждом рассчитанном на одну семью автомобиле разговаривают лишь о том, что обсуждается в любом другом; беседа в такой обособленной семье регулируется практическими интересами. Подобно тому, как всякая семья с определенным доходом тратит, в полном соответствии с предписаниями статистики, один и тот же процент на жилье, кино, сигареты, в зависимости от классов автомобилей схематизируются и темы разговоров. Когда люди встречаются по воскресеньям или останавливаются во время путешествий в гостиницах, меню и номера которых идентичны на соответствующем уровне цен, они обнаруживают, что по причине возрастающей изоляции они становятся все более похожими друг на друга. Коммуникация приводит к уподоблению людей друг другу путем их разъединения.

К КРИТИКЕ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

Не род человеческий есть, как то утверждалось, отклонение от естественной истории, побочное и ошибочное образование, возникающее из-за гипертрофии такого органа, как головной мозг. Это справедливо по отношению лишь к разуму известных индивидов и в течение кратких периодов, может быть, даже по отношению к некоторым странам, в которых подобного рода индивидам экономикой предоставлена полная свобода действий. Такой орган, как мозг, человеческий интеллект, обладает достаточной мощью, чтобы образовать собой очередную эпоху в истории Земли. Человеческий род, включая его машины, химикалии, организационную энергию - здесь уместно сравнение с зубами медведя, которые служат той же цели, разве что лучше функционируют - в нашу эпоху есть *le dernier cri* приспособления. Людям удалось не только превзойти своих непосредственных предшественников, но и так основательно их искоренить, как это едва ли способен сделать какой-либо из современных видов по отношению к другим, не исключая и плотоядных ящеров.

Напротив, желание сконструировать всемирную историю, соотносаясь, как это сделал Гегель, с такими категориями, как свобода и справедливость, кажется чем-то вроде чудачества. Эти категории и в самом деле ведут свое происхождение от сбившихся с пути индивидов, тех самых, которые не имеют никакого значения с точки зрения поступательного хода великого целого, за исключением того, что именно они помогают обществу временно достигать такого состояния, при котором создается особенно много машин и химикалий, служащих упрочению мощи данного рода и порабощению других. В смысле этой нешуточной истории все идеи, запреты, религии, политические вероисповедания являются интересными лишь настолько, насколько они, возникнув в самых разнообразных условиях, увеличивают или уменьшают шансы человеческого рода на господство на Земле либо во Вселенной. Освобождение бюргеров от бесправия феодального и абсолютистского прошлого благодаря либерализму послужило делу раскрепощения машинерии точно так же, как эмансипация женщин выливается в их пере-

обучение в некий род войск. Дух и всякое добро безнадежно впутались в этот кошмар и по своему происхождению и в своем наличном бытии. Сывороткой, которую протягивает врач больному ребенку, последний обязан нападению на беззащитную тварь. В ласковых словах влюбленных, равно как и в священнейших символах христианства различим отзвук наслаждения плотью агнца, а в самом наслаждении - отзвук двусмысленности почитания тотемного животного. Спорная приверженность к кухне, церкви и театру является следствием рафинированного разделения труда, осуществляемого за счет природы внутри и вне человеческого общества. В противодействующем ей усилении такого рода организации состоит историческая функция культуры. Поэтому подлинное мышление, разум в его чистом виде, и приобретает черты безумия, которые издавна подмечали в нем прочно стоящие обеими ногами на земле. Если бы ему удалось одержать решающую победу среди представителей рода человеческого, под угрозу было бы поставлено господствующее положение рода. Теория девиации, в конечном итоге, могла бы оказаться истинной. Но цинично стремясь служить критике антропоцентристской философии истории, она сама является слишком антропоцентристской, чтобы сохранить правоту. Разум играет роль инструмента приспособления, а не успокоительного средства, как это могло бы показаться судя по тому, как иногда использует его индивидуум. Хитрость разума сводится к тому, чтобы все больше отдавать людей во власть бестий, а вовсе не к достижению тождества субъекта и объекта.

Философская реконструкция всемирной истории должна была бы продемонстрировать, каким образом вопреки всем отклонениям и препятствиям верх все более решительно берет последовательное господство над природой, интегрирующее все внутрочеловеческое. Производными от этой точки зрения должны были бы стать также и формы экономики, властных отношений, культуры. Идея сверхчеловека способна найти применение только в смысле перехода количества в качество. Подобно тому, как по сравнению с троглодитом можно было бы назвать сверхчеловеком того летчика, который за несколько вылетов при помощи токсичных средств способен очистить последние из оставшихся континентов от последних остатков живущих на воле живот-

ных, могла бы, в конечном итоге, возникнуть и некая человеческая сверхамфибия, по сравнению с которой нынешний летчик показался бы безобидной ласточкой. Сомнительно, однако, что после человека может возникнуть следующий естественноисторический высший вид. Ибо в чем антропоморфизм и в самом деле прав, так это в том, что естественная история, так сказать, не рассчитала того удачного броска жребия, результатом которого явился человек. Его способность к уничтожению обещает стать столь непомерной, что - если когда-нибудь этот вид исчерпает себя - дело дойдет до *tabula rasa*. Он либо растерзает сам себя, либо загубит всю фауну и флору на Земле вместе с собой, и если к тому времени Земля будет еще достаточно юна, на гораздо более низшей ступени все это должно начаться вновь.

Благодаря тому, что гуманные идеи были перенесены философией истории в качестве действующих сил в саму историю и вместе с триумфом был приуготовлен их конец, они лишились того простодушия, которое является составной частью их содержания. Издевка над тем, что они компрометировали бы себя всякий раз, когда экономика, то есть насилие, оказывалась бы не на их стороне, является издевкой над всякой слабостью, ею против воли идентифицировали авторы себя с тем угнетением, которое они хотели упразднить. В философии истории повторяется то, что произошло в христианстве: добро, которое на самом деле так и продолжает претерпевать страдания, маскируется под силу, определяющую ход истории и, в конце концов, одерживающую победу. Оно обоготворяется в качестве мирового духа или же имманентного закона. Но таким образом не только история непосредственно превращается в свою собственную противоположность, но и извращается сама идея, призванная сломить необходимость, логический ход происходящего. Опасность девиации предотвращается. Из-за такого рода повышения в статусе ошибочно принимаемое за силу бессилие отвергается повторно, как бы погружается в забвение. Таким образом христианство, идеализм и материализм, содержащие истину, наряду с тем все же несут ответственность за те мошенничества, которые во имя их совершаются. В качестве провозвестников силы - будь то даже сила добра - они сами превратились в способствующие укреплению организа-

ции исторические силы и в качестве таковых сыграли свою кровавую роль в действительной истории человеческого рода: роль инструментов организации.

Так как история в качестве коррелята унифицированной теории, в качестве конструкта оказывается не благом, но как раз кошмаром, мышление становится воистину негативным элементом. Надежда на лучшие общественные отношения, в той мере, в какой она не является иллюзией, коренится, скорее, не в уверенности в том, что они будут гарантированными, прочными и окончательными, а в недостатке уважения к тому, что прочно покоится в самой сердцевине всеобщего страдания. Бесконечное терпение, никогда не утасаживающий хрупкий порыв твари к экспрессии и свету, как будто смягчающий и смиряющий насилие созидательного развития в нем самом, не предписывает, подобно рациональным философиям истории, никакой определенной практики в качестве целительной, включая и практику непротивления. Первый проблеск разума, заявляющего о себе в такого рода порыве и отражающегося в обретающем память мышлении человека, даже в самые счастливые дни сталкивается со своим неразрешимым противоречием: с роком, отворотить который один только разум не в состоянии.

МОНУМЕНТЫ ГУМАННОСТИ

Гуманность всегда чувствовала себя дома во Франции более, чем где бы то ни было еще. Но сами французы знали об этом не более других. То, что содержалось в их книгах, было идеологией, и это признавал уже каждый. Лучшее же вело собственное обособленное существование: в интонациях голоса, в оборотах речи, в изысканности еды, в существовании борделей, чугунного литья писсуаров. Но уже правительством Блюма была объявлена война подобного рода уважению к частностям, и даже самые что ни на есть консерваторы немного сделали для того, чтобы защитить его монументы.

ИЗ ТЕОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

...Преступник, как и лишение свободы, буржуазен. В средние века тех княжеских детей, которые символизировали собой неприемлемые притязания на наследование, заточали в темницу. В противоположность этому преступника пытали до смерти, чтобы внушить массе населения уважение к порядку и закону, потому что пример суровости и жестокости воспитывает в суровых и жестоких любовь. Предпосылкой регулярного лишения свободы является все возрастающая потребность в рабочей силе. Здесь буржуазный способ существования отражается в виде страдания. Ряды тюремных камер в каторжной тюрьме являются монадами в аутентичном Лейбницу смысле. "У монад нет никаких окон, сквозь которые нечто могло бы проникнуть внутрь или наружу. Акциденции не могут отделяться или разгуливать вне субстанций, как то некогда делали воспринимаемые формы схоластов. Ни субстанция ни акциденция не приходят в монаду извне."¹ Не существует никакого прямого влияния монад друг на друга, регулирование и координация их жизни осуществляется посредством Бога, иначе говоря дирекцией.² Абсолютное одиночество, насильственная обреченность на одну только собственную самость, все бытие которой сводится к овладению материалом, к монотонному ритму труда, как кошмарный призрак очерчивает контуры существования человека в современном мире. Радикальная изоляция и радикальная редукция к всегда одной и той же безнадежной ничтожности идентичны друг другу. Человек в тюрьме является виртуальным прообразом того буржуазного типажа, в который ему еще надлежит превратить себя в действительности. Над тем, кому это не удастся за ее стенами, в ужасающей чистоте своей учиняется это внутри нее. Попытки рационально обосновать существование тюрем необходимостью изолировать преступника от общества или даже задачей его исправления не затрагивают существа дела. Они являются прообразом до конца продуманного буржуазного мира труда, которым не-

¹Leibniz. La Monadologie. Ed. Erdmann, Berlin, 1840. # 7. S.705.

²Ср. Ibid., # 51. S.709.

ненависть людей по отношению к тому, во что им надлежит превратить самих себя, утверждается в качестве основного признака этого мира. Слабый, отсталый, озверелый должен квалифицированно страдать от жизненного порядка, с которым все сами примиряются без любви, ставшее интровертивным насилие отыгрывается на нем с ожесточением. Преступник, который в своих преступных деяниях прежде всего заботится о самосохранении, обладает слабой, лабильной самостью, преступник-рецидивист является и вовсе дебилом.

Заклученные - это больные. Немощность изнурила и продолжает изнушать их тело и дух. Большинство из них уже были больны, когда совершили преступление, которое привело их в тюрьму: в силу их собственной конституции или в силу обстоятельств. Некоторые поступили точно так же, как поступил бы любой здоровый человек при подобном стечении соблазнов и мотивов, преступникам просто не повезло. Третьи оказались более злыми и жестокими, чем большинство свободных людей, олицетворением зла и жестокости, присущих фашистским хозяевам мира. Преступление рядового преступника скудоумно, лично, непосредственно деструктивно. Вполне вероятно, что жизненная субстанция, одинаковая в каждом человеке, даже в случае из ряда вон выходящих поступков обязательно подвергается сильному давлению как телесной конституции, так и врожденной индивидуальной судьбы, приведших преступника к преступлению; не исключено, что каждый из нас, без того дара благоразумия, который достался нам в силу случайного стечения обстоятельств, поступил бы точно так же, как и преступник в момент совершения убийства. А в заключении преступники просто страдальцы, и наказание воспринимается ими как нечто слепое, отчужденное, как несчастье, подобное раку или обвалу дома. Тюрьма - это приют для хронических больных. Об этом свидетельствует выражение их лиц, осторожная походка, обстоятельный способ мышления. Как и больные, они способны говорить только о своей болезни.

Там, где, как в современности, границы между респектабельным и нелегальным рэкетом объективно становятся текучими, разные формы переходят друг в друга и на психологическом уровне. Пока преступники были больными, как в девятнадцатом веке, заключение представля-

ло собой оборотную сторону их недуга. Способность индивидуума выделиться из окружающей среды и в то же время посредством санкционированных форм общения вступать в сношения с ней, чтобы в ней удержаться, была в преступнике вытравлена. Он олицетворял собой глубоко укоренившуюся во всем живом тенденцию, преодоление которой является приметой любого развития: тенденцию раствориться в окружающем вместо того, чтобы активно самоутвердиться в нем, склонность давать себе волю, опускаться до уровня природы. Фрейд назвал ее влечением к смерти, Келуа - миметизмом.³ Одержимость подобного рода пронизывает собой все, что противится неуклонному прогрессу, от преступления, которое не способно следовать окольным путем актуальных форм труда, до утонченного произведения искусства. Уступчивость по отношению к вещам, без которой не существует искусства, не так уж и чужда судорожному насилию преступника. Неспособность сказать нет, благодаря которой несовершеннолетняя обрекает себя на проституцию, обыкновенно обуславливает также и жизненный путь преступника - ту негацию, которой он не способен сопротивляться. Против подобного рода несдержанности, без определенного умысла даже в самых своих brutальных формах и имитирующей, и разрушающей безжалостную цивилизацию, последняя воздвигает прочные стены рабочих домов и каторжных тюрем, свой собственный каменный идеал. Подобно тому, как согласно Токвилю, в отличие от монархий буржуазные республики насилуют не тело, но душу, уголовные наказания этого общественного порядка изнуряют именно душу человека. Истязаемые им более не умирают, подвергаясь долгие дни и ночи пытке колесованием, но гибнут духовно в громадных тюремных зданиях, которые отличаются от сумасшедших домов только названием.

Фашизм прибегает к обеим формам насилия. Концентрация командных методов управления всем процессом производства вновь возвращает общество на стадию непосредственного господства. Вместе с пролежавшим через рынок окольным путем в недрах наций исчезают также и институты духовного посредничества, в том числе право. Мышле-

³Ср. Caillois. *Le Mythe et l'Homme*. Paris, 1938, S.125 ff.

ние, развившееся на транзакциях, как результат эгоизма, вынужденно вступать в переговоры, полностью становится органом насильственного захвата. Чистой сущностью немецкого фабриканта выступил массовый убийца-фашист, ничем, кроме власти, от преступника не отличающийся. Окольный путь стал ненужным. Гражданское право, все еще продолжавшее функционировать, улаживая разногласия выживших в тени крупной индустрии предпринимателей, стало своего рода третейским судом, вершимым над подвластными ему правосудию, защищающим, хотя бы даже и плохо, их интересы. Но благодаря ныне исчезающей правовой защите определялись отношения собственности. Монополией, как завершением частной собственности, уничтожается понятие последней. От государственного и общественного договора фашизм, заменяющий его тайными соглашениями, оставляет в силе только ту принудительную насильственность всеобщего, которую навязывают остальному человечеству его прислужники. В тотальном государстве наказание и преступление ликвидируются как суеверные пережитки, а неприкрытое искоренение противящихся ширится под ярмом преступного режима по всей Европе. Концентрационный лагерь по сравнению с прежней каторжной тюрьмой - это то же самое, что интеллигентская газета прежних дней по сравнению с современным журналом на глянцево́й бумаге. Изоляция, когда-то навязывавшаяся заключенному извне, тем временем повсеместно вошла в плоть и кровь индивидов. Их душа так же пуста, как и тюремные камеры, без которых повелители уже могут обойтись, потому что вся рабочая сила наций досталась им в качестве добычи. Наказание лишением свободы бледнеет перед социальной действительностью.

LE PRIX DU PROGRES

В одном недавно обнаруженном письме французского физиолога Пьера Флорана, некогда снискавшего печальную известность благодаря избранию во Французскую Академию вместо Виктора Гюго, имеется примечательный пассаж:

“Я все еще никак не могу решиться одобрить использование хлороформа в операционной практике. Как Вам должно быть известно, этому средству мною были посвящены пространные студии и я был одним из первых, кто на основе экспериментов на животных описал его специфические свойства. Мои сомнения основываются на том простом факте, что успех операции с применением хлороформа, как и, по всей вероятности, иных известных форм наркоза, является обманчивым. Эти средства оказывают воздействие исключительно на определенные центры моторики и координации, равно как и на остаточную способность нервной субстанции. Под воздействием хлороформа она в значительной мере утрачивает свое свойство сохранять следы впечатлений, но никоим образом не саму способность к ощущению как таковую. Мои наблюдения, напротив, указывают, что в связи с общим иннервационным параличом боли ощущаются еще резче, чем в нормальном состоянии. Публику вводит в заблуждение то обстоятельство, что по завершении операции пациент оказывается неспособным вспомнить произошедшее. Если бы мы сказали нашим больным правду, вероятно, ни один из них не решился бы испробовать это средство на себе, тогда как сейчас, вследствие того, что мы замалчиваем ее, они, как правило, настаивают на его использовании.

Но если даже отвлечься от того, что единственной сомнительной выгодой является тут потеря памяти на время хирургического вмешательства, думаю, что распространение этой практики повлечет за собой дальнейшую серьезную опасность. С распространением общего академического образования наших врачей неограниченное применение этого средства способно вдохновить медиков на безответственные попытки приведения все более и более сложных и тяжелых хирургических операций. Наши пациенты станут тогда ничего не подозревающими подопытными свинками. Вполне можно допустить, что то болезненное возбуждение, которое вследствие своей специфической природы способно превзойти все известные ощущения подобного рода, нанесет долговременный ущерб психике больного или даже приведет к неопишимо мучительной смерти под самим наркозом, причины которой останутся навсегда скрытыми от родственников пациента и всего

мира. Не будет ли это слишком высокой ценой, которую мы заплатим за прогресс?"

Если бы Флоран оказался прав в этом письме, то неисповедимые пути божественного миропорядка, по меньшей мере, хоть однажды были бы оправданными. Животное было бы отомщено страданиями своего палача: каждая операция была бы вивисекцией. Утрата памяти является трансцендентальным условием науки. Всякое овеществление есть забвение.

НАПРАСНЫЙ ИСПУГ

Пристальное разглядывание несчастья чем-то завораживает. Но тем самым чем-то заставляет и втайне соглашаться с ним. Нечистая социальная совесть, прочно укоренившаяся в каждом, кто соучаствует в несправедливости, и ненависть по отношению к сбывшейся жизни столь сильны, что в критических ситуациях в виде имманентной мстительности они оборачиваются против собственных интересов. У французских бюргеров наблюдалась одна фатальная особенность, которая, по иронии судьбы, была схожа с героическим идеалом фашистов: они радовались триумфу себе подобных, нашедшему свое выражение в приходе Гитлера к власти, несмотря на то, что он грозил гибелью им самим, они даже свою собственную гибель принимали за доказательство справедливости того общественного порядка, представителями которого они выступали. Прообразом такого поведения является отношение многих богатых людей к обнищанию, образ которого они привлекают, рационализируя бережливость, и их латентная склонность, борясь за каждый пфенниг, при соответствующем случае без всякой борьбы отказываться от всего своего состояния или же безответственно ставить его на карту. В фашизме им удастся достичь синтеза жажды господства и ненависти к себе, а напрасный испуг неизменно сопровождается жестом: так я себе все время это и представлял.

ИНТЕРЕС К ТЕЛУ

Под известной историей Европы течет история подспудная. Она суть не что иное, как судьба вытесненных и обезображенных цивилизацией человеческих инстинктов и страстей. С позиций фашистской современности, в которой все потаенное выходит на свет божий, явной становится и связь демонстративной истории с той теневой ее стороной, которой пренебрегают официальные легенды национальных государств и, не в меньшей степени, - их прогрессивная критика.

Изуродованию подверглось в первую очередь отношение к телу. Разделение труда, при котором право пользования оказалось на одной, а труд - на другой стороне, подвергло опале грубую силу. Чем менее власть имущие могли обходиться без труда других, тем более низким объявлялся он. Подобно рабу, труд был отмечен клеймом. Христианство превознесло труд, но зато тем более унизило плоть как источник всех зол. О современном буржуазном общественном порядке оно благовестило в унисон с язычником Макиавелли, восхваляя тот труд, который в Ветхом Завете, однако, все же именовался проклятьем. У отцов-пустынников, Дорофея, Моисея-грабителя, Павла-простака и прочих нищих духом труд все еще непосредственно открывал доступ в царствие небесное. У Лютера и Кальвина те узы, что связывали труд со спасением, были уже столь прочными, что реформаторское понуждение к труду походило почти на издевку, на раздавливание сапожищем беззащитного червя.

Ту пропасть, что зияла меж земными их днями и их извечным предназначением, князьям и патрициям удавалось не принимать близко к сердцу благодаря мысли о тех доходах, что извлекали они из часов труда других. Иррациональность распределения благодати даже и для них оставляла открытой возможность спасения. Но зато на других ложилось лишь тяжкое бремя все усиливающегося гнета. Они смутно догадывались, что унижение плоти властью было не чем иным, как идеологическим отражением того угнетения, которому сами они подвергались. То, что в древности происходило с рабом, на собственном опыте узнавали все жертвы вплоть до современных колониальных народов: их

считали хуже других. От природы существовали две расы, высшая и низшая. Освобождение европейского индивидуума происходило в контексте общей культурной трансформации, которой раскол внутри освобожденного углублялся тем основательней, чем в большей степени ослабевало принуждение извне. Эксплуатируемое тело низшей расе надлежало считать чем-то скверным, а дух, для которого у других имелся досуг, чем-то наивысшим. На этом пути Европа обрела способность к самым высочайшим культурным достижениям, но предчувствие обмана, который был очевиден с самого начала, вместе с контролем над телом одновременно усилило и грязную злобу, любовь-ненависть по отношению к телу, на протяжении тысячелетий пронизывавшую образ мышления масс и нашедшую свое аутентичное выражение в языке Лютера. В отношении индивидуума к телу, как своему собственному, так и чужому, иррациональность и несправедливость господства воспроизводит себя в качестве той жестокости, которая столь же далека от рассудительного отношения, от счастливой рефлексии, сколь и первое – от свободы. В ницшеанской теории жестокости, особенно у Сада, это было осознано во всей своей значимости, а в учениях Фрейда о нарциссизме и влечении к смерти получило психологическую интерпретацию.

Любовь-ненависть по отношению к телу окрашивает всю новейшую культуру. Как нечто побежденное, поработанное тело еще раз подвергается осмеянию и поношению и в то же самое время оказывается желанным как нечто запретное, овеществленное, отчужденное. Только культуре известно тело как вещь, которой можно обладать, только в ней отличается оно от духа, средоточия власти и командования как предмет, мертвая вещь, “*corpus*”. Самоунижением человека до состояния *corpus’a* природа мстит за то, что она была унижена человеком до состояния объекта господства, до состояния сырья. Принудительная потребность в жестокости и деструкции порождается органическим вытеснением близости к телу, подобно тому, как в соответствии с гениальной догадкой Фрейда, чувство отвращения возникло тогда, когда благодаря вертикальной походке, благодаря отчуждению от земли то чувство обоняния, что влекло животное-самца к менструирующей самке, подверглось органическому вытеснению. В западноевропейской, а мо-

жет, во всякой цивилизации телесность табуирована, она является предметом желания и отвращения. У господ древних греков и при феодализме отношение к телу все еще обуславливалось личной воинской доблестью как условием господства. Забота о теле наивным образом преследовала тут социальную цель. Kalos kagathos лишь частично являлся видимостью, частично же гимназий был нужен для поддержания собственной мощи, по крайней мере, в качестве тренинга властной осанки. Полный переход господства в опосредованную коммерцией и коммуникацией буржуазную форму, а также и развитие промышленности вызвали и институциональные изменения. Вместо меча человечество позволяет поработить себя гигантскому аппарату, которым, правда, в конечном итоге вновь выковывается меч. Так лишилось своего рационального смысла превознесение мужественности тела; романтические попытки ренессанса тела в девятнадцатом и двадцатом столетии попросту идеализируют нечто мертвое и изувеченное. Ницше, Гоген, Герге, Клагес осознали неизъяснимую глупость, являющуюся результатом прогресса. Но они сделали ложный вывод. Они не разоблачили ту несправедливость, которая есть, но восславили ту несправедливость, которая была. Отход от механистичности стал украшением индустриальной массовой культуры, не способной обходиться без благородных жестов. Против своей воли художники используют утраченный образ единства тела и души для изготовления рекламы. Восхваление феноменов витальности, от белокурой бестии до островитянина южных морей, неизбежно выливается в саронг-фильм, в рекламные плакаты витаминов и кожных кремов, являющиеся лишь местоблюстителем имманентной цели рекламы - нового, великого, прекрасного, благородного человеческого типа: фюреров и их воинства. Фашистские фюреры вновь берут в руки орудия убийства, они казнят заключенных с помощью пистолета и кнута, но не вследствие превосходства силы, а потому, что вышеупомянутый гигантский аппарат и его истинные власти-тели, сами пока этого не делающие, до отказа заполняют подвалы своих штаб-квартир жертвами государственной мудрости.

Тело не подлежит обратному превращению в живую плоть. Оно остается трупом, сколько бы ни закаляли и ни оздоравливали его. Транс-

формация в мертвое была частью непрекращающегося процесса, превратившего природу в вещество и материю. Достижения цивилизации являются продуктом сублимации, той самой благоприобретенной любви-ненависти по отношению к телу и земле, от которых господство оторвало людей. В медицине продуктивной становится психологическая реакция на телесное перевоплощение человека, в технике - реакция на овеществление природы в целом. Но убийцы, душегубы, которых тайком используют в качестве палачей легальные и нелегальные, крупные и мелкие властители, насильники, которые тотчас же оказываются тут как тут, когда есть кого прикончить или линчевать, устрашающие фигуры, на произвол которых отдается всякий, от кого отводит свою защищающую длань власть, когда теряет он деньги и положение, все те оборотни, что обитают во тьме истории и неусыпно поддерживают тот страх, без которого не существовало бы господства: их любовь-ненависть к телу вопиюща и непосредственна, они оскверняют все, к чему прикасаются, они уничтожают все, что попадает им на глаза, и это уничтожение есть месть за овеществление, в слепом бешенстве они творят с живым объектом то, что уже более сделать не в состоянии: расщепляют жизнь на дух и его предмет. Их неодолимо влечет к человеку, они хотят редуцировать его к телу, ничто не смеет иметь право жить. Некогда заботливо воспитанная и взлелеянная правителями мирскими и духовными враждебность низших слоев по отношению к зачавшей в них жизни, с которой они гомосексуальным и параноидальным образом вступают в отношения посредством убийства, всегда была необходимым инструментом искусства правления. Враждебность поработанных к жизни является источником неиссякающей исторической силы теневой стороны истории. Вдобавок к тому, еще и пьянство, эксцесс пуританства, являет собой отчаянную месть жизни.

Любовь к природе и судьбе тоталитарной пропаганды является попросту прозрачной формой реакции на обреченность телу, на неудавшуюся цивилизацию. От тела не могут избавиться и, где не смеют нанести ему удар, восхваляют его. "Трагическое" мировоззрение фашистов есть идеологический мальчишник накануне реальной кровавой свадьбы. Те, кто там возносят хвалу телу, гимнасты и скауты, издавна

были как нельзя более сродни убийству, подобно тому, как любитель природы - сродни охоте. Они смотрят на тело как на подвижный механизм, с деталями на шарнирах, а на плоть - как на обивку скелета. Они обращаются с телом, обходятся с его членами так, как если бы они уже были отделены от него. Еврейская традиция способствует измерению человека метрическим способом, потому что они обмеривают покойников для гроба. Это как раз то, чему с радостью предаются манипуляторы телом. Они измеряют других, сами того не ведая, взглядом гробовщика. Они выдают себя, когда сообщают результат: они называют людей длинными, короткими, тучными и тяжелыми. Они интересуются болезнями других, за едой они уже подкарауливают смерть сотрапезника, камуфлируя свои намерения сочувствием к состоянию его здоровья. Язык отражает это. Языком прогулка была превращена в движение, а пища - в калории. Статистикой смертности общество низводит жизнь до химического процесса.

В адском унижении заключенного концентрационного лагеря, которое без какого бы то ни было на то рационального смысла современные палачи добавляют к смерти под пыткой, наружу прорывается несублимированный и все же вытесненный бунт запрещенной природы. Во всей своей чудовищности он обрушивается на мучеников любви, так называемых сексуальных преступников и развратников, ибо пол является не редуцированным телом, экспрессией, тем, чем оказываются они отчаянно одержимыми. В свободной сексуальности убийца страшится утраченной непосредственности, изначального единства, в котором он уже более не способен существовать. Она есть то мертвое, что восстает и живет. Он превращает тогда все в одно тем, что обращает его в ничто, потому что ему надлежит удушить это единство в самом себе. Жертва представляется ему жизнью, жизнь должна быть сломлена, а во вселенной не должно остаться ничего, кроме праха и абстрактной силы.

МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО

Культура звезд включает в себя в качестве дополнительного момента их выдающегося положения социальный механизм, уравнивающий все, что является из ряда вон выходящим; звезды представляют собой всего лишь выкройки для охватывающего весь мир производства готового платья и для ножниц юридической и экономической справедливости, при помощи которой отстригаются последние концы ниток.

Дополнение

Мнение, что нивелировке и стандартизации человека на другом полюсе противостоит рост индивидуальности в так называемых личностях вождей и, соответственно, их власти, является заблуждением и частью идеологии. Нынешние фашистские господа являются не столько сверхчеловеками, сколько функциями их собственного рекламного аппарата, точкой пересечения идентичных способов реакций бесчисленного множества людей. Когда в психологии сегодняшних масс фюрер предстает уже не столько в роли отца, сколько в виде коллективной и до непомерности усиленной проекции бессильного Я всякого единичного человека, тогда действительно различные типы фюреров начинают ей соответствовать. Далеко не случайно выглядят они парикмахерами, провинциальными актерами и бульварными журналистами. Отчасти успех их морального влияния обусловлен именно тем, что будучи, если рассматривать их самих по себе, бессильными и в том схожими с любым другим, они олицетворяют собой для других бессильных всю полноту власти, являясь при этом пустым местом, которому случайно досталась власть. Они не столько исключены из процесса распада индивидуальности, сколько, скорее, распавшаяся индивидуальность одерживает в них победу и, в известной мере, вознаграждается за свой распад. Вожди полностью стали тем, чем на протяжении всей буржуазной эры они всегда уже были, исполнителями роли вождей. Дистанция между индивидуальностями Бисмарка и Гитлера едва ли меньше, чем рассто-

ание между прозой “Мыслей и воспоминаний” и тарабарщиной “Mein Kampf”. В борьбе против фашизма задача сведения непомерно раздутого имиджа фюрера до размеров сообразной ему ничтожности занимает далеко не последнее место. Чаплиновскому фильму сходством между парикмахером из гетто и диктатором удалось схватить нечто существенное.

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Мораль в качестве системы, с формулировками принципов и следствий, с железной логикой, с гарантией применимости к любой моральной дилемме - вот то, чего требуют от философов. Как правило, они оправдывали эти ожидания. Даже если они и не предлагали никакой практической системы, никакой развернутой казуистики, именно повиновение властям выводили они из своей теоретической системы. В большинстве случаев они обосновывали еще раз всю шкалу ценностей, уже санкционированную общественной практикой, со всем комфортом дифференцированной логики, демонстративности и очевидности. “Почитайте богов с помощью традиционной отечественной религии”, говорит Эпикур¹, и в этом ему вторил Гегель. Тому, кто не решается таким вот образом заявить о своем вероисповедании, еще энергичнее предъявляется требование заручиться всеобщим принципом. Когда мышление занимается повторным санкционированием господствующих предписаний, ему следует поступать еще более самоуверенно, универсально, авторитетно, чем когда оно просто оправдывает то, что уже признало. Ты считаешь правящую власть несправедливой, уж не хочешь ли ты, чтобы не было совсем никакой власти, но воцарился хаос? Ты критикуешь единообразие жизни и прогресс? Мы что, должны по вечерам зажигать восковые свечи, должны допустить, чтобы наши города наполнялись зловонием отбросов, как в средние века? Ты не лю-

¹Die Nachsokratiker. (Herausgegeben von Wilhelm Nestle) Jena, 1923, Band I, 72a, S.195.

бишь скотобойни, и что, общество отныне должно питаться сырыми овощами? Положительный ответ на подобного рода вопросы, сколь бы абсурдным он ни казался, находит отклик. Политический анархизм, культур-реакционность кустарного искусства, радикальное вегетарианство, раскольнические секты и партии обладают так называемой притягательной силой. Учение обязано быть только всеобщим, самоуверенным, универсальным и императивным. Недопустимы попытки вырваться из "или-или", недоверие по отношению к абстрактному принципу, непоколебимость без доктрины.

Двое молодых людей беседуют меж собой:

А. Так ты не хочешь стать врачом?

Б. *Врачи по профессии так часто имеют дело с умирающими, что это ожесточает. К тому же, при прогрессирующей институционализации врач становится для больного представителем корпорации и ее иерархии. По отношению к потребителю он часто подвергается искушению выступить поверенным по делам смерти. Он становится агентом крупной корпорации. Когда речь при этом идет об автомобилях, это не так скверно, но когда достоянием, которым распоряжаются, является жизнь, а потребителями - страдающие больные люди, в таком положении я бы не хотел очутиться. Профессия домашнего врача была, возможно, более безобидной, но она приходит в упадок.*

А. Стало быть, ты думаешь, что либо вовсе не должно быть никаких врачей, либо следует вернуться к прежним знахарям?

Б. *Этого я не говорил. Мне только страшно самому стать врачом, в особенности так называемым главврачом с командной властью над больницей для масс. И тем не менее я, естественно, считаю, что пусть лучше существуют врачи и больницы, чем ежели больные будут оставлены на произвол судьбы. Никким образом мне не хотелось бы выступать в роли общественного обвинителя, но все же предоставление свободы действий грабителям и убийцам кажется мне гораздо большим злом, чем существование инстанции, отправляющей их в каторжную тюрьму. Юстиция - это разумно. Я не против разума, я только хочу разобраться в том обличье, которое он принял.*

А. Ты сам себе противоречишь. Ты сам беспрестанно пользуешься теми выгодами, что приносят врачи и судьи. Ты так же виновен, как и сами они. Только ты не хочешь взвалить на себя бремя того труда, который выполняют за тебя другие. Предпосылкой твоего собственного существования является принцип, от которого ты сам хотел бы уклониться.

Б. *Этого я не отрицаю, но противоречие неизбежно. Оно является ответом на объективную противоречивость общества. В условиях столь дифференцированного сегодня разделения труда отвращению достаточно проявиться в одном месте, чтобы пробудить чувство вины во всех. Когда это чувство распространится, когда его начнет ощущать хотя бы малая часть людей, психиатрические лечебницы и исправительные заведения, возможно, станут более гуманными, а суды и трибуналы, в конечном счете, окажутся ненужными. Но это вовсе не является той причиной, по которой я хочу стать писателем. Я просто хотел бы более ясно отдавать себе отчет в том ужасающем состоянии, в котором сегодня находится все.*

А. Но если бы все думали, как ты, и никто не хотел бы пачкать руки, не существовало бы ни врачей, ни судей и мир выглядел бы еще ужаснее.

Б. *Это кажется мне сомнительным, потому что, если бы все думали так, как я, на убыль пошли бы, надеюсь, не просто средства борьбы со злом, но и оно само. Человечество располагает и другими возможностями. Я ведь не есть все человечество в целом и не могу в моих мыслях выступить от его лица. Моральное предписание, что всякий из моих поступков обязан приравниваться к некоей всеобщей максиме, в высшей степени сомнительно. Им упускается из виду история. Почему мое нежелание стать врачом эквивалентно убеждению, что *ib* не должно быть вовсе? Ведь на самом-то деле существует много людей, которые способны стать хорошими врачами. Когда в тех границах, что навязываются сегодня этой профессии, они ведут себя морально, то вызывают мое восхищение. Вполне вероятно, что они способствуют уменьшению того зла, которое я тебе охарактеризовал, но также вполне вероятно, что, несмотря на все их профессиональное мастерство и моральность, они лишь усугубляют его.*

Мое существование, как я себе его представляю, мое отвращение и мое стремление к познанию кажутся мне столь же правомерными, как и сама профессия врача, даже если я и не в состоянии никому непосредственно помочь.

А. Но если бы ты знал, что, выучившись на врача, ты однажды смог бы спасти жизнь любимому человеку, что без тебя он наверняка бы с нею расстался, разве не принял бы ты за дело немедленно?

Б. *По всей вероятности, но теперь ты сам, наверно, видишь, что ты с твоим пристрастием к неумолимой последовательности вынужден прибегать к абсурдным примерам, в то время как я с моим непрактичным упрямством и с моими противоречиями остаюсь на стороне здравого смысла.*

Этот разговор повторяется везде, где кто-то вопреки общепринятой практике не желает отказываться от мышления. Если кто-то против вивисекции, он не смеет более дышать, дабы не поплатилась жизнью какая-нибудь бацилла. Логика служит верой и правдой прогрессу и реакции, во всяком случае - реальности. Однако в эпоху удовлетворяющего требованиям реальности воспитания такие беседы случаются все реже и от невротичного партнера Б. требуется сверхчеловеческое усилие, чтобы не стать здоровым.

ПОДМЕЧЕННОЕ

В возрасте от 40 до 50 лет люди обыкновенно делают своеобразное открытие. Они обнаруживают, что у большинства из тех, с кем они вместе выросли и поддерживают отношения, наблюдаются изменения в привычках и в сознании. Один настолько перестает работать, что в расстройство приходят его дела, другой разрушает свой брак вовсе не по вине своей жены, третий совершает растрату. Но даже и те, с кем не случается столь радикальных происшествий, несут на себе признаки распада. Общение становится пресным, бестолковым, поводом для их бахвальства.

Сначала он склонен считать происходящее с его ровесниками прерванной случайностью. Именно они и изменились к худшему. Быть может, дело тут в поколении и его особой, внешними обстоятельствами обусловленной судьбе. В конце концов, он обнаруживает, что все это ему хорошо знакомо, только в аспекте отношения молодежи к взрослым. Разве не случалось ему убеждаться в том, что с тем или иным учителем, дядей или теткой, приятелем родителей, а позднее с профессором университета или заведующим производственным обучением что-то не так! Он мог обнаружить в них до смешного сумасбродную черту характера, или же их присутствие навевало особенную скуку и разочаровывало.

Тогда он особенно не задумывался над этим, принимал неполноценность взрослых за естественный факт. Теперь он убедился: в условиях данных общественных отношений простое продолжение существования при сохранении навыков, технических или интеллектуальных, уже в зрелом возрасте приводит к кретинизму. Все выглядит так, как если бы в наказание за то, что люди предали надежды своей юности и свыклись с миром, они оказались обречены на преждевременный распад.

Дополнение

Сегодняшний распад индивидуальности не только заставляет рассматривать эту категорию в качестве исторически преходящей, но и пробуждает сомнения в ее позитивном существовании. В фазе конкуренции несправедливость, которой подвергался индивидуум, была его собственным принципом. Это относится однако не только к функции отдельного человека в обществе и его частным интересам, но равным образом и к внутренней структуре самой индивидуальности. Под знаком индивидуальности реализовала себя тенденция к эмансипации человека, но в то же самое время эмансипация явилась результатом именно тех механизмов, об освобождении человечества от которых как раз и шла речь. Самостоятельность и неповторимость индивидуума способствует кристаллизации способности к сопротивлению слепой, подавляющей мощи

иррационального целого. Но это сопротивление исторически было возможным лишь благодаря слепоте и иррациональности самого этого самостоятельного и неповторимого индивидуума. И наоборот, все, что в качестве частного безусловно противопоставляет себя целому, остается дурным и беспроглядным образом приверженным существующему. Радикально индивидуальные, неотъемлемые черты в человеке всегда включают в себя одновременно и то, что не было охвачено полностью соответствующей господствующей системой, чему по счастью удалось выжить, и отметины того увечья, что наносит эта система своим подданным. В них в утрированной форме воспроизводят себя основные определения системы: в скупости, скажем, - несокрушимость собственности, в склонности воображать себя больным - принцип нерелективирующего самосохранения. Благодаря тому, что посредством подобного рода черт индивидуум стремится судорожно утвердить себя наперекор принудительности природы и общества, болезни и банкротства, сами эти черты неизбежно принимают характер принудительных. В самом что ни на есть внутреннем существе своем индивидуум сталкивается с той же самой властью, от которой он спасается бегством в самого себя. Это делает его бегство безнадежной химерой. Комедиям Мольера это проклятье индивидуации знакомо ничуть не в меньшей степени, чем рисункам Домье; национал-социалисты же, индивидуума упраздняющие, от всей души наслаждаются этим проклятьем и объявляют Шпитцвега своим художником-классиком.

Только по сравнению с ожесточившимся обществом, никак не абсолютно, ожесточившийся индивидуум представляет собой нечто лучшее. Ему все еще свойственно стыдиться того, что неустанно учиняет коллектив над отдельным человеком, и того, до чего дойдет дело, когда более уже не будет отдельных людей. Нынешние лишенные самости соглашатели являются прямыми потомками подверженных сплину аптекарей, страстных любителей роз и политических инвалидов былых времен.

ФИЛОСОФИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Место науки в общественном разделении труда определить легко. Она призвана нагромождать факты и функциональные связи между фактами как можно в большем количестве. Порядок их складирования должен быть легко обозримым. Он должен обеспечивать отдельным отраслям индустрии возможность без промедления отыскивать при сортировке искомый, желаемый интеллектуальный товар. В значительной мере подбор их происходит с учетом определенных указаний со стороны индустрии.

Исторические труды также обязаны поставлять материал. Возможности его использования следует искать не непосредственно в индустрии, но опосредованно с сфере управления. Подобно тому, как Макиавелли писал для князей и республик, ученые работают сегодня для экономических и политических комитетов. Историческая форма стала при этом, правда, слишком стесняющей, гораздо лучше упорядочивать исторический материал сразу же под углом зрения определенной управленческой задачи: задачи манипуляции ценами, товаром или эмоциями и настроениями масс. Наряду с управленческими структурами и индустриальными консорциумами заинтересованными сторонами выступают также профсоюзы и политические партии.

Официальная философия обслуживает таким вот образом функционирующую науку. Она обязана, будучи своего рода тейлоризмом духа, способствовать усовершенствованию производственных методов, рационализировать нагромождения знаний, предотвращать растрату интеллектуальной энергии. В системе разделения труда ей отведено свое место, как химии или бактериологии. Парочку философских пережитков, призывающих к средневековому богопочитанию и к созерцанию вечных сущностей, все еще терпят в мирских университетах именно из-за их реакционности. Продолжает также влачить растительное существование кучка историков философии, неутомимо читающих лекции о Платоне и Декарте и при этом добавляющих, что эти философы уже устарели. То тут то там им составляет компанию какой-нибудь ветеран сенсуализма или отъявленный персоналист. Они занимаются про-

полкой диалектических сорняков, дабы не заросло ими поле науки.

В противоположность тем, кто ею управляет, философия относится к мышлению иначе, коль скоро оно не капитулирует перед господствующим разделением труда и не позволяет ему диктовать свои задачи. Статус-кво навязывается людям не только путем физического насилия и материальных интересов, но и посредством могущественной суггестии. Философия является не синтезом, фундаментальной или венчающей здание человеческого знания наукой, но усилием противостоять суггестии, решимостью к интеллектуальной и действительной свободе.

Разделение труда в том виде, в каком оно сформировалось в условиях господства, никоим образом при этом не игнорируется. Философия лишь смиряется с той ложью, что оно неизбежно. Благодаря тому, что она не дает загипнотизировать себя всеподавляющей власти, она следует за ней по всем закоулкам социальной машинерии, которую а priori надлежит ей не штурмовать, не заново направлять, но понятийно осмыслять, будучи свободной от принуждения, осуществляемого ею. Когда чиновники, которых содержит индустрия в своих интеллектуальных ведомствах, университетах, церквях и газетах, требуют от философии удостоверения ее принципов, ее вынюхивание легитимирующих, она попадает в смертельно затруднительное положение. Она не признает никаких абстрактных норм или целей, которые могли бы быть использованы в противоположность действующим. Она неподвластна суггестии существующего именно потому, что признает, не входя в подробности, буржуазные идеалы, будь то те, которые пусть даже в искаженном виде продолжают провозглашать представители существующего порядка, или те, которые в качестве объективного смысла институтов, как технических, так и культурных, несмотря на все манипуляции, все еще узнаваемы. Философия верит разделению труда в том, что оно существует ради людей, а прогрессу - в том, что он ведет к свободе. Поэтому так легко и вступает она в конфликт и с разделением труда и с прогрессом. Она наделяет даром речи противоречие веры и действительности, при этом строго придерживаясь обусловленного временем феномена. Для нее, в отличие от газеты, гигантских размеров массовое убийство не драгоценнее умерщвления нескольких оби-

тателей ночлежки. Для нее интриги государственного деятеля, связавшегося с фашизмом, не более предпочтительны любого скромного линчевания, рекламная шумиха киноиндустрии - любого интимного объявления о похоронах. Пристрастие к чему-то большому ей не свойственно. Таким образом, она является одновременно и чуждой существующему и отзывчивой к нему. Ее голос принадлежит предмету, но не по его воле; он является голосом противоречия, которое без него не было бы явным, но торжествовало бы втихомолку.

МЫСЛЬ

То, что истинность теории тождественна ее продуктивности, конечно же является заблуждением. Однако многие люди, судя по всему, допускают обратное. Они полагают, что теория столь мало нуждается в том, чтобы найти применение в мышлении, что, напротив, вообще должна обходиться без этого. Любое высказывание понимается ими превратно в смысле некоего последнего признания, заповеди или табу. Они готовы покориться идее, как Богу, или же атаковать ее, как идола. По отношению к ней им недостает свободы. Но истина как раз и требует активно действующего субъекта. Сколь угодно человек может внимать положениям, которые сами по себе являются истинными, в их истинности он убеждается только благодаря тому, что сам продолжает мыслить.

В наши дни этот фетишизм проявляет себя самым решительным образом. За мысль привлекают к ответу, как если бы она была непосредственной практикой. Нетерпимо не только то слово, которое стремится задеть власть, но также и то, которое продвигается на ощупь, экспериментируя, играя с возможностью заблуждения. Но быть незавершенным и знать об этом - это особенность такого мышления, с которым стоит умереть. Тезис, гласящий что истина есть целое, оказывается тем же самым, что и его противоположность, где утверждается, что она в каждом случае существует только как часть. Самое жалкое оправдание, найденное интеллектуалами для палачей - а в течение последнего десятилетия они далеко не бездействовали в этом отношении -

это самое жалкое оправдание есть то, что мысль жертвы, из-за которой ее убивают, была-де ошибкой.

ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНОЕ

Идея человека в европейской истории находит свое выражение в его отличии от животного. Своим неразумием животные доказывают достоинство человека. Об этой противоположности с такой настойчивостью и единодушием твердилось всеми предтечами буржуазного мышления - древними иудеями, стоиками и отцами церкви, а затем на протяжении средних веков и Нового времени, - что она принадлежит к числу тех немногих идей, которые входят в основной состав западной антропологии. Ее разделяют даже сегодня. Бихевиористы лишь по видимости предали ее забвению. К людям они применяют те же самые формулы и результаты, которых, не зная удержу, добиваются они силой от беззащитных животных в своих омерзительных физиологических лабораториях. Заключение, которое делается ими из изувеченных тел животных, относится не к животному на свободе, но к сегодняшнему человеку. Оно свидетельствует о том, что благодаря учиняемому над животным насилию он и только он один во всем мироздании по доброй воле функционирует так же механически, слепо и автоматически, как извивающаяся в конвульсиях, связанная жертва, из чьей агонии специалист умело извлекает выгоду. Профессор за анатомическим столом определяет агонию научно, как работу рефлексов, гадатель у алтаря провозглашал ее знаком своих богов. Человеку свойственен разум, неумолимо сходящий на нет; у животного, из которого делает он свой кровавый вывод, есть только безрассудный ужас, порыв к бегству, путь к которому ему отрезан.

Отсутствие разума бессловесно. Словоохотливо же обладание им, господствующее во всей истории. Вся Земля свидетельствует во славу человека. В периоды войны и мира, на арене и в скотобойне, начиная с медленной смерти мамонта, которого удавалось одолеть примитивным человеческим племенам с помощью первых планомерных действий,

вплоть до сплошной эксплуатации животного мира сегодняшнего дня, неразумные создания неизменно испытывали на себе, что такое разум. Этот видимый ход событий скрывает от палачей невидимый: бытие без света разума, существование самих животных. Оно могло бы быть подлинной темой для психологии, ибо только жизнь животных протекает сообразно душевным побуждениям; там, где психологии надлежит объяснить человека, его душевные побуждения деградируют и разрушаются. Там, где меж людьми призывается на помощь психология, скудная сфера их непосредственных отношений еще более сужается, они превращаются тут еще и в вещи. Прибегать к психологии для понимания другого постыдно, для объяснения собственных мотивов - сентиментально. Психология животных, изощряясь в своих ловушках и лабиринтах, потеряла, однако, из виду свой предмет, забыла о том, что говорить о душе, о ее познании подобает именно и исключительно применительно к животному. Даже Аристотель, признававший у животных наличие некой, хотя бы и низшей души, охотнее, однако, говорил о телах, частях, движении и зачатии, чем о собственно существовании животного.

Мир животного беспонятиен. Там нет слова, чтобы в потоке являющегося констатировать идентичное, в чередовании экземпляров - тот же самый вид, в изменяющихся ситуациях - одну и ту же вещь. Хотя возможность повторного узнавания и не отсутствует полностью, идентификация ограничивается витально значимым. В этом потоке не найдется ничего, что было бы определено в качестве постоянного, и, тем не менее, все остается одним и тем же, потому что нет никакого прочного знаний о прошлом и никакого ясного предвидения будущего. Животное отзывается на имя и не обладает самостью, оно замкнуто в самом себе и, тем не менее, брошено на произвол судьбы, оно всегда принуждается, у него нет идеи, которая могла бы вывести его за пределы принуждения. Взамен утешения животное не обретает смягчения страха, отсутствие сознания счастья оно не обменивает на неведение скорби и боли. Чтобы счастье стало субстанциальным, даровав существованию смерть, требуется идентифицирующее воспоминание, успокоительное познание, религиозная или философская идея, короче - поня-

тие. Есть счастливые животные, но сколь недолговечно это счастье! Течение жизни животного, не прерываемое освободительной мыслью, сумрачно и депрессивно. Чтобы избавиться от сверлящей пустоты существования, необходимо сопротивление, хребтом которого является язык. Даже сильнейшее из животных бесконечно дебильно. Учение Шопенгауэра, согласно которому маятник жизни раскачивается между болью и скукой, между точечными мгновениями утоленного влечения и бесконечной страстью, приложимо к животному, не способному положить конец своей участи путем познания. В душе животного заложены разрозненные человеческие чувства и потребности, даже элементы духа, но без той опоры, которую дает лишь организующий разум. Лучшие его дни протекают в череде хлопот, как во сне, который животное все равно едва ли в состоянии отличить от бодрствования. Ему неизвестен отчетливый переход от игры к серьезности; радость пробуждения от кошмара к действительности.

В народных сказках неизменно повторяется мотив превращения человека в животное в качестве наказания. Быть обреченным обитать в теле животного значит быть проклятым. Для детей и народов представление о такого рода метаморфозе понятно и хорошо знакомо. Вера в переселение душ древнейших культур также расценивает животное обличье в качестве наказания и муки. Немая дикость во взгляде животного свидетельствует о том ужасе, который испытывали люди перед таким превращением. Любое животное напоминает о том безмерном несчастье, которое случилось в первобытные времена. Сказка высказывает предчувствие людей. Но если в ней принцу все же был оставлен разум с тем, чтобы в подходящий момент он мог поведать о своих страданиях, а фея смогла бы его спасти, то отсутствие разума навечно обрекает животное на его обличье, разве только человеку, которого объединяет с ним прошлое, удастся найти спасительное заклинание и смягчить им каменное сердце бесконечности в конце времен.

Забота о неразумном животном есть, однако, пустая трата времени для разумного существа. Западная цивилизация предоставила это делать женщинам. Последние самостоятельно не причастны той деловитости, от которой ведет свое происхождение эта цивилизация. Муж-

чина обязан вторгаться во враждебную жизнь, обязан действовать и добиваться. Женщина же не является субъектом. Она не производит, но заботится о производящих, она - живой памятник давно сгинувших времен замкнутого домашнего хозяйства. К ней было малоблагосклонно навязанное мужчиной разделение труда. Она стала олицетворением биологической функции, образом природы, в подавлении которой состояло правое снование славы этой цивилизации. Безгранично господствовать над природой, превратить космос в необъятные охотничьи угодья было заветной мечтой тысячелетий. С этим сопрягалась идея человека в мужском обществе. Это было смыслом того разума, которым он так гордился. Женщина была меньше и слабее, между ней и мужчиной существовало отличие, которого она не в состоянии была преодолеть, самой природой положенное отличие, самое постыдное, самое унижительное из тех, что возможны в мужском обществе. Там, где господство над природой является подлинной целью, биологическая неполноценность остается безусловной стигмой, запечатленная природой слабость - вызывающей к насилию отметиной. Церковь, на протяжении всей истории вряд ли упустившая хоть один случай присвоить свое руководящее словцо к популярным институтам, шла ли речь о рабстве, крестовых походах или просто погромах, несмотря на "Аве Мария" также присоединялась к Платону в оценке женщины. Образ многострадальной Богородицы был уступкой матриархальным пережиткам. Тем не менее, неполноценность женщины, от которой должен был избавиться ее этот образ, церковь с его помощью и санкционировала. "Нужно только", провозглашает ее законный сын Де Местр, "в одной христианской стране притушить до известной степени влияние божественного закона, даже его ослабить, допустив ту свободу, которая будет из этого проистекать для женщины, чтобы увидеть, как сама по себе благородная и трогательная свобода достаточно быстро вырождается в бесстыдство. Они станут тогда гибельными инструментами всеобщего упадка, который за короткий срок охватит жизненно важные части государства. Последнее начнет гнить, гангренозным распадом своим сея позор и ужас вокруг себя."¹ Процессы над ведьмами как сред-

¹Eclaircissement sur les Sacrifices. Oeuvres. Lyon, 1892, Band V, S.322f.

ство террора, которое использовали против населения союзники по феодальному рэкету, когда видели себя в опасности, были одновременно и празднованием и подтверждением победы мужского господства над первобытными матриархальной и миметической стадиями развития. Аутодафе были языческой иллюминацией церкви, триумфом природы в форме самосохраняющегося разума во славу господства над природой.

Буржуазия пожинала плоды благонравия и целомудрия женщины как форм реакции на матриархальный бунт. Сама она, от имени всей эксплуатируемой природы, достигла того, чтобы быть принятой в мир господства, но сломленной. В своей спонтанной покорности она, порабощенная, является для победителя отражением его победы: поражение в облике преданности, отчаяние в облике прекраснотушия, оскверненное сердце в облике любвеобильной груди. Ценой радикального отрыва от практики, отступления в неуязвимый заколдованный круг природе достается благосклонность со стороны господина мироздания. Искусство, обычай, возвышенная любовь являются масками природы, в которых, преобразуясь, она возвращается и находит выражение в качестве собственной противоположности. Благодаря своим маскам она обретает дар речи; в ее искажении проявляется ее сущность; красота есть змея, показывающая рану от некогда вонзившегося шипа. За восхищением мужчины красотой неизменно таится звучный хохот, безмерная издевка, варварское ерничанье потентного над импотенцией, которыми он заглушает тайный страх перед собственной обреченностью импотенции, смерти, природе. С тех пор как уродливые шуты, в чьих ужимках и дурацких колпаках с бубенцами некогда запечатлелась печальная участь сломленной природы, оставили королевскую службу, за женщиной признали право на планомерную заботу о прекрасном. Пуританка Нового времени отнеслась к поручению ревностно. Она идентифицировала себя с происходящим целиком и полностью, не с дикой, но с прирученной природой. Все, что еще оставалось от опахал, пения и танцев римских рабынь, в Бирмингеме окончательно свелось к игре на фортепьяно и прочему рукоделью, вплоть до того, что даже самые что ни на есть последние остатки женской распушенности полностью

облагородились в символы патриархальной цивилизации. Под давлением вездесущей рекламы пудра и губная помада, решительно отмечающие свое гетерическое происхождение, превратились в средства по уходу за кожей, купальные трико - в атрибут гигиены. От этого нет спасения. То простое обстоятельство, что любовь имеет место в условиях сплошь организованной системы господства, накладывает фабричное клеймо даже на нее. В Германии влюбленные выказывают промискуитетом, как некогда целомудрием, свое повиновение существующему порядку, половым актом без разбора - свое неукоснительное подчинение господствующему разуму.

Ископаемым пережитком буржуазного почитания женщины вламывается в современность мегера. С незапамятных времен она мстит бранью в собственном доме за то бедствие, что постигло ее пол. За отсутствием коленопреклонения, не достаемогося ей, злобная старуха напускается на того рассеянного, который не успевает встать перед ней и сбивает шляпу с его головы. Кровожадность женщины на погроме затмевает мужскую. Угнетенная женщина в обличье мегеры пережила века и все еще продолжает являть гримасу изувеченной природы. Если в минувшие столетия девушка переносила свое порабощение с меланхоличным выражением лица и преданностью в любви, будучи неким отчужденным образом природы, этаким эстетичной культур-штучкой, то мегерой было открыто новое женское призвание. Как социальная гиена она активно преследует культурные цели. Ее тщеславие гоняется за почестями и публичностью, но ее чувству мужской культуры еще не удалось настолько обостриться, чтобы она не ошибалась при причиняемом ей страдании, тем самым свидетельствуя о том, что она пока еще не освоилась в цивилизации мужчин. От одиночества она ищет спасения в конгломератах науки и магии, в уродливых плодах брачного союза идеалов тайного советника и нордической провидицы. Она чувствует себя влекомой к несчастью. Последние остатки женской оппозиции духу мужского общества тонут в трясине мелкого рэкета, тайных сборищ и хобби, они превращаются в перверсивную агрессию общественной работы и теософских пересудов, в практику мелочной мстительности на уровне благотворительности и организаций типа "Christian

Science". В этой трясине солидарность со всякой сущей тварью находит свое выражение не столько в союзе по защите животных, сколько в интересе к нео-буддизму и пекинезам, чьи обезображенные морды сегодня все еще, подобно старым картинам, напоминают о лице того самого обойденного прогрессом шута. Черты этой собачки, подобно неуклюжим скачкам горбуна, все еще репрезентируют изувеченную природу, в то время как массовое производство и массовая культура, используя научные методы, уже научились изготавливать тела как племенных животных, так и людей. Унифицированные массы уже столь мало способны заметить свою собственную трансформацию, которой сами же изо всех сил содействуют, что уже более не нуждаются в символическом выставлении ее напоказ. Среди мелких сообщений на вторых-третьих страницах газет, первые полосы которых заполнены известиями об ужасающих подвигах людей, время от времени можно прочесть о цирковых пожарах и отравлениях крупных животных. О животных вспоминают лишь тогда, когда их последние экземпляры, собратья средневекового шута, погибают в бесконечных мучениях, вспоминают, как о потере капитала для владельца, который не сумел защитить от огня своих подопечных. Высоченный жираф и мудрый слон суть "oddities", едва ли уже способные позабавить даже сведущего школяра. В Африке, последнем месте на Земле, тщетно пытающемся защитить их скудные стада от цивилизации, они мешают движению транспорта и приземлению бомбардировщиков в новейшей войне. Они будут полностью ликвидированы. На ставшей разумной Земле отпадает необходимость в эстетическом отображении. Дедемонизация осуществляется путем непосредственной штамповки людей. Господство более не нуждается ни в каких ниспосланных свыше образах; оно производит их индустриально и тем вернее через них завладевает людьми.

Искажение, сущностно присущее любому произведению искусства точно так же, как блеску женской красоты присуще увечье, выставление напоказ той самой раны, в которой вновь узнает себя поработенная природа, сызнова практикуется фашизмом, но уже не в качестве видимости. Осужденные подвергаются ему непосредственно. В этом обществе более не существует никакой сферы, в которой, как в искус-

стве, господство заявляло бы о себе как о противоречии, извращение более не выражается никаким удвоением. Некогда такая экспрессия подразумевала не просто красоту, но мышление, дух и собственно язык. Сегодня язык вычисляет, обозначает, предает, подстрекает к убийству, но не выражает. Свой точный масштаб, которого она могла бы придерживаться, культуриндустрия находит, подобно науке, вне себя самой: в факте. Кинозвезды становятся экспертами, достигнутые ими результаты - протоколами естественного поведения, классификациями типов реакций; режиссеры же и сценаристы изготавливают модели для адаптированного поведения. Точная работа механизма культуриндустрии исключает искажение как попросту ошибку, случайность, дурное субъективное и естественное. От отклонения требуется практическое основание, его в сферу разума интегрирующее. Лишь тогда оно извинительно. С отображением господства в природе человека исчезает трагизм, равно как и комизм, властители проявляют серьезность в той мере, в какой им приходится преодолевать сопротивление, юмор - в той, в какой сталкиваются с отчаянием. Духовное наслаждение было связано с репрезентацией страдания, но ныне властители забавляются с кошмаром. Возвышенная любовь была привержена проявлению силы в слабости, в красоте женщины, но властители являются приверженцами силы непосредственно явленной: идолом сегодняшнего общества является элегантно-благородное мужское лицо. Женщина годится на то, чтобы трудиться, рожать детей или же, если она презентабельна, способствовать росту престижа своего мужа. Она не увлекает мужчину всецело. Обожание тоже отражается в зеркале себялюбия. Миру с его целями мужчина нужен целиком. Ни один из них более не может раздирать себя, он обязан там и оставаться. Природа, однако, считается практикой чем-то внешним и низшим, предметом. Теперь чувство возможно только к себе как к власти. Мужчина капитулирует перед женщиной с его холодностью и мрачной нестигаемостью, как когда-то женщина. Он становится женщиной, взирающей снизу вверх на власть. В фашистском коллективе с его бригадами и трудовыми лагерями каждый смолоду подвергается одиночному заключению, им культивируется гомосексуализм. Животному по-прежнему приходится быть носителем

лем благородных черт. Подчеркнуто человеческое лицо, постыдно напоминающее о собственном происхождении от природы и обреченности ей, пробуждает лишь неодолимую тягу к квалифицированному убийству. Карикатуры на евреев свидетельствовали об этом с давних пор, а отвращение Гете к обезьянам указывало на границы его гуманности. Когда индустриальные короли и фашистские фюреры окружают себя животными, то это не пинчеры, но датские доги и льявта. Они должны придавать пикантность власти тем страхом, который внушают. Кровавый фашистский колосс настолько слеп в отношении природы, что о животном задумывается лишь для того, чтобы через него унижить человека. К нему действительно приложимо то, в чем несправедливо упрекал Ницше Шопенгауэра и Вольтера, утверждая, что они «умели маскировать свою ненависть к известным вещам и людям под сострадание к животным»² Предпосылкой набожного пристрастия фашиста к животным, природе и детям является воля к преследованию. Ленивое поглаживание волос ребенка или меха животного означает: эта рука может уничтожить. Она нежно ласкает одну жертву перед тем, как обрушиться на другую, и ее выбор никак не связан собственно с виной жертвы. Ласка является иллюстрацией того, что все равны перед властью, не обладают никакой собственной сущностью. Для кровавых целей господства живое существо является лишь материалом. К черту природу. Права одна лишь наглая сила, которая и выживает. Она сама, в свою очередь, одна только и оказывается природой, вся надуманная машинерия современного индустриального общества - попросту природой, терзающей самое себя. Нет более медиума, выражавшего бы это противоречие. Оно осуществляется с тупой серьезностью в мире, из которого исчезли искусство, мысль, негативность. Друг от друга и от природы люди отчуждены столь радикально, что все, что они знают - это только то, для чего нужны они друг другу и что они способны друг другу причинить. Каждый является фактором, субъектом или объектом той либо иной практики, чем-то, с чем надлежит считаться или с чем более считаться не следует.

²Nietzsche. Die froehliche Wissenschaft. Werke, Band V, S. 133.

В этом освобожденном от иллюзий мире, в котором, утратив рефлексию, люди вновь превратились в самых умных животных, которые поработят остатки вселенной, если не растерзают самих себя, к животному принято относиться уже не сентиментально, но как к измене делу прогресса. В лучших реакционных традициях Геринг связывает защиту животных с расовой ненавистью, лютеранско-немецкое пристрастие к развеселому убийству - с аристократическим благородством барской охоты. Фронты разграничены отчетливо; кто борется против Херста и Геринга, заодно с Павловым и вивисекцией, кто колеблется, становится объектом травли с обеих сторон. Такой человек обязан образумиться. Выбор предзадан и неизбежен. Кто хочет изменить мир, ни в коем случае не должен погружаться в то самое болото мелкого рэкета, где вместе с прорицателями гниют также политические сектанты, утописты и анархисты. Интеллектуал, чье мышление не примыкает к действительной исторической силе, не приемлющий для ориентации ни один из полюсов, к которым сводится индустриальное общество, утрачивает-де связь с субстанцией вещей, его мышление становится беспочвенным. Разумно то, что действительно. Кто стоит в стороне, говорят даже те, кто прогрессивен, не поможет и мыши. Все зависит от общества, даже самое шепетильное мышление обязано связать свою судьбу с могущественными социальными тенденциями, без которых оно превратится в выдумку. Согласие в этом объединяет всех праведников реальности; им человеческое общество приравнивается к массовому рэкету в природе. Слово, не преследующее целей какой-либо из отраслей рэкета, возбуждает беспредельную ярость. Оно напоминает о том, что существующее лишь для того, чтобы быть сломленным, все еще надделено голосом: о природе, потоки лжи о которой распускают националисты и фольклористы. Когда его звуку удастся на мгновение прервать их хоровую декламацию, становится слышен перекрикиваемый ими ужас, живущий, как и во всяком животном, в их собственных рационализированных и разбитых сердцах. Тенденции, извлекаемые таким словом на свет божий, вездесущи и слепы. Природа сама по себе ни добра, как того хотелось прежнему романтизму, ни благородна, как того хотелось бы романтизму новейшему. В качестве образца и цели она подра-

зумеает оппозицию духу; ложь и зверство, лишь в качестве познанной она становится стремлением бытия к согласию с самим собой, к тому сознанию, которым с самого начала вдохновлялось непоколебимое сопротивление фюреру и коллективу. Опасность для господствующей практики и ее неизбежных альтернатив представляет собой не природа, с которой она скорее совпадает, но то, что о природе вспомнят.

ПРОПАГАНДА

Пропаганда с целью изменить мир, какой абсурд! Пропаганда делает из языка инструмент, рычаг, машину. Пропаганда фиксирует состояние людей, в котором они оказались в условиях социальной несправедливости тем, что приводит их в движение. Она рассчитывает на то, что на них можно рассчитывать. В глубине души каждый знает, что благодаря средству он сам становится средством, как на фабрике. Ярость, которую ощущают они в себе, следуя ей, является давней яростью по отношению к ярму, усиленной подозрением, что выход, указываемый пропагандой, ложен. Пропаганда манипулирует людьми; там, где она кричит о свободе, она противоречит самой себе. Она неотделима от лживости. Сообщество, в котором, благодаря пропаганде, находят друг друга фюрер и ведомые им, является сообществом лжи, даже если содержание пропаганды оказывается верным. Истина становится для пропаганды средством в целях приобретения сторонников, она извращает ее уже тем, что влагает в свои уста. Поэтому подлинному сопротивлению неведома пропаганда. Пропаганда мизантропична. Она полагает, что принцип, согласно которому политика должна проистекать из общей позиции, есть попросту некий *façon de parler*.

В обществе, благоразумно кладущем предел угрозе изобилия, все, что рекомендуется каждому из нас другими, заслуживает недоверия. Предостережение относительно коммерческой рекламы, что предприниматель ничего не делает даром, приложимо повсюду. Степень восхваления возрастает пропорционально снижению качества, от рекламы фольксваген зависим совсем иначе, чем роллс-ройс. Интересы ин-

дустрии и потребителей никогда не совпадают там, где первая настойчиво стремится что-то предложить. Даже пропаганда свободы может сбить с толку, поскольку вынуждена сглаживать различия между теорией и частными интересами тех, к кому обращается. Ликвидировав в Германии пролетарских вождей, фашизм избирательностью мести лишил их даже сознания своей правоты. Когда интеллигент замучен до смерти в концлагере, рабочим вне его не обязательно должно быть хуже. Фашизм был разным для Осецкого и пролетариата. Но пропагандой были обмануты оба.

Подозрительно не изображение действительности как ада, но регулярные призывы вырваться из него. Если к кому-то сегодня и можно обратиться, то не к так называемым массам, не к отдельному человеку, который бессилен, но, скорее, к некоему воображаемому свидетелю, которому и оставляем мы это после себя с тем, чтобы все же оно не исчезло с лица земли вместе с нами.

К ГЕНЕЗИСУ ГЛУПОСТИ

Признаком интеллекта являются рожки улитки “с ощупывающим лицом”, с помощью которых она, если верить Мефистофелю¹, различает и запахи. Встретив препятствие, рожки тотчас же втягиваются в защищающую тело раковину, вновь сливаясь воедино с целым, и лишь с большой робостью отваживаются вновь выглянуть наружу в качестве чего-то самостоятельного. Если опасность все еще тут, они исчезают снова, а интервал между повторными попытками увеличивается. Духовная жизнь в начальный период бесконечно чутка. Чувства улитки зависимы от мускулов, а мускулы становятся вялыми, если стеснять их игру. Физическое повреждение калечит тело, страх - дух. Изначально и то и другое и вовсе неотделимы друг от друга.

Более развитые животные обаяны самим себе большей свободой, их существование свидетельствует о том, что однажды щупальца были

¹Faust. Erster Teil, 4068.

протянуты в новых направлениях и не получили отпора. Каждый из видов является памятником бесчисленному множеству других, чья попытка сформироваться была сорвана уже в самом начале; их сразу же парализовал ужас, стоило лишь одному из щупальцев шевельнуться в направлении их становления. Подавление возможностей непосредственного сопротивления окружающей природе продолжалось внутри, путем атрофирования органов страхом. В каждом исполненном любопытства взгляде животного мерцает новая форма живого, которая могла быть порождена тем определенным видом, к которому принадлежит это индивидуальное существо. Но не только видовая определенность удерживает его в раковине прежнего бытия, насилию, с которым сталкивается этот взгляд, миллион лет от роду, с незапамятных времен закрепило оно это существо на предназначенной ему стадии и неизменно возобновляемым сопротивлением тормозит даже самые начальные попытки ее превзойти. Такой первый прощупывающий взгляд всегда легко сломить, за ним стоит добрая воля, хрупкая надежда, но никак не неиссякаемая энергия. Животное становится боязливым и глупым.

Глупость - это шрам. Она может быть связана с одним результатом среди других или со всеми вместе, как практическими, так и духовными. Всякой частной глупостью человека обозначается то место, где игра мускулов при пробуждении была заторможена вместо того, чтобы быть поощренной. Торможение изначально ведет к тщетному повторению дезорганизованных и неуклюжих попыток. Бесконечные расспросы ребенка в каждом случае уже являются знаком некоей тайной боли, некоего первого вопроса, на который он не нашел ответа и который он не умеет поставить в правильной форме.² Повторение отчасти подобно игровой ситуации, когда, например, собака без устали вспрыгивает на ту дверь, которую она еще не умеет открывать, и, в конце концов, отказывается от этого, если ручка расположена слишком высоко, отчасти происходит в порыве отчаяния, когда, например, лев безостановочно мечется по своей клетке или невротик непрерывно воспроизводит за-

² Cp. Karl Landauer. Intelligenz und Dummheit. In: Das Psychoanalytische Volksbuch. Bern, 1939, S.172.

щитную реакцию, однажды уже оказавшуюся тщетной. Когда повторные попытки ребенка не достигают цели или препятствие оказывается слишком серьезным, его внимание может быть отвлечено чем-нибудь другим, он, что называется, обогатит свой опыт, и все же на том месте, которого коснулось вождение, останется неприметный шрам, некое маленькое затвердение, где станет нечувствительной поверхность кожи. Из таких шрамов образуются деформации. Они могут привести к формированию твердого и сильного характера, они могут привести и к глупости - в виде явлений атрофии, слепоты и беспомощности, если речь идет просто об их стагнации, и в виде злобности, своенравия и фанатизма, если они порождают метастазирующий рак. Добрая воля становится злой благодаря перенесенному насилию. К таким шрамам способно привести не только наложение запрета на вопросы, на подражание, на плач, на неистовые игры. Подобно тому, как виды в животном мире обозначают собой стадии духовного развития человеческого рода, так и мертвые зоны в индивидууме - те остановки на пути, на которых иссякала надежда и которые своей закоснелостью свидетельствуют о том, что все живое одинаково подвергается гонению.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	8
ПОНЯТИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ	16
ЭКСКУРС I. ОДИССЕЙ ИЛИ МИФ И ПРОСВЕЩЕНИЕ	61
ЭКСКУРС II. ЖЮЛЬЕТТА ИЛИ ПРОСВЕЩЕНИЕ И МОРАЛЬ ...	104
КУЛЬТУРИНДУСТРИЯ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОБМАН МАСС ..	149
ЭЛЕМЕНТЫ АНТИСЕМИТИЗМА	210
ЗАРИСОВКИ И НАБРОСКИ	257

Подписано в печать 09.08.06. Формат 70x100 1/32
Печать офсетная. Усл.- печ. л. 9,75 Тираж 500 экз. Заказ № 815

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
издательско-полиграфической фирмы «Реноме»
197002, Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 40
Тел./факс (812) 766 05 66
E-mail: RENOME@comlink.spb.ru
www.renomespb.ru

gekürzt werden. In der
e Apparatur ist die S
geschlossen. Was als T
die Unterwerfung all
s, wird mit der gehor
nmittelbar Vorfindlic
begriefen, den Gege
tlichen Beziehungen a
kann, sondern sie im
Begriffsmomente zu
res gesellschaftlichen,
der ganze Anspruch